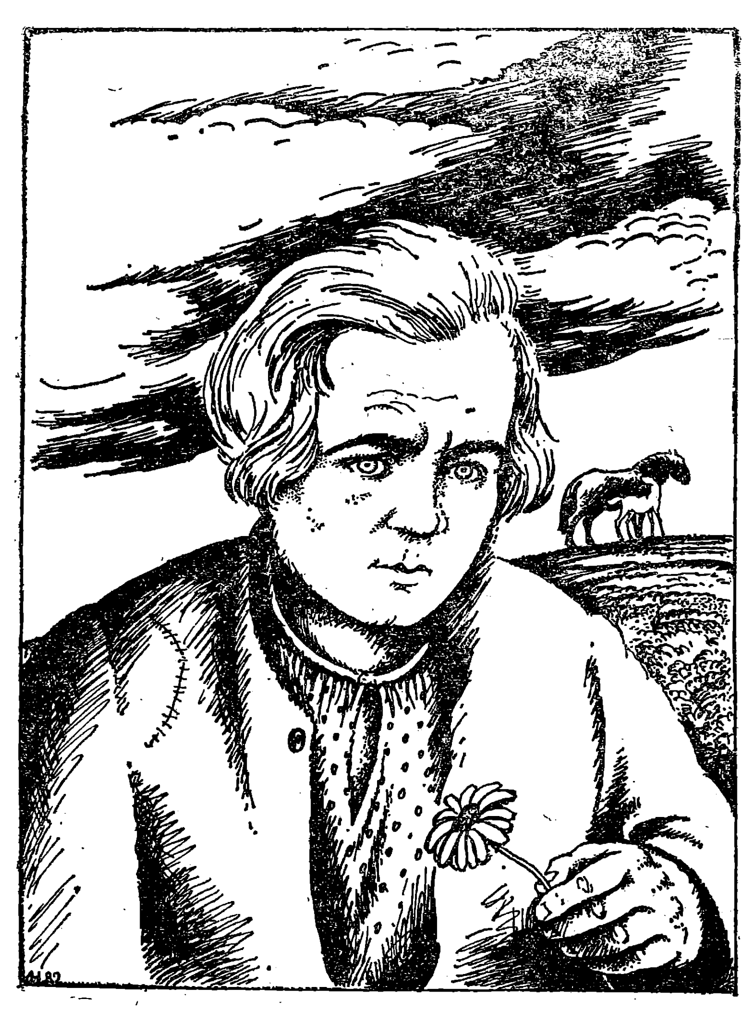
А.В.КОЛЬЦОВ



Алексей Кольцов

А. В. КОЛЬЦОВ

СОЧИНЕНИЯ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1984

84 Р 1
К 62

Составление
Т. Н. Бедняковой
Вступительная статья и комментарии
В. П. Аникина
Иллюстрации художника
И. Н. Новодережкина

Кольцов А.

К 62 Сочинения /Сост. Т. Н. Бедняковой; Вступ. ст. и коммент. В. П. Аникина; Ил. И. Н. Новодережкина.— М.: Правда, 1984.—512 с., ил.

Для стихотворений А. В. Кольцова (1809—1842) характерна глубокая народность. Кольцов ввел в русскую литературу новые для нее темы — крестьянский труд и быт, образ человека из народа, чувства и мысли труженика. Самая значительная тема его песен — труд человека на земле. В настоящий сборник вошли стихотворения и письма Кольцова; в приложениях — народные песни, пословицы и поговорки, собранные поэтом.

К $\frac{4702010000-607}{080(02)-84}$ 607—84 84 Р 1

СЛОВО О КОЛЬЦОВЕ

И. С. Тургенев заметил однажды: «...У Кольцова есть штук двадцать маленьких поэм, которые будут жить, пока жив русский язык»[1]. Писатель был прав. Лучшее из написанного Кольцовым навсегда вошло в сокровищницу нашей национальной художественной культуры. Это песенные стихи про шумящую рожь, про пахаря, который при свете занявшейся зари выехал в поле, о ночном соловье, поющем о любви, надеждах и грусти, стихи о степной траве, вянущей осенней порой, о вьющихся хмелем кудрях молодца, о горе горьком, где-то сеянном и где-то выросшем, но таком знакомом бедняку. Однако Кольцов интересен нам не только всем известными стихами, ставшими песнями, но, к примеру, и такими строчками:

Скучно и нерадостно
Я провел век юности:
В суетных занятиях
Не видал я красных дней;
Жил в степях с коровами,
Грусть в лугах разгуливал.
По полям с лошадкою
Один горе мыкивал.

Жизнь и быт Кольцова полны интереса для нас. В нем все предсказывало будущее развитие нашей поэзии, демократической по своим глубоким корням, унаследовавшей традиции высокого профессионализма Пушкина и Лермонтова, Тютчева и Некрасова, других великих художников. Именно по этой причине Кольцов нам интересен даже своими подражательными стихами. Поэт искал мастерства у Пушкина, к которому испытывал столь благоговейное чувство, что признался В. Г. Белинскому: «Если литература дала мне что-нибудь, то именно вот что: я видел Пушкина...» (письмо от 25 марта 1841 г.).

Одаренный от природы живым воображением и умом, Кольцов следовал своему призванию художника, преодолевая многие препятствия. Поэт не встретил понимания в родной семье, не сразу осознал ложь советов тех из столичных литераторов, которые желали сделать из него официального поэта: на сусальное

---

[1] Тургенев И. С. Собр. соч., т. 12. М., Гослитиздат, 1958, с. 362.

золото верноподданнической поэзии — такой, каким явилось стихотворение о царской фамилии «Ура!» — они ставили клеймо поэзии настоящей.

Алексей Васильевич Кольцов родился 3 октября 1809 года. Сын воронежского мещанина, торговца скотом, Кольцов помогал отцу, и часто ему приходилось брать на себя всю тяжесть торговых дел. Поэт покупал свиней, поставлял сырье на салотопные заводы губернии, рубил лес, ездил в Москву и Петербург за благоприятными решениями по тяжебным делам, искал покровителей среди влиятельных лиц. Отец учил сына всего лишь год в уездном училище, а из второго класса взял: читать и писать научился, чего же еще больше знать надо прасолу?! Кольцов, хорошо не освоивший даже орфографии, всю жизнь чувствовал недостаток образования.

В Воронеже у Кольцова были и друзья, ценившие его талант, помогавшие ему книгами и советами. Они поддерживали веру юноши в себя. А спустя время судьба подарила ему дружбу с Белинским. Наставления критика очень помогли поэту, но еще до знакомства с ним Кольцов понял, на кого он должен равняться в поэзии и что делать предметом творчества: сказались природная чуткость и непосредственное ощущение прекрасного. «А степь опять очаровала меня»,— писал поэт Белинскому (15 июля 1838 г.). «Опять» — как в пору ранней молодости. Поездки в степь, ветер, напоенный запахом трав, ночи, проведенные под открытым небом, крупные августовские звезды, езда верхом, дым костра, пыль, поднятая бредущим стадом, смена времен года, всякий раз воспринимаемая как огромное событие, первая любовь, прочитанные книги, речь пахарей и косцов, родная ему,— все это запомнилось и делало из Кольцова поэта. Потом, читая стихи Жуковского, Дельвига, Пушкина, Кольцов узнавал в них издавна знакомое. Близость прочитанных стихов собственным чувствам навела Кольцова на мысль попробовать свои силы в деле, которое казалось прекрасным, завидным, достойным целиком заполнить жизнь. Приказчик, находившийся в услужении у отца Кольцова, рассказывал: «Бывало, летом, в степи, особенно по вечерам, при солнечном закате, уже смеркаться начнет, а он, сердечный, и ну писать, и ну писать. Я его — Лексей Васильевич! Лексей Васильевич! Куды тебе, не слышит, глядит как истукан. В ту пору совсем чудаком глядел» [1]. Не понимаемый окружающими «чудак» уже не мог оставить сочинение стихов. Без них он не мыслил своего существования. «...И чем тяжелее жить мне в мире,— писал Кольцов,— тем более становится желание заниматься словесностью» (27 июля 1838 г.). Такие слова могли исходить от человека с неудержимым стремлением к творчеству.

Прирожденный лирик, Кольцов много и пламенно писал о любви. Есть у него песня «Если встречусь с тобой...». В ней говорится о счастливой поре любви: Кольцов полюбил крепостную девушку, жившую в доме отца; любовь оказалась такой корот-

---

[1] «Современники о Кольцове». Сост. В. А. Тонков. Воронеж, 1959, с. 97.

кой. По отцовскому приказу любимую увезли далеко в степь, на Дон. Она рано умерла. Кольцов горько пережил утрату... Беда еще была впереди, а пока поэт с восторгом писал:

Если встречусь с тобой
Иль увижу тебя,—
Что за трепет, за огнь
Разольется в груди.

Чувство вылилось в слова страстного признания:

Если взглянешь, душа,
Я горю и дрожу,
И бесчувствен и нем
Пред тобою стою!

Если молвишь мне что,
Я на речи твои,
На приветы твои,
Что сказать — не сыщу.

Здесь истине переживания соответствуют исповедальный тон, характерные повторы: «Если встречусь...», «Если взглянешь...», «Если молвишь...», особые стилевые повторения слов-синонимов: «горю и дрожу», «бесчувствен и нем», «на речи твои, на приветы твои». Такой строй поэтической речи мог быть верно найден лишь при переживании неудержимого душевного порыва:

А лобзаньям твоим,
А восторгам живым
На земле, у людей,
Выражения нет!

Поэт находит и такие слова:

Дева — радость души,
Это жизнь — мы живем!
Не хочу я другой
Жизни в жизни моей!

Написав стихотворение, Кольцов не раз возвращался к нему, менял отдельные слова, убирал целые строки, дописывал новые, но идущее через все стихотворение движение чувства было найдено с самого начала, в первой редакции...

Молодому Кольцову при чуткости к правде переживания порой недоставало выдержанности в стихе. Этому надо было учиться — и Кольцов мучительно доискивается ответа на вопросы: что хорошо и что плохо в поэзии. А. А. Краевскому Кольцов пишет об одном из лучших своих стихотворений: «С сею же почтою я послал «Молодую жницу», пожалуйста, прочтите ее. Если она не годится в «Современник», то киньте в «Неву» (22 мая 1836 г.). «Вот еще я к вам с моей безделкой,— пишет он Белинскому, посылая думу «Неразгаданная истина».— Посмотрите ее, пожалуйста, чего она стоит; ваш взгляд — ее судьба» (11 сентября 1836 г.). А несколько недель спустя в письме Краевскому признается в возможности ошибки: «Если я ошибся (что за мной часто водится), пожалуйста, объясните» (27 ноября 1836 г.). Поэта Ф. Н. Глинку, побывавшего в Воронеже, Кольцов благодарит за твор-

ческий совет: «Вы изволили говорить: последний стих переменить у пьески «Цветок». Вот эдак будет, кажется, лучше» — и приводит новую редакцию строк (9 декабря 1836 г.).

Стремление учиться у всех понимающих толк в стихах говорило о неустанном труде. Полусерьезно, полушутя в феврале 1838 года он пишет В. Г. Белинскому и М. А. Бакунину: «Да, новость: я в этот раз вдвое поумнел противу прежнего; так славно толкую, говорю уверенно, спорю, вздорю, что беда. Риск — благородное дело. Я с важными учеными людьми толкую, спорю. Пускаюсь в суждения и убеждаю их на своем мнении. Виссарион Григорьевич, Михаил Александрович, как думаете? — ведь, право, смешно!» (14 февраля 1838 г.).

Взыскательный Кольцов прежде всего по-новому, критически взглянул на созданное им до той поры. Поэт уверенно переделывает прежде написанные стихотворения и создает новые, беспощадно вымарывая в черновых редакциях все, что претило обретенному тонкому, взыскательному вкусу. В. Г. Белинский, прочитав «Хуторок», ахнул и с восторгом написал В. П. Боткину о Кольцове: «Богатырь, да и только — каков его «Хуторок»?» [1]. Но и став замечательным мастером, поэт не занесся, он не исключал возможности ошибок у себя; однако это были уже не сомнения ученика. О «Хуторке» поэт писал В. Г. Белинскому: «...иногда прочтешь «Хуторок», покажется, а иногда разорвать хочется»,— и дальше объяснял, откуда у него такое отношение к стихотворению. «Хуторок» — песенный рассказ о кровавой степной драме. «Драма везде, где человек»,— убежденно писал поэт критику и продолжал: конечно, «иная драма хороша, другая дурна. Если смотреть на него («Хуторок».— *В. А.*) в обширном смысле страстей человеческих, так эта жизнь не очень хороша, а если глянуть на степь, на хутор да небо, так и эта бредет» (12 октября 1839 г.). Сомнения Кольцова в достоинствах «Хуторка» относились не к тому, что он создал, а к тому, что легло в основу его произведения. Поэт думал о том обширном, что стояло за его поэтической работой,— о самой жизни. «Лучше, что есть, говорить, а не собирать всякой чепухи и брызгать добрым людям по глазам; и стыдно и грешно» (там же). «Что есть, говорить» — это был принцип его поэзии.

С ростом мастерства шло становление Кольцова как личности. Разные житейские обстоятельства привели к тому, что поэт разделил судьбу многих тысяч таких же, как он, горьких, обездоленных людей. Кольцова принудили заниматься нелюбимым торгашеским делом. На писание стихов смотрели как на опасное занятие. Отец терпел это только потому, что находил полезными знакомства сына: влиятельный В. А. Жуковский и князь П. А. Вяземский давали Кольцову рекомендательные письма, а письма открывали доступ к высокопоставленным чиновникам. Родственники грубо вмешивались в личную жизнь поэта, принуждали его жениться с выгодой для семьи. «...более всего меня останавливают от занятий литературных дурные обстоятельства нашей коммерции. Дела торговые худшают. Скотом прошедший год торговали дурно»,— пишет Кольцов Краевскому в феврале 1837 года и подроб-

---

[1] Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. XI. М., Изд-во Акад. наук СССР, 1956, с. 441.

но, как человек, погруженный во все мелочи торговли, перечисляет: «Сало продали 11 руб. 25 коп. за пуд, кожу бычью — 13 руб., говядину обрезную продаем 2 руб. 50 коп.» и проч. «За что ни возьмись, валится все из рук,— хоть плачь! Что купишь, думаешь: барыш! Ан нет: убыток да убыток. Сказать вам откровенно? Этот чертов убыток уж как не хорош! Жуешь-жуешь, никак не проглотишь, так в глотке колом и становится!» (16 июля 1837 г.). «Плоха что-то моя голова сделалась в Воронеже,— одурела малова вовсе, и сам не знаю отчего: не то от этих дел торговых, не то от перемены жизни»,— жаловался Кольцов В. Г. Белинскому, вернувшись из поездки в Петербург и Москву. Такие же или похожие слова есть в письмах 1839, 1840, 1841 годов, до самой смерти. Словно предчувствуя печальную развязку, поэт жаловался В. Г. Белинскому: «...в Воронеже долго мне несдобровать. Давно живу я в нем, и гляжу вон, как зверь. Тесен мой круг, грязен мой мир; горько жить мне в нем; и я не знаю, как я еще не потерялся в нем давно... Нет голоса в душе быть купцом, а все мне говорит душа день и ночь, хочет бросить все занятия торговли — сесть в горницу, читать, учиться» (15 августа 1840 г.).

Тяготы безжалостной жизни громким эхом отозвались в душе Кольцова. В его стихах забушевала буря. Голос поэта стал голосом миллионов простых людей, притесняемых и обижаемых. Его личная душевная драма стала частицей всенародного несчастья. Как естественно и незаметно неурядицы личной жизни из биографического факта становились общезначимыми, можно судить по письмам: Неблагоприятный ход тяжебного дела в одном московском департаменте грозил разорением всей семье. Поэт обратился к Жуковскому с просьбой заступиться. Навалившиеся «груды дрянных дел» лишали покоя, гнали всякие мысли о творчестве. «В целый месяц написал только три пьески,— да и в те, кажется, слишком много подлил горя»,— писал Кольцов Жуковскому. Что это за стихи? Песня «Ах, зачем меня силой выдали...», стихотворение «Последний поцелуй». Какое третье стихотворение было написано в эти дни, осталось неустановленным, но и по известным стихотворениям можно судить о душевном состоянии поэта. Тоске, заполнившей песню «Ах, зачем меня силой выдали...», нет ни исхода, ни облегчения. О переживаниях самого Кольцова здесь нет ни слова, а мы чувствуем и его тоску:

Небось весело
Теперь матушке
Утирать мои
Слезы горькие!

Небось весело
Глядеть батюшке
На житье-бытье
Горемышное!

Воображение рисовало Кольцову и его собственную беду. «Проклятая судьба! До чего ты не доведешь человека?!— вторят песенным строкам слова поэта из письма к Жуковскому...— Пуще всего еще страшит меня одна мысль: если лишат всего,

и если случай приведет явиться к вам того человека, которого вы так много обласкали, которому покровительствовали,— придет [он] к вам, измаянный весь горем, оборванный, зимой в летнем платье... О, дай бог все претерпеть, но не дожить до этой встречи» (2 мая 1838 г.).

Жизнь Кольцова была полна той самой печали, которая заполнила до краев народную жизнь. В письме поэта В. Г. Белинскому от 28 сентября 1839 года есть одно примечательное суждение, которое весьма точно характеризует жизненную почву душевных переживаний Кольцова: «...вся причина — эта суша, это безвременье нашего края, настоящий и будущий голод. Все это как-то ужасно имело нынешнее лето на меня большое влияние или потому, что мой быт и выгоды тесно связаны с внешней природою всего народа. Куда ни глянешь — везде унылые лица; поля, горелые степи наводят на душу уныние и печаль, и душа не в состоянии ничего ни мыслить, ни думать».

Мир поэтического творчества Кольцова только на первый взгляд прост и незатейлив. Ну что, кажется, может быть проще рассказа о том, как сидит в гостях у чужих людей бедный человек и горько ему от мысли, что он всего лишен в жизни («Доля бедняка»)? Или — девушка, не получая вестей о милом, тоскует в одиночестве («Грусть девушки»)? Что, кажется, мог найти поэт нового в такой теме: прошла молодость — и тоскует одинокий, всеми оставленный человек («Русская песня», «Где вы, дни мои...»)? Как часто поэты писали об этом! Столь же известна и другая тема: молодец обращается к соловью и просит слетать его к душе-девице, поведать ей, как горько ему без нее («Ты не пой, соловей...»). Однако все эти стихотворения были восприняты как неслыханная новость и стали драгоценными жемчужинами во всей русской поэзии. Почему? Потому, что Кольцов с необычайной прямотой говорит о главном — о доле, о жизненной участи человека. Этой чертой своего творчества Кольцов свидетельствует, что принадлежит к плеяде народных поэтов. Его стихи не только написаны на темы, родственные народной жизни, но и разработаны в чисто народном духе. И самая простота стихотворений явилась выражением усвоенного у народа взгляда на зависимость душевного состояния человека от его бытовой судьбы.

У чужих людей
Горек белый хлеб,
Брага хмельная —
Неразымчива!

Белый хлеб, который горек, хмельная брага, которая не пьянит, — как должна быть сильна печаль бедняка, если его не радует то, что обычно веселит сердце. Мир чувств, казалось бы, столь простой, оказывается сложным и многообразным, каким он был в действительности. Кольцов увидел скрытое от поверхностного взгляда. Поэт нашел множество новых граней в том, что было уже изображено в стихах другими.

Речи вольные —
Все как связаны;
Чувства жаркие
Мрут без отзыва...

Связанная речь угнетенного думой, чувства, не находящие отзыва,— все это приметы глухой безысходной печали.

Из души ль порой
Радость вырвется —
Злой насмешкою
Вмиг отравится.

И бел-ясен день
Затуманится;
Грустью черною
Мир оденется.

Погасший белый ясный день, черная тоска, не мил свет — чувство сгущено до предела.

И сидишь, глядишь,
Улыбаючись;
А в душе клянешь
Долю горькую!

Кольцов, однако, не был бы поэтом народа, если бы выразил только его печаль и горечь. Ведь даже читая его стихи, исполненные грусти и тоски, мы чувствуем, что это бьется опутанная бытовыми сетями душа сильного человека:

Иль у сокола
Крылья связаны,
Иль пути ему
Все заказаны?

Поэт не мирился с участью приниженного и забитого, и ложились на бумагу строки:

Раззудись, плечо!
Размахнись, рука!
Ты пахни в лицо,
Ветер с полудня!
Освежи, взволнуй
Степь просторную!

Ритм стиха упоителен, как работа. В нем есть что-то родственное разбойной удали других слов:

Забушуй же, непогодушка,
Разгуляйся, Волга-матушка!
Ты возьми мою кручинушку,
Размечи волной по бережку...

И что замечательно — именно в таких строчках, в их ритме, в образах сказалось у Кольцова чувство мощи страны, ее простора, ее природы. В стихах, написанных на смерть Пушкина, он не случайно уподобил великого поэта России могучему лесу, сказочному богатырю Бове, который мог в непогоду грозно крикнуть туче:

Вороти назад!
Держи около!

Ощущение народных радостей и горя как собственных позволило Кольцову необычайно художественно воспроизвести крестьянский быт. Уж в 1832 году поэт заговорил о мужицкой доле. «Размышления поселянина» — это *згад* (дума) крестьянина, оставшегося и под старость единственной опорой большой семьи. В стихотворении «Урожай» поэт глядит на все глазами земледельца: дождь, пролившийся на истомленную солнечным зноем землю,— великая радость и для Кольцова. Глубокое удовлетворение, даже ликование слышится в строчках:

Напилась воды
Земля досыта;

На поля, сады,
На зеленые
Люди сельские
Не насмотрятся.

Так мог писать лишь человек, близко принявший к сердцу заботы и думы простого люда.

С Кольцовым в поэзию пришли пахари, косари, жнеи, веселые удалые работники. Поэзия крестьянской работы возносится до подлинного апофеоза. Тон стиха — полнота радостного ощущения труда.

Выбелим железо
О сырую землю.

Сверкает лемех у сохи, побывавшей в деле,— этой зоркости поэтического взгляда не может быть у человека, если он не ходил за сохой. Работа в поле при свете занявшейся зари-красавицы, под первыми лучами поднявшегося над лесом солнца, а потом, спустя время, нива, наряженная в «золотые ткани»,— образы стихотворения говорят о неотделимости эстетики поэта от эстетики народного труда:

Сладок будет отдых
На снопах тяжелых.

От таких строк веет теплом августовского дня и запахом скошенной хлебной нивы.

Уже в самых первых поэтических опытах Кольцов задавался сложными вопросами об устройстве мироздания, о безграничности видимого мира, о постижении тайн природы, о назначении человека на земле. Природа предстала глазам поэта во всем блеске красоты, дивя стройностью, как бы обдуманной связью своих звеньев. Чувство удивления и восторга перед миром продиктовало поэту простодушные строки:

Тучи носят воду,
Вода поит землю,
Земля плод приносит;
Бездна звезд на небе,
Бездна жизни в мире;
То мрачна, то светла
Чудная природа...

(«Великая тайна»)

Кольцов желал быть философом, а оставался поэтом.

Друзья познакомили Кольцова с переводными немецкими книгами. Поэт увлекся учением о том, что природа, и вся жизнь, и сами люди — форма существования вечной и абсолютной идеи. Кольцов пишет философское «Царство мысли». Мысль человека бессмертна, и самое солнце горит огнем человеческой мысли. Мысль всюду:

В глубоком сне недвижимого камня;
В дыхании былинки молчаливой;
В полете к облаку орлиных крылий;
В судьбе народов, царств, ума и чувства, всюду —
Она одна — царица бытия!

Что это — философия? Отчасти, но еще больше здесь поэзии. Это поэтический панегирик человеческой мысли. Мыслью можно охватить небесный простор, бесконечную морскую даль, можно пересечь безлюдные пустыни, подняться ввысь над дремлющими громадами гор. Кольцов остался художником и тогда, когда излагал философский тезис. Ясный ум, стихийная реалистическая ориентация и доверие своим чувствам удержали Кольцова от крайних выводов туманного идеализма. Отвращаясь от жестокой мысли, что люди на земле лишь орудие чьей-то воли, Кольцов ставил в центре мироздания не бога и даже не любимую им природу, а человека:

... прекрасней человека
Ничего нет на земли!

(«Человек»)

Вместе с тем Кольцов высказал и мысли, которые расходились с гуманистическим направлением его духовных исканий. Уже в «Великой тайне» поэт утешал себя верой в провидение и судьбу, предреченную от начала всему сущему на земле. Не виной, а бедой поэта было то обстоятельство, что на пути к самопознанию он встретил такие препятствия, которые его плохо подготовленный к восприятию философии ум преодолеть не мог. Кто знает, проживи поэт дольше, как бы сложилась его судьба: продолжала бы философская лирика занимать Кольцова или он оставил бы ее. Гадать бесполезно, но бесспорно, что знакомство с философией, чтение журналов раздвинуло кругозор поэта. Широта взгляда на мир, обнаруженная в философской лирике, по-своему выразилась и в песнях Кольцова. Поэт бесспорно обобщал, когда писал:

Горемышной доле
Нет нигде привета:
До седых волос любовью
Душа не согрета...

или:

Зла беда — не буря —
Горами качает,
Ходит невидимкой,
Губит без разбору.

В стихах Кольцова появился пафос общих оценок, общих суждений о людской неустроенной жизни.

Жуковский с неудовольствием как-то заметил поэту, что напрасно он увлекся философией. А Кольцов не хотел, чтобы к его стихам подходили с особой меркой: мещанин, необразованный, хорошо, когда пишет о том, что его окружает, и плохо, когда отвлекается от житейских тем. О своих стихах в письме В. Г. Белинскому поэт написал: «...надобно смотреть на них не со стороны мещанина, а со стороны обыкновенного человека» (28 апреля 1840 г.). Явление философской лирики Кольцова говорило о размахе требований, которые предъявит простой человек на пути к самопознанию, когда будет разбужен для новой жизни.

Стихи поэта дивят искусством, с каким сложены; поражает безошибочно найденное соотношение, связь частей. Кольцов придает изложению мысли строгую последовательность и порядок. В песне «Много есть у меня...» пять строф, и первые четыре начинаются одинаково:

Много есть у меня
Жемчугов и мехов,
Драгоценных одежд,
Разноцветных ковров.

Много есть у меня
Для пиров — серебра,
Для бесед — красных слов,
Для веселья — вина!

У обладателя сказочных богатств есть и терема, и поля, и леса, много деревень, людей, знакомых. Мы ждем: чем-то закончится эта речь? И вот завершающая строфа, короткая, сильная — она сразу делает всю песню единым законченным целым:

Но я знаю, на что
Трав волшебных ищу;
Но я знаю, о чем
Сам с собою грущу...

Стихотворение изобразило драматизм человеческой судьбы: есть власть, даваемая богатством, но она бессильна перед любовью. Соотношение частей стихотворения, последовательность и порядок в развитии мысли целиком вышли из общего замысла. В мастерстве композиции — в строгой простоте строения стихотворения, в ясности, обдуманности членения произведения на части — виден поэт пушкинского времени.

Кольцов прибегал к стройной композиции лишь в тех случаях, если она не расходилась с естественностью в изложении поэтической мысли. В стихотворении «Грусть девушки» поэт воспроизвел переживание героини во всей его достоверности, со смятением, догадкой, ожиданием роковой вести. Изображенный мир смятенной души не знал стройности. И стихотворение свободно переносится от предмета к предмету, сопрягает настоящее и прошлое, силится узнать о том, что уготовила судьба в будущем. Кольцов верно нашел ту композицию, которая только и соответствует передаче строя переживания. Это не столько логика мысли, сколько логика чувства.

Стихам поэта равно чужды и избыток и недостаток в изобразительности. Показательно в этом отношении стихотворение «Домик лесника». Оно рассказывает о затерянном в лесном краю доме, заперты его ворота. Кто живет здесь? Рыболов? Разбойник, теперь спасающий душу молитвой? Нет —

Лесной староста с женою,
С третьей дочкой молодою.
Он живет здесь с давних пор,
Караулит царский бор.

Заперты ворота из-за дочери. Лесник боится за нее:

Чтобы в каменны палаты
Не увез купец богатый;

Чтоб боярин окружной
Не прильнул бы к молодой
Безотвязной повиликой,—
Чтоб не быть ей горемыкой.

В стихотворении есть замечательная недосказанность. Она оставляет простор для воображения. Ясно только: глухой край таит возможность человеческой драмы. Соблюдена художественная мера — поэт заставил работать наше воображение: этого бы не было, если бы он рассказал нам подробнее о леснике и его дочери.

Явленному чувству художественной меры сопутствует широкая ассоциативность образов. Без этого свойства стихи Кольцова никогда не стали бы песнями: ведь поющий прилагает стихи к себе, если они чем-нибудь соответствуют настроению. Подсчитано, что около трехсот композиторов обращались к стихам Кольцова и свыше семисот песен и романсов написано на слова поэта. Такая необычная популярность в значительной степени объясняется множеством ассоциаций, которые рождают стихи Кольцова.

Дуют ветры,
Ветры буйные;
Ходят тучи,
Тучи темные.

Не видать в них
Света белова;
Не видать в них
Солнца краснова.

За стихами чудится огромный мир. Ветер нагнал темные тучи, красное солнце скрыто тучами — образ песни по аналогии может быть применен к множеству жизненных явлений, становясь едва ли не поэтическим символом. Такая образность в природе песен Кольцова.

У каждого рода и жанра в поэзии есть своя стилевая система, вне которой они не существуют. Это становится в особенности ясным, когда речь заходит о стихах Кольцова, которые стали романсами. Песням-романсам поэта присуща интенсивность в выра-

жении чувства — без этого свойства нет романса. Поэт следовал стилевой традиции жанра. Образцом созданной им песни, ставшей популярным романсом, может служить «Разлука» («На заре туманной юности...»):

> Что пред ней ты, утро майское,
> Ты, дуброва-мать зеленая,
> Степь-трава — парча шелковая,
> Заря-вечер, ночь-волшебница!

С песенной природой кольцовских стихов по-своему связано богатство их поэтического словаря. В живой разговорной речи поэт нашел приемы и средства художественного выражения. Многие стихотворения Кольцова усыпаны золотом пословиц:

> Не родись богатым,
> А родись кудрявым:
> По щучьему веленью
> Все тебе готово.

Из четырех строк — три заимствованы из фольклора.

> В золотое время
> Хмелем кудри вьются;
> С горести-печали
> Русые секутся.

Народная пословица гласила: «От радости кудри вьются, от горя секутся». Поэт сохранил смысл, примелькавшееся выражение «кудри вьются» он дополнил уподоблением вьющихся кудрей хмелю. Причину веселья — «от радости» — заменил много вместившим в себя определением — «в золотое время». Пословичное «горе» переменил на песенную «горесть-печаль», от сжатой пословичности «от горя секутся» отказался, предпочел ей повтор в форме привычного эпитета «русые секутся». И народная пословица вошла в стихи обновленной, с поэтическими подробностями, ранее неизвестными ей.

Поэт не мог мыслить своей лирики без фольклора, как не мыслили без него своей жизни миллионы людей. Песни, пословицы, причет, сказка — это был целый художественный мир, мир привычных жизненных сравнений, уподоблений, поэтических ассоциаций, вошедших в повседневный быт, язык, обычаи и обряды. Как многие другие песни Кольцова, «Ах, зачем меня силой выдали...» в существенной части повторяет фольклор. Несомненно, поэт слышал у себя в Воронеже, как пели:

> Ах, кабы на цветы не морозы,
> И зимой бы цветы расцветали;
> Ах, кабы на меня не кручина,
> Ни о чем-то бы я не тужила.

Фольклорный образ обретает новое звучание у Кольцова:

> Не расти траве
> После осени;
> Не цвести цветам
> Зимой по снегу!

У народа поэтом заимствован и образ кораблей, плывущих из-за моря с золотом — и сыплется золото на пол, а не помочь загубленному человеку:

Пусть из-за моря
Корабли плывут,
Пущай золото
На пол сыпится.

Вся песенно-сюжетная ситуация фольклорна от начала до конца. В народных песнях Кольцов нашел все ему необходимое, но не просто усвоил готовое. Ведь даже фольклорный образ цветов, погубленных морозом, у Кольцова уже не такой, каким был раньше. Кольцовская категоричность «Не цвести цветам зимой по снегу» не походит на сожалеющее раздумье народной песни о небывалом: «Ах, кабы на цветы не морозы». Беря у народа образы, поэт оставался самим собой.

Необычайно богатство кольцовских интонаций. Поэт кручинится, и стих становится тихим, ровным, задумчивым:

Век прожить — не поле
Пройти за сохою,—
Кручину, что тучу —
Не уносит ветром.

Поэт ликует, и стихи обретают энергию веселого вызова судьбе:

Не под шапку горе
Голове кудрявой!
Разливайтесь, песни!
Ходи, парень, браво!

Кольцов бывал великодушным, как те, кого он воспел:

В непогоду-ветер
Шапка на макушке;
Проходи, поп, барин —
Волоска не тронем!

Умел Кольцов быть и величавым, стихи его звучали торжественно, как гимн:

Красным полымем
Заря вспыхнула;
По лицу земли
Туман стелется...

Стихи поэта были голосом самой жизни. К Кольцову подходят слова, сказанные о народе: «Дивной вязью он плел невидимую сеть русского языка: яркого, как радуга,—вслед весеннему ливню, меткого, как стрела, задушевного, как песня над колыбелью, певучего и богатого» [1].

Мир кольцовской лирики по-своему отразился в письмах поэта. Без них трудно понять важные стороны духовной жизни Коль-

---

[1] Толстой А. Н. Полн. собр. соч., т. 14. М., Гослитиздат, 1956, с. 161.

цова и те бытовые обстоятельства, которые стали непосредственным источником его творчества. Биография, запечатленная в письмах,— часть поэтического мира Кольцова, а созданный им поэтический мир — часть его биографии. Письма могут считаться явлением искусства в той мере, в какой они представляют поэтическую душу Кольцова: его отношение к самому себе, друзьям, ко всему, что делалось вокруг, в литературе и касалось его самого. В центре всего этого разнообразия суждений, замечаний, откликов и раздумий Кольцов-поэт — лицо в высшей степени замечательное в нашей общественной и литературной истории.

* * *

Стремления Кольцова, его помыслы, чувства, надежды и самая судьба уже в XIX веке рассматривались как симптомы грядущего обновления народной России. Стихи поэта о степной воле и разбойной удали были любимы революционерами-шестидесятниками, а Глеб Успенский, размышляя о творчестве Кольцова, думал о таинственной и благотворной «власти земли», тяготеющей над русским крестьянином. Особым смыслом исполнен и тот факт, что среди первых книг, изданных сразу после 1917 года, были и сочинения Кольцова.

В полночь 1 января 1842 года, когда все кругом праздновало праздник новолетия, поэта одолели горькие думы:

Ужель безвременно из мира выйду-я,
Не совершив и задушевного желанья?

А осенью в октябре того же 1842 года чья-то привычная рука внесла в метрическую книгу запись: «Погребен на кладбище всех святых воронежский мещанин Алексей Васильев Кольцов, 33 лет, от чахотки». Он умер воронежским мещанином. Его рукописями торговали на толкучем рынке как оберточной бумагой. Скоро на могиле поэта появился памятник — такой, какой ставили в ту пору заурядным воронежским мещанам. Но у народа России осталась память о человеке с редким поэтическим даром. Песни Кольцова со временем запели на всем необозримом пространстве страны. Они остались жить своей особой судьбой, отдельной от имени создавшего их поэта. И нет более прочного памятника!

В. П. АНИКИН

СТИХОТВОРЕНИЯ

1827

СИРОТА

Не прельщайте, не маните,
Пылкой юности мечты!
Удалитесь, улетите
От бездомной сироты!

Что ж вы, злые, что вы вьетесь
Над усталой головой?
Что вы с ветром не несетесь
В край неведомый, чужой?

Были дни — и я любила
Сны о радости земной;
Но надежда изменила;
Радость — сон в судьбе моей.

Наяву же — в облегченье
Только слезы проливать,
И не верить в обольщенье,
И покоя не вкушать.

Не прельщайте ж, не маните,
Светлой радости мечты!
Унеситесь, улетите
От бездомной сироты!

РОВЕСНИКУ

О чем, ровесник молодой,
Горюешь и вздыхаешь?
О чем серебряной струей
Ты слезы проливаешь?
О чем бессменная печаль
И частые стенанья?
Страшна ли жизни темна даль
И с юностью прощанье?
Или нежданная беда
Явилась и сразила?
Житейская ль тебя нужда
Так рано посетила?
Иль сердца тайная любовь
Раскрыла в нем желанья
И юным пламенем вся кровь
Зажглась без унованья?
Я вижу думу на челе,
Без слов, без выраженья;
Но есть во взорах, как в стекле
Востока отраженье —
Заметное волненье.
Ах, то любовь, любовь!.. Она
В твоей душе играет;
Она в пиру, на ложе сна
Покой твой разрушает.
Я отгадал. Дай руку мне!
Ты не один, кипя душою,
Горишь и гаснешь в тишине:
Прошу тебя, будь друг со мною.

ПЕСНЯ

Если встречусь с тобой
Иль увижу тебя,—
Что за трепет, за огнь
Разольется в груди.

Если взглянешь, душа,—
Я горю и дрожу,
И бесчувствен и нем,
Пред тобою стою!

Если молвишь мне что,
Я на речи твои,
На приветы твои
Что сказать — не сыщу.

А лобзаньям твоим,
А восторгам живым
На земле, у людей,
Выражения нет!

Дева-радость души,
Это жизнь — мы живем!
Не хочу я другой
Жизни в жизни моей!

1828

ПУТНИК

Сгустились тучи, ветер веет,
Трава пустынная шумит;
Как черный полог, ночь висит,
И даль пространная чернеет;
Лишь там, в дали степи обширной,
Как тайный луч звезды призывной,
Зажжен случайною рукой,
Горит огонь во тьме ночной.
Унылый путник запоздалый,
Один среди глухих степей,
Плетусь к ночлегу; на своей
Клячонке тощей и усталой
Держу я путь к тому огню;
Ему я рад, как счастья дню.
И кто так пристально средь ночи
Вперял на деву страстны очи,
Кто, не смыкая зорких глаз,
Кто так стерег условный час,
Как я, с походною торбою,
Трясясь на кляче чуть живой,
Встречал огонь во тьме ночной?
То наш очаг горит звездою,
То спеет каша степняка
Под песнь родную чумака!..

ОСЕНЬ

Настала осень; непогоды
Несутся в тучах от морей;
Угрюмеет лицо природы,
Невесел вид нагих полей;
Леса оделись синей тьмою,
Туман гуляет над землею
И омрачает свет очей.
Все умирает, охладело;
Пространство дали почернело;
Нахмурил брови белый день;
Дожди бессменные полились;
К людям в соседки поселились
Тоска и сон, хандра и лень.
Так точно немочь старца скучна;
Так точно тоже для меня
Всегда водяна и докучна
Глупца пустая болтовня.

23 ноября 1828 г.

ПОСЛАНИЕ МОЛОДОЙ ВДОВЕ

Напрасно думаешь слезами
Тоску от сердца ты прогнать:
Всевышним богом — не людями
Тебе назначено страдать.
Конечно, сердцу нестерпимо
Расстаться с тем, что так любимо;
Что мило — больно потерять:
Нельзя не плакать, не вздыхать.
Так, верно, верно: ты несчастна;
Твоей души супруг прекрасный
Так скоро отказался жить.
Он жертва смерти, он зарыт.
Но что? ужель весну младую
Слезам ты хочешь посвятить?
Ужели юность золотую
В тоске ты хочешь проводить?
Ужель утрата роковая
Пребудет памятна всегда?
Ужель, что было, забывая,
Не улыбнешься? Милая! слезами

Тоски от сердца не прогнать:
Всевышним богом, а не нами
Тебе положено страдать.

27 декабря 1828 г.

РАЗМОЛВКА

Теперь ясней
Уж вижу я,
Что огнь любви
Давно потух
В груди твоей.
Но что виной,
Могу ли знать?
Бывало, ты —
Сестра и друг;
Бывало, ты —
Совсем не та!
А нынче — грех
И вымолвить,
Как ты со мной
Суха, дика
И сумрачна!
Незваный гость,
Долой с двора!
Немилый друг,
Не знай меня!
Ах, рад не рад —
Пришлось и мне
Сказать с слезой:
Прости, прощай,
Любезный друг
И недруг мой!

СПЯЩИЙ ЮНОША

О всеблагое провиденье,
Храни его успокоенье!

Еще не знает он, чтó скука,
Чтó беспредельная любовь,
И как тяжка любви разлука,

И как хладеет в сердце кровь;
Не знает жизненной заботы,
Тяжелых снов и страшных бед,
И мира гибельных сует,
И дней безжизненной дремоты,
Коварства света и людей,
Надежд, желаний и страстей.
Теперь он резвится, играет,
Незрелый ум мечтой питает.
Во сне испуг его не будит,
Нужда до солнца встать не нудит,
Печаль у ложа не стоит,—
Священным сном невинность спит...
Но эти дни как тень проходят,
Прекрасный мир с собой уводят...

О всеблагое провиденье,
Храни его успокоенье!

ПРЕКРАСНОЙ ПОСЕЛЯНКЕ

Ах, чья ты, дева-красота?
Твои уста, твои ланиты
Такою прелестью покрыты!
И в ком чудесная мечта
Груди б младой не взволновала,
Когда б ты на скале крутой,
Одна, над бездною морской,
Как дева Пушкина, стояла
Под белым флагом покрывала?..
И вкруг тебя одеждой снежной
Зефир приветливо б играл;
По сгибу плеч, по шее нежной
Свитые кудри развивал?..
Когда б, качаяся, дремало
Перо на шляпке голубой,
И грудь лебяжая вздыхала
Любовью девственной, святой?..
Тогда б, в сердечном упоенье
Склонив колена пред тобой,
В избытке чувства, в исступленье,
Сгорел бы весь, как огнь степной!..

НОЧЛЕГ ЧУМАКОВ

Вблизи дороги столбовой
Ночует табор кочевой
Сынов Украины привольной.
В степи и пасмурно и темно:
Ни звезд блестящих, ни луны
На небе нет; и тишины
Ночной ничто не нарушает;
Порой проезжий лишь играет,
И колокольчик почтовой,
Звеня над тройкой удалой,
На миг молчанье прерывает.
Между возов огонь горит;
На тагане котел висит;
Чумак раздетый, бородатый,
Поджавшись на ногах, сидит
И кашу с салом кипятит.
За табором невдалеке
Волы усталые пасутся;
Они никем не стерегутся.
Беспечно пред огнем в кружке
Хохлы чумазые, седые,
С усами хлопцы молодые,
Простершись на траве, лежат
И вдаль невесело глядят.
Чем чумаков прогнать дремоту?
Давно ль утратили охоту
Они петь песни старины?
Чем ныне так развлечены?
Бывало, часто, ночью темной,
Я с ними время разделял
И, помню, песням их внимал
С какой-то радостью невольной...
Но вот во тьме игра свирели,
Вот тихо под свирель запели
Они про жизнь своих дедов,
Украйны вольныя сынов...
И как те песни сердцу милы,
Как выразительны, унылы,
Протяжны, звучны и полны
Преданьями родной страны!..

1829

Я БЫЛ У НЕЙ

Я был у ней; она сказала:
«Люблю тебя, мой милый друг!»
Но эту тайну от подруг
Хранить мне строго завещала.

Я был у ней; на прелесть злата
Клялась меня не променять;
Ко мне лишь страстию пылать,
Меня любить, любить, как брата.

Я был у ней; я с уст прелестной
Счастливое забвенье пил
И все земное позабыл
У девичьей груди прелестной.

Я был у ней; я вечно буду
С ее душой душою жить;
Пускай она мне изменит —
Но я изменником не буду.

7 генваря 1829 г.

ПЛАЧ

На что мне, боже сильный,
Дал смысл и бытие,
Когда в стране изгнанья
Любви и братства нет;
Когда в ней вихри, бури
И веют и шумят;
И черные туманы
Скрывают правды свет.
Я думал: в мире люди
Как ангелы живут,
Я думал, в тайных мыслях
Один у них закон:
К тебе, царю небесный,
Любовью пламенеть,
И ближним неимущим
Без ропота души
Последнюю копейку,
Как братьям, уделять.
А люди — те же звери:
И холодны и злы;
Мишурное величье —
Молебный их кумир,
А золото и низость —
Защитник их и бог.
И ты, отец небесный,
Не престаешь вседневно
Щедроты лить на них.
О, просвети мне мысли,
Нерадостны они,
И мудрости светильник
Зажги в моей душе.

ОТВЕТ НА ВОПРОС О МОЕЙ ЖИЗНИ

Вся жизнь моя — как сине море,
С ветрами буйными в раздоре —
Бушует, пенится, кипит,
Волнами плещет и шумит.
Уступят ветры,— и оно
Сровняется, как полотно.

Иной порою, в дни ненастья,
Все в мире душу тяготит;
Порою улыбнется счастье,
Ответно жизнь заговорит;
Со всех сторон печаль порою
Нависнет тучей надо мною,
И, словно черная волна,
Душа в то время холодна;
То мигом ясная година
Опять настанет,— и душа
Пьет радость, радостью дыша!
Ей снова все тогда прекрасно,
Тепло, спокойно, живо, ясно,
Как вод волшебное стекло,—
И горя будто не было...

17 марта 1829 г.

ИССТУПЛЕНИЕ

Увижу ль, увижу ль
Красавицу я,—
Заноет, забьется
Сердечко в груди.

Посмею ль, могу ли
В сей жизни хоть раз
Я милую эту
Своею назвать?

На груди лилейной
В объятьях любви,
Забывшись, навек бы
Счастливец уснул.

Скажите: пред нею
Что можно сравнять?
Прелестные очи,
Как звезды, горят.

По щечкам разлился
Румянец зари;
А кудри?.. а брови?..
Сравненья им нет!

Как маиское утро
Улыбка ее;
Как живо, как стройно
Созвучье речей.

Ах, если бы, к счастью,
Я был чародей:
Неволей иль волей
Была бы моей.

* * *

Ничто, ничто на свете
Меня не веселит
С тех пор, как я расстался
С подругой навсегда;
С тех пор, взгляну ль на юных,
Играющих девиц,
Вздохну, и горьки слезы
Польются из очей.
Они, кружась, резвятся,
Как ласточки весной,
Моим слезам смеются
С улыбкою любви.
Красавицы младые,
И я здесь счастлив был,
И я в пирах веселых
Шутил, подобно вам.
Но рано рок суровый
Сказал: расстанься с ней.
С тех пор я не встречаю
Уж радости нигде.

ПОСЛАНИЕ В. Г. О.

Служил я прежде Лизе скромной,
Служил, как долгу гренадир.
Как Дафне добренькой сатир.
И чтоб была она довольной,
Я все намеки и желанья
Любил немедля выполнять.
Но наконец без воздаянья
Мечтам был должен отказать.

Я ждал еще, я ждал чего-то,
Надежда мне сулила что-то;
Надежда скрылась — я забыт,
Как дряхлый, старый инвалид.
Но ты, соперница Венеры,
Мои мечты, мои химеры
Желаньем оживила вновь;
И в сердце чистом, непорочном,
Как солнце — в янтаре восточном,
Зажгла безгрешную любовь.
Отнынь прошу, друг новый, нежный,
Царицей будь души моей,
Будь гений добрый и надежный
Моих во мгле текущих дней.
И я в свободные мгновенья,
Желаньям вашим в угожденье,
Раз пять в неделю буду рад
По вкусу дамскому для чтенья
Романов лучших присылать.
А может быть, тебе, мой гений,
Моих неловких песнопений
Когда-нибудь пришлю тетрадь.
Но вы, вы спросите: награда
Велика ль, добрый трубадур?
Червонной пыли мне не надо.
Букет цветов да два-три взгляда —
И я доволен чересчур.

ПРЕСТАРЕЛЫЙ КАЗАК

Зачем так скоро скрылась ты,
Казачья юность удалая?
О жизнь залетная, драгая,
Где ты теперь, где ты?
Бывало, смелая рука
Сверкнуть булатом не робела
И в буйной груди казака
Отвага бурная горела
Неугасаемым огнем.
Без страха, робости,— с мечом
Я в огнь и в полымя бросался,

С отрядом целым я встречался,
Нещадно всех рубил, колол,
Для всех с собою смерть я вел.
Бывало, чуждые дружины,
Едва лицо мое зазрят,—
Уже валятся ряд на ряд
На лоно стонущей долины.
Теперь уж нет могучих сил!
Осьмой десяток мне пробил.
В мой угол старость заглянула
И слабость принесла с собой.
Теперь трепещущей рукою
Я смерть лениво отгоняю
И умереть скорей желаю.
Как после сечи, после драки,
Бывало, ждал донец венца,
Так нынь в курене бурлака
Он ждет последнего конца.
Ах! лучше б с именем героя
В дыму, в огне, средь пуль и боя
Врагу насунуться на меч
И на долине чести лечь,
Чем здесь в безвестности постылой
Томиться над своей могилой.

4 мая 1829 г.

НА ОТЪЕЗД Д. А. КАШКИНА В ОДЕССУ

Что груди тяжельше?
Что сердцу больней?
Что конь мой удалый
Споткнулся не раз?
Иль заяц трусливый
Мой путь перебег?
Уж видны мне кровли
Родных и друзей
И храма святого
Сияющий крест.
О чем же ты грустном
Пророчишь, душа?..

Уж обнял с восторгом
Счастливец семью.
Но где ж, о родные,
Бесценный мой друг?
Он отбыл надолго
В низовы края...
Недаром же конь мой
Споткнулся не раз,
Недаром же сердце
Вещало печаль!..
Когда ж возвратишься
В родную страну?
Дождусь ли в унынье
Тебя, друг, назад?

2 августа 1829 г.

К М...

Вы милы всем, вы очень скромны;
Не спорю я, ваш кроток нрав,
Но я узнал, что он притворный,
Что он с природы так лукав.
В вас нет капризов, нет и чванства,
Но только много шарлатанства;
К тому ж ваш вежливый язык
И уверять и льстить привык.
К свиданьям тайным вы согласны,
Но те свиданья мне опасны,
Затем что в них сокрыт обман
Иль вновь затеянный роман.
В веселый час хоть вы твердите:
«Забудьте прежнее — любите!» —
Да как, скажите, вас любить,
Как непорочность обольстить?
О нет, такие мне оковы
Немилы, как венок терновый,
Притом же хладная любовь
В объятиях застудит кровь.
Сказать велите ль откровенно:
Вовек такой, как вы, презренной,
Затем не соглашусь любить,
Чтобы осмеянным не быть.

6 октября 1829 г.

А. Д. ВЕЛЬЯМИНОВУ

Милостивый государь
Александр Дмитриевич!

В селе, при первой встрече нашей,
Для вас и для супруги вашей
Я, помню, обещал прислать
Торквата милое творенье,
Певца любви и вдохновенья;
И слова данного сдержать
Не мог донынь, затем что прежде
Обманут был в своей надежде.
Но обещанью изменить
За стыд, за низость я считаю —
И вот, успел лишь получить
Две книги, вам их посылаю.
Мне лестно вам угодным быть.
Так — незначительный мечтатель —
Я вашим мненьем дорожу,
И восхищусь, коль заслужу
Вниманье ваше... Обожатель
Всего прекрасного...

Вам покорнейший
Мещанин Алексей Кольцов.

9 октября 1829 г.

К М...

Подобных Маше очень мало,
И в мире равных не бывало:
Лицо, движенья, речь и взгляд
Стальное сердце распалят.
Любить ее и я бы рад,
Когда б в груди не крылось жало,
Когда б в любви ее — не яд.

12 октября 1829 г.

К ПОДРУГЕ МОЕЙ ЮНОСТИ

Зачем ты, дева, не желаешь
Со мною быть наедине?
Скажи, скажи: зачем при мне

Ты так робеешь, так скучаешь?
Ужель со мной опасно быть?
Ужель тебе кажусь я страшен?
О, верь мне, верь: я не опасен!
Я весь перед тобой открыт,
И в сердце лишь любовь горит.
Ты помнишь, друг мой, с юных лет
С тобою мы росли, резвились,
И что на мысли не придет,
Мы всем доверчиво делились.
А нынь, не знаю почему,
Меня ты, дева, презираешь
И средь людей и одному
Невинных чувств не доверяешь.
Оставь, красавица, свой стыд,
Не будь ко мне ты равнодушна;
Будь так, как прежде, простодушна,
Как прежде, будем братски жить.

25 октября 1829 г.

ПЕСНЯ

Очи, очи голубые,
Мне вас боле не встречать!
Девы, девы молодые,
Вам меня уж не ласкать!

Побывали, унеслися
Дни моей златой весны;
В сердце опытном слилися
Лишь отзывы старины.

Ах, на что же оживили
Предо мной мои мечты
Сердцу сладостные были,
Ласки юной красоты?

Мне ль приветливым казаться,
С хладным сердцем вновь любить?
Мне ль надеждой обольщаться?
Беспробудно друг мой спит...

12 ноября

ПЕСНЯ

Увижу ль я девушку,
Увижу ль я красную —
Забьется неволею
Сердечко удалое
Любовью сердечною.

«Полюбишь ли, девушка,
Полюбишь ли, красная,
Без модной учтивости
Любовию верною
Удалова молодца?

Ах, что же ты, девушка,
Ах, что же ты, красная,
Стыдишься? Аль, милая,
Любить не намерена
Удалова молодца?»

«Любила б я молодца,
Любила б удалова;
Но мне ли, сироточке,
Бескровной и бедненькой,
Ласкаться любовию?

Желаю ль я, девушка,
Желаю ль я, красная,
Палат раззолоченных,
Искусством украшенных
И блеском обманчивых?»

«Люблю тебя, милую,
Люблю тебя, юную,
За характер добренький,
За стыдливость детскую,
Всем девицам сродную».

ТЕРЕМ

Там, где терем тот стоит,
Я люблю всегда ходить
Ночью тихой, ночью ясной,
В благовонный май прекрасный!

Чем же терем этот мил?
Чем меня он так пленил?
Он не пышный, он не новый,
Он бревенчатый — дубовый!

Ах, в том тереме простом
Есть с раскрашенным окном
Разубранная светлица!
В ней живет душа-девица.

Как-то встретился я с ней —
Не свожу с тех пор очей;
Красна ж девица не знает,
По ком грудь моя вздыхает.

Разрывайся, грудь моя!
Буду суженым не я —
Тот богатый, я без хаты —
Целый мир мои палаты!

Вещун-сердце говорит:
«Жить тебе, детинке, жить
Не с женою молодою —
С чужой-дальней стороною...»

16 ноября 1829 г.

ЛЮДИ ДОБРЫЕ, СКАЖИТЕ

Люди добрые, скажите,
Люди добрые, не скройте:
Где мой милый? Вы молчите!
Злую ль тайну вы храните?

За далекими ль горами
Он живет один, тоскуя?
За степями ль, за морями
Счастлив с новыми друзьями?

Вспоминает ли порою,
Чья любовь к нему до гроба?
Иль, забыв меня, с другою
Связан клятвой вековою?

Иль уж ранняя могила
Приняла его в объятья?
Чья ж слеза ее кропила?
Чья душа о нем грустила?

Люди добрые, скажите,
Люди добрые, не скройте:
Где мой милый? Вы молчите!
Злую тайну вы храните!

21 ноября 1829 г.

МАЛЕНЬКОМУ БРАТУ

Расти счастливо, брат мой милый,
Под кровом вышнего творца,
На груди матушки родимой,
В объятьях нежного отца.
Будь добродетелен душою,
Велик и знатен простотою;
На сцену света ты взойдешь
Любимцем ли слепой фортуны
Или, как я, полюбишь струны
И посох бедный понесешь,—
В высоком звании пред бедным
Счастливой долей не гордись!
Но с ним — чем бог послал — последним,
Как с родным братом, поделись.
Суму дадут,— не спорь с судьбою;
У бога мы равны; пред ним
Смирися с детской простотою —
И с сердца грусть слетит, как дым.
Пробудишь струны,— пой без лести!
Будь неподкупен в деле чести;
Люби творца, своих владык
И будь в ничтожестве велик.

23 ноября 1829 г.

ПИСЬМО К Д. А. КАШКИНУ

Давно, за суетой бессрочной,
К тебе я, милый, не писал
И в тихий край земли полночной
Докучных строк не посылал;

Давно на лире я для друга
В часы свободы и досуга
Сердечных чувств не изливал.
Теперь, освободясь душою
От беспрерывных бурь мирских
И от забот и дел моих,
Хочу порадовать игрою
Тебя, о милый друг! И ты,
Взамену хладной пустоты,
С улыбкой, дружеству пристойной,
Глас лиры тихой и нестройной
Прочтешь и скажешь про себя:
«Его трудов — виновник я!»
Так точно, друг, мечты младые,
И незавидливый фиал,
И чувств волненье ты впервые
Во мне, как ангел, разгадал.
Ты, помнишь, раз сказал: «Рассей
С души туман непросвещенья
И на крылах воображенья
Лети к Парнасу поскорей!»
Совету милого послушный,
Я дух изящностью питал;
Потом, с подругою воздушной
Нашедши лиру, петь начал;
Потом в час лени молчаливой
Я рано полюбил покой,
Приют избушки некрасивой
И разноцветный садик мой,
Где я свободой упиваюсь
Иль славой гибельной горю,
Где долго в думы погружаюсь
И, друг, тебя благодарю
За те нельстивые советы,
Какими хвалятся поэты.

5 декабря 1829 г.

СЕСТРЕ

при посылке стихов

Сестра! вот были чудных снов,
Вот звуки самодельной лиры,
Мои мечты, мои кумиры,

Моя душа, моя любовь!
Сестра! земная жизнь — мгновенье,
Судьбы ж кто знает назначенье?
Быть может, раньше я других
Не окажусь в семье живых.
Пройдет год-два,— за суетою,
За лживой радостью мирскою
Забудешь ты меня; но вмиг
Когда-нибудь прочтешь мой стих,
Вспомянешь брата — и вздохнешь,
И сладких слез поток прольешь.

11 декабря 1829 г.

* * *

Пишу не для мгновенной славы:
Для развлеченья, для забавы,
Для милых, искренних друзей,
Для памяти минувших дней.

МЕЩАНСКАЯ ЛЮБОВЬ

Итак, вчерашний разговор
Свершил нежданный приговор.
Не нужны темные намеки,
Ни ясный, ни лукавый взор,
Где в честь за поцелуй — упреки,
За ласки — дерзостный укор,
За шутку скромную — презренье
Платить обратно в награжденье
И доводить враждой до слез.
Что взгляд последний произнес?
Вы думали, меня смутите?
Нет, я не стану возражать,
Ни кланяться, ни умолять.
По-моему: любить — любите,
А нет — прощайте! Что вздыхать?
Я не дитя: я не заплачу,
Не потужу я, что утрачу
Для новых благ одну тебя.
Лишь ты, немилая моя,
Забудь презренного скорей;

А я найду, поверь, другую
Себе красавку городскую,
Тебя моложе и милей.

19 декабря 1829 г.

А. П. СРЕБРЯНСКОМУ

Не посуди: чем я богат,
Последним поделиться рад;
Вот мой досуг; в нем ум твой строгий
Найдет ошибок слишком много;
Здесь каждый стих, чай, грешный бред.
Что ж делать: я такой поэт,
Что на Руси смешнее нет!
Но не щади ты недостатки,
Заметь, что требует поправки...
Когда б свобода, время, чин,
Когда б примерно господин
Я был такой, чтоб только с трубкой
Сидеть день целый и зевать,
Роскошно жить, беспечно спать,—
Тогда, клянусь тебе, не шуткой
Я б вышел в люди, вышел в свет.
Теперь я сам собой поэт,
Теперь мой гений... Но довольно!
Душа грустит моя невольно.
Я чувствую, мой милый друг,
С издетских лет какой-то дух
Владеет ею не напрасно!
Нет! я недаром сладострастно
Люблю богиню красоты,
Уединенье и мечты!

ПРИДИ КО МНЕ

Приди ко мне, когда зефир
Колышет рощами лениво,
Когда и луг и степь — весь мир
Оденется в покров сонливый.

Приди ко мне, когда луна
Из облак в облака ныряет

Иль с неба чистого она
Так пышно воды озлащает.

Приди ко мне, когда весь я
В любовны думы погружаюсь,
Когда, красавица, тебя
Нетерпеливо дожидаюсь.

Приди ко мне, когда любовь
Восторги пылкие рождает,
Когда моя младая кровь
Кипит, волнуется, играет.

Приди ко мне; вдвойне с тобой
Хочу я жизнью наслаждаться,
Хочу к твоей груди младой
Со всею страстию прижаться...

* * *

По-над Доном сад цветет,
Во саду дорожка:
На нее б я все глядел,
Сидя, из окошка...

Там с кувшином за водой
Маша проходила,
Томный взор потупив свой,
Со мной говорила.

«Маша, Маша! — молвил я.—
Будь моей сестрою!
Я люблю... любим ли я,
Милая, тобою?»

Не забыть мне никогда,
Как она глядела!
Как с улыбкою любви
Весело краснела!

Не забыть мне, как она
Сладко отвечала,

Из кувшина, в забытьи,
Воду проливала...

Сплю и вижу все ее
Платье голубое,
Страстный взгляд, косы кольцо,
Лентой первитое.

Сладкий миг мой, возвратись!
С Доном я прощаюсь...
Ах, нигде уж, никогда
С ней не повстречаюсь!..

РАЗУВЕРЕНИЕ

Да! жизнь не то, что говорили
Мои мне книги и мечты;
Ее недаром заклеймили
Печатью зла и суеты.
Сначала искренно встречая
И утро дня благословляя,
Я в мире все благословлял...
Дитя! я ласки расточал,
Я простирал мои объятья
Ко всем с любовию, как братьям!
Пришла пора, узнал и я
Совсем не то, что прежде снилось,
Чем сердце юное пленилось,
О чем так сладко думал я...
Узнал родных, к родству холодных;
В друзьях — предателей притворных;
В толпах людей — толпы невежд;
Обманчивость земных надежд;
В обетах — лживые обманы;
В невинном взгляде — льстивый взор;
В умах возвышенных — туманы,
Надутой глупости позор...
Бог с ними! Я страну земную
С упреком тайным разлюбил;
Душой постигнул жизнь другую,
В ту жизнь мечты переселил
И странствую без дальних нужд,
Земли жилец, земнова чужд.

* * *

Не мне внимать напев волшебный
В тенистой роще соловья;
Мне грустен листьев шум прибрежный
И говор светлого ручья.

Прошла пора! Но в дни былые
Я слушал Филомелы глас;
Тогда-то в сумраки густые
Веселья огнь во мне не гас.

Тогда с Анютой милой, нежной
Часов полета не видал;
Тогда, надеждой обольщенный,
Я праздник жизни пировал.

Теперь же, о друзья! со мною
Анюты скромной боле нет...
С другим она... и я с тоскою
Встречаю дня огнистый свет.

Так мне ль внимать напев волшебный
В тенистой роще соловья?
Мне грустен листьев шум прибрежный
И говор светлого ручья...

МЩЕНИЕ

Отрывок

Скажи: какие возраженья
Рассеют новые сомненья,
Какую снова хочешь лесть
В защиту чести произнесть?
Молчи, и слов не трать напрасно;
Я знаю все — и знаю ясно,
Когда... и где... и как... кто он...
Но ты, ты скажешь: это сон
Развил неверное виденье,
Чтоб поселить меж нас сомненье...
Напротив, слушай — я скажу.

Вчера бьет полночь, я лежу,
Не сплю, но спящим притворился
И чутким сном как бы забылся.
Вдруг слышу: робко ты меня
Своей рукой пошевеля,
Тихонько встала — и потом
Исчезла в сумраке ночном;
Я встал, гляжу: тебя уж нет.
Схватил кинжал, пустился вслед.
Но я не видел, как ты с ним
Дышала воздухом одним
И как в объятьях ты его
Пылала, млела и сгорала,
Как жарко друга своего
При расставанье целовала...
Забывши страх, закон, себя,
Кровавым мщением горя,
Ужасным гневом пламенея,
Бегу... Нечаянно злодея,
Как тень могильную, схватил
И в грудь ему кинжал вонзил...
Где вы, любви моей мечты?
И кто довел?.. Теперь и ты
Страшись меня, как грешник ада;
Не то — подобная награда!..

ПЕСНЬ РУСАЛКИ

Давайте, подруги,
Веселой толпой
Мы выйдем сегодня
На берег крутой

И песнию громкой
Луга огласим,
Леса молчаливы
И даль усыпим.

Нарвем мы цветочков,
Венки мы сплетем,
Любимую песню
Царицы споем;

А с утром, подруги,
Одна за другой
Сокроемся в волны
Падучей звездой.

ПОВЕСТЬ МОЕЙ ЛЮБВИ

ПОСВЯЩАЮ ВОРОНЕЖСКИМ ДЕВУШКАМ

Красавицы-девушки,
Одноземки-душеньки,
Вам хочу я, милые,
На досуге кое-как
Исповедать таинство,
Таинство чудесное.
И у нас в Воронеже
Никому до этих пор
Не хотел открыть его;
Но для вас, для вас одних
Я его поведаю,
И так, как по грамотке,
Как хитрец по карточкам,
Расскажу по-дружески
Повесть о самом себе.

Скучно и нерадостно
Я провел век юности:
В суетных занятиях
Не видал я красных дней;
Жил в степях с коровами,
Грусть в лугах разгуливал,
По полям с лошадкою
Один горе мыкивал.
От дождя в шалашике
Находил убежище,
Дикарем, степникою
Я в Воронеж езживал
За харчами, деньгами,
Чаще — за отцовскими
Мудрыми советами.
И в таких занятиях
Мне пробило двадцать лет.
Но, клянусь вам совестью,
Я еще не знал любви.

В городах все девушки
Как-то мне не нравились,
В слободах, в селениях
Всеми брезгал-гребовал.
Раз один в Воронеже —
Где, не помню — встретилась
Со мной одна девушка,
Смазливеньким личиком,
Умильными глазками,
Осанкою, поступью,
Речью лебединою
Вспламенила молодца.
Вдруг сердечко пылкое
Зажглось, раскалилося,
Забилось и искрами
По груди запрядало.
Я тогда не в силах был
Удержать порыв страстей —
И в ее объятиях
Уснул очарованный,
Упившись любовию;
И с тех пор той девушки
Стал я вечным пленником.
«Кто ж она?» — вы спросите,
Одноземки милые.
Не скажу... но если вы
По весельям ездите,
На гульбах бываете,
Там, поверьте мне,
Вы ее увидите:
Всех скромней, красивее,
Всех простей и ласковей,
Откровенней, радостней.

1830

МОЛОДОЙ ЧЕТЕ

Сбылось, что вы желали тайно,
Сбылось! настал желанный час:
Любовь благословила вас,
И скоро перстень обручальный
На вашей ручке заблестит,
И пастырь вас соединит.
И жизнь счастливая польется,
Как серебристый ручеек
Через муравчатый лужок,
Журча, игривой струйкой вьется.
Судьба вас счастьем наградила,
И будет луч его светить
Весь век над ним и над тобой
Неизменимою звездой.
Но если вас — избави, боже! —
Когда день черный навестит,
Любовь все может усладить!
Любовь и дружба! Ты дороже
Всего на свете, ты одна
В несчастье, в счастии равна.
Надежды, радости земные,

Мгновенья жизни дорогие
Изменчивы для нас всегда;
Прямая ж дружба — никогда!

4 генваря 1830 г.

ПОСЛЕДНИЕ СТИХИ

Пускай с насмешкою холодной
За скудный труд ругает свет;
Скажу с улыбкой благородной:
Я мещанин, а не поэт.

* * *

О, не кажи улыбки страстной!
Не мучь надеждою напрасно;
Прошу, так нежно не гляди;
Со мной речей не заводи;
Будь больше недовольна,
Будь равнодушна, хладнокровна,
Как недруга, пренебрегай!
В беседах с злобою немою
Со мною встречи убегай.
Ах, ты неправдою такою
Меня, быть может, охладишь
И, к счастью, счастия лишишь!..

ПЕСНЯ

Утратив то, что было мило,
Напрасно вновь к себе зову;
Напрасно тень подруги милой
Хочу я видеть наяву.

Теперь с тобой одно свиданье
Какой ценою б ни купил;
Я за твое существованье
Земною б жизнью заплатил!

За нежный поцелуй, за встречу,
За блеск приветливых очей,

За жар любви, за звук речей
Я б голову понес на сечу.

Но нет, вовек не возвратить,
Что было так душой любимо!
Вовек и тень с страны незримой
К призывам друга не слетит.

О, лейтесь, лейтесь же ручьями,
Горючи слезы, из очей!
Без ней нет жизни меж людями —
Нет сердцу радостей без ней.

Лебедянь.
26 мая 1830 г.

ТРИОЛЕТ

Прошу, оставьте вы меня;
Моя любовь к вам охладела.
В душе нет прежнего огня,
Прошу, оставьте вы меня.
Не зная вас, был весел я;
Узнал вас — радость улетела.
Прошу, оставьте вы меня;
Моя любовь к вам охладела.

4 июля 1830 г.

К ДРУГУ

Развеселись, забудь, что было!
Чего уж нет — не будет вновь!
Все ль нам на свете изменило?
И все ль взяла с собой любовь?
Еще отрад у жизни много,
У ней мы снова погостим;
С одним развел нас опыт строгий,
Поладим, может быть, с другим!
И что мы в жизни потеряли,
У жизни снова мы найдем!
Что нам мгновенные печали?
Мы ль их с тобою не снесем?
Что грусть земли? ужель за гробом
Ни жизни, ни награды нет?
Ужели там, за синим сводом,

Ничтожество и тьма живет?
Ах, нет! кто мучится душою,
Кто в мире заживо умрет,
Тот там, за дальней синевою,
Награды верные найдет!
Не верь истления кумиру,
Не верь себе, не верь людям,
Не верь пророчащему миру,
Но веруй, веруй небесам!
И пусть меня людская злоба
Всего отрадного лишит,
Пусть с колыбели и до гроба
Лишь злом и мучит и страшит,
Пред ней душою не унижусь,
В мечтах не разуверюсь я;
Могильной тенью в прах низринусь,—
Но скорби не отдам себя!..

11 июля 1830, полночь

К N...

Опять тоску, опять любовь
В моей душе ты заронила
И прежнее, былое вновь
Приветным взором оживила.
Ах! для чего мне пламенеть
Любовью сердца безнадежной?
Мой кроткий ангел, друг мой нежный,
Не мой удел тобой владеть!
Но я любим, любим тобою!
О, для чего же нам судьбою
Здесь не даны в удел благой,
Назло надменности людской,
Иль счастье, иль одна могила!
Ты жизнь моя, моя ты сила!..
Горю огнем любви святым,
Доверься ж, хоть на миг, моим
Объятиям! Я не нарушу
Священных клятв — их грудь хранит,
И верь, страдальческую душу
Преступное не тяготит...

19 июля 1830 г.

В АЛЬБОМ NN

Что мне, скажите, написать
В альбом для милой девы?
Напрасный труд! Мои напевы
Едва ль прекрасную пленят;
Притом, что ей сказать, о чем?
Хвалить ее напрасно —
Она, как день, прекрасна,
Как серафим без крыл, мила,—
То что пред нею похвала!

24 июля 1830 г.

ПОСЛАНИЕ Н... П...

И вы на нас грозой хотите?
И вы, и вы кинжал острите
Отцу на старческую грудь!
Накажет бог когда-нибудь!
Припомните, что прежде были.
Притом не вы ль мне говорили:
«Я б мог давно — но не хочу;
Нет, я и извергу не мщу,
Нет, я не с варварской душою,—
За зло плачу я добротою».
Враги ль мы вам? Пусть бог сразит,
Кто черный замысел таит!
Злодеи ль мы? За что ж хотите
Полуубитого добить?
Его старайтесь защитить!..
Я знаю: сильному удобно
Невинных ранить,— даже сродно...
Но тот не человек — злодей!
Вы ж покровитель, друг людей,—
Держите ж слово — и не мстите,
Прошу, кинжала не острите
Отцу на старческую грудь:
Ей время в жизни отдохнуть.

25 июля 1830 г.

НЕИЗМЕНИМОСТЬ

Мой друг, любовь нас съединяет,
А невозможность разлучает;
Иль на роду уж дано мне
Любить любезную во сне?
А наяву — в тоске, в мученье
С тобою быть, подле сидеть
И лобызать тебя не сметь;
И в ожиданье и в сомненье
И дни и ночи проводить!..
Мы хочем время улучить,
Где б можно было мне прижаться
К трепещущей груди твоей,
На снег ланит, на огнь очей
Где б мог глядеть и любоваться.
Но нет! Подглядливые очи
И тут и там, везде следят;
И днем, и в час глухой полночи
Они нас, друг мой, сторожат.
И как укрыться нам от взора
Недоброхотливых людей?
Как неизбежного дозора
Нам избежать во тьме ночей?
И как завистников-тиранов
Иль отклонить, иль обмануть?
Какою силой талисманов
Их очи зоркие сомкнуть?
Но, друг! пускай они глядят
На нас; за нами замечают,
Любить друг друга запрещают;
Пусть делают что, как хотят.
Но мы друг другу верны оба:
Любовь моя, твоя — до гроба!
То что они, что их дозор,
Что нам упрек, что нам позор?
Мы стерпим всё: и хоть украдкой,
Хоть мыслью, хоть надеждой сладкой
. . . .
А всё не запретят любить,
Земные радости делить.

28 июля 1830 г.

ЭЛЕГИЯ

В твои объятья, гроб холодный,
Как к другу милому, лечу,
В твоей обители укромной
Сокрыться от людей хочу.
Скорее, смерть, сверкни косою
Над юною моей главою!
Немного лет я в мире жил...
И чем сей мир повеселил?
И кто с улыбкой мне отрадной
От сердца нежно руку жал?
Со мной кто радостью желанной
Делил веселье и печаль?
Никто! Но в сей стране пустынной
Один лишь был мне верен друг,
И тот, как песни звук отзывный,
Как огнь мгновенный, надмогильный,
На утренней заре потух.
Одна звезда меня пленяла
Еще на небе голубом
И в черном сумраке густом
Надеждой тайной грудь питала;
Но скрылася она — с тех пор
Приветных звезд не видит взор.
Без ней, как сирота безродный,
Влачусь один в толпе людей,
С душою мрачной и холодной,
Как нераскаянный злодей.
С людями, братьями моими,
Еще хотел я жизнь делить;
По-прежнему хотел меж ними
Я друга по сердцу найтить.
Но люди взорами немыми
С презреньем на меня глядят
И душу хладную мертвят.
К тебе от них, о гроб холодный,
Как к другу милому, лечу,
В твоей обители укромной
Покоя тихого ищу.
О смерть! сомкни скорей мне вежды!
Верней загробные надежды.

30 июля 1830 г.

СОВЕТ СТАРЦА

Скучно с жизнью старческой,
Скучно, други, в мире жить;
Грустно среди пиршества
О могиле взгадывать
И с седою мудростью
К ней, наморщась, двигаться.
Поспешайте ж, юноши,
Наслаждаться жизнию!
Отпируйте в радости
Праздник вашей юности!
Много ль раз роскошная
В год весна является?
Много ль раз долинушку
Убирает зеленью,
Муравою бархатной,
Парчой раззолоченной?
Не одно ль мгновение
И весне и юности?

1 августа 1830 г.

К Ж......

Не мучь, красавица моя,
Не мучь напрасным ожиданьем;
И так уже измучен я,
И так томительным страданьем
Душа влюбленная убита;
Она давно тоской покрыта.
К чему ж незажитые раны
Ты хочешь боле растравлять?
Скажи: придут ли дни желанны
Иль нам их вечно не видать?
Иль ты с притворною душою
Смеешься, шутишь надо мною?
Теперь — увы! — в последний раз
Я жду любезного привета.
Жестокая! прощальный час!
Порадуй лаской ответа!
Скажи, скажи! Но — дикий взор!..
Где сила снесть сей приговор!

8 августа 1830 г.

ВЕЧЕР

Уж рощей лиственная сень
Росой коралльною дымится,
И чуть заметливая тень
На долы, на поля ложится;
Ленивый ветерок, порхая
И поминутно утихая,
Природу клонит в сладкий сон;
Уж с нею засыпает он.
Один я в темной тишине,
Оставив свой семейный круг,
С раздумьем сердца в глубине,
Иду на освеженный луг;
На нем я с новою отрадой
Дышу вечернею прохладой,
И с новой радостью земной
Веду беседы я с луной:
О смерти, вечности, о жизни,
О нашей будущей отчизне,
О наших будущих мирах
И преселенцах-мертвецах,
Которые, как мы, здесь жили
И дух горѐ переселили.
Ах, что на их там стороне?
Видна ли тайна назначений?
Что не постиг здесь гордый гений —
То там постигнуто ль вполне?
О, для чего с земли судьбою
Живым в удел не дано нам
Туда к ним улетать душою?
Я б, с ними привитая там,
Учился б жить с самим собою;
Но я веригою земной,
Как цепию невольник злой,
Надолго связан и окован —
Мой дух неволей очарован
И дольним счастием прельщен.
В земных он таинствах теряясь
И для небесных омрачен,
Бескрыльной думой окрыляясь,
Туда напрасно рвется он...
Луна! ты житель горних стран,

Ты беспредельный океан
Без утомленья протекаешь;
Луна! быть может, ты бываешь
И в тех странах,— поведай мне
О тайнах их... Но в тишине
Ты, ход урочный совершая
И молчаливо озаряя
Кладбище смерти, крест и гроб,
И отдаленный неба свод,
Лишь светишь нам, как все те звезды,
В знак доброй для людей надежды.

Старобельск.
20 августа 1830 г.

ЗЕМНОЕ СЧАСТИЕ

Не тот счастлив, кто кучи злата
Сбирает жадною рукой
И — за корысть — родного брата
Тревожит радостный покой;
Не тот, кто с буйными страстями
В кругу прелестниц век живет,
В пирах с ничтожными глупцами
Беседы глупые ведет
И с ними ценит лишь словами
Святую истину, добро,
А нажитое серебро
Хранит, не дремля, под замками.
Не тот счастлив, не тот, кто давит
Народ мучительным ярмом
И кто свое величье ставит
На полразрушенном другом!
Он пренебрег земли законы,
Он, презирая вопль и стоны,
И бедной, горестной мольбе
Смеется вперекор судьбе!..
Он бога гнев, он кары неба
Считает за ничтожный страх;
Суму, кусок последний хлеба
Отнял у ближнего — и прав!
Не он! — Но только тот блажен,
Но тот счастлив и тот почтен,

Кого природа одарила
Душой, и чувством, и умом,
Кого фортуна наградила
Любовью — истинным добром.
Всегда пред богом он с слезою
Молитвы чистые творит,
Доволен жизнию земною,
Закон небес боготворит,
Открытой грудию стоит
Пред казнью, злобою людскою,
И за царя, за отчий кров
Собой пожертвовать готов.
Он, и немногое имея,
Всегда делиться рад душой;
На помощь бедных, не жалея,
Все щедрой раздает рукой!

Старобельск.
20 августа 1830 г.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Что душу в юности пленило,
Что сердце в первый раз
Так пламенно, так нежно полюбило —
И полюбило не на час,—
То все я силюся предать забвенью
И сердцу пылкому, и страстному томленью
Хочу другую цель найтить,
Хочу другое также полюбить!
Напрасно всё: тень прежней милой
Нельзя забыть!
Уснешь — непостижимой силой
Она тихонько к ложу льнет,
Печально руку мне дает,
И сладкою мечтой вновь сердце очарует,
И очи томные к моим очам прикует!..
И вновь любви приветный глас
Я внемлю страждущей душою...
Когда ж ударит час
Забвенья о тебе иль вечности с тобою?..

Близ Мур-могилы.
21 августа 1830 г.

МУКА

Осиротелый и унылый,
Ищу подруги в свете милой,—
Ищу — и всем «люблю» твержу,—
Любви ж ни в ком не нахожу.
На что ж природа нам дала
И прелести, и розы мая?
На что рука твоя святая
Им сердце гордым создала?
Ужель на то, чтоб в первый раз
Пленить любовию священной,
Потом упорностью надменной
Сушить и мучить вечно нас?
Ужель на то, чтоб радость рая
В их взоре видя на земли,
Мы наслаждаться не могли,
В любови муки познавая?..
Но ты, земная красота,
Не стоишь моего страданья!
Развейся ж, грешная мечта,
Проси от неба воздаянья!

27 августа 1830 г.
Керченская слобода.

СИРОТА

Когда мне шел двадцатый год,
Я жил звериной ловлей
И был укрыт от непогод
Родительскою кровлей.
Отец мой всех был богатей,
Всяк знался с нашей хатой,
Был хлеб, был скот рогатый...
Моя богатая семья
Копейкой не нуждалась;
Такому счастию родня
С досадой улыбалась.
И кто б подумать прежде мог,
Что после с нами стало:
Прогневался на грешных бог,—
Что было, все пропало.

Два года не рожался хлеб,
Иссохнула долина,
Утратилась скотина,—
Нужда на двор — и денег нет!
Травою заросло гумно,
Кошары опустели,
С последним нищим заодно
И в праздник мы говели.
Еще б мой жребий сносен был,
Но с бесталанной доли
Я всю семью похоронил...
От скорби и от боли
Без них для горького меня
И радости скончались;
Чуждалась бедного родня,
Соседи удалялись.
Пришлось с могилою родных
Навеки распроститься
И горевать среди чужих,
С пустой сумой пуститься.
И люди мирных деревень,
Живя без нужд, не знают,
Что вся мне жизнь есть черный день,
Иль, зная,— забывают.

Кокенское поле.
4 сентября 1830 г.

ПЕСНЯ

На что ты, сердце нежное,
  Любовию горишь?
На что вы, чувства пылкие,
  Волнуетесь в груди?
Напрасно, девы милые,
  Цветете красотой,
Напрасно добрых юношей
  Пленяете собой,
Когда обычьи строгие
  Любить вас не велят,
Когда сердца холодные
  Смеются, други, вам.
Любовь, любовь чистейшая,
  Богиня нежных душ!

Не ты ль собою всех людей
Чаруешь и живишь?
Сердца, сердца холодные,
Не смейтеся любви!
Она — и дев и юношей
Святыня и кумир.

Близ Славяносербска.
5 сентября 1830 г.

КОЛЬЦО

Песня

Я затеплю свечу
Воску ярова,
Распаяю кольцо
Друга милова.

Загорись, разгорись,
Роковой огонь,
Распаяй, растопи
Чисто золото.

Без него — для меня
Ты ненадобно;
Без него на руке —
Камень на сердце.

Что взгляну — то вздохну,
Затоскуюся,
И зальются глаза
Горьким горем слез.

Возвратится ли он?
Или весточкой
Оживит ли меня,
Безутешную?

Нет надежды в душе...
Ты рассыпься же
Золотой слезой,
Память милова!

Невредимо, черно,
На огне кольцо,
И звенит по столу
Память вечную.

20 сентября 1830 г.

СЕЛЬСКАЯ ПИРУШКА

Ворота тесовы
Растворилися,
На конях, на санях
Гости въехали;
Им хозяин с женой
Низко кланялись,
Со двора повели
В светлу горенку.
Перед Спасом святым
Гости молятся;
За дубовы столы,
За набраные,
На сосновых скамьях
Сели званые.
На столах кур, гусей
Много жареных,
Пирогов, ветчины
Блюда полные.
Бахромой, кисеей
Принаряжена,
Молодая жена,
Чернобровая,
Обходила подруг
С поцелуями,
Разносила гостям
Чашу *горькова;*
Сам хозяин за ней
Брагой хмельною
Из ковшей вырезных
Ро́дных потчует;
А хозяйская дочь
Медом сыченым
Обносила кругом
С лаской девичьей.
Гости пьют и едят,
Речи гуторят:
Про хлеба, про покос,
Про старинушку;
Как-то бог и господь
Хлеб уро́дит нам?

Как-то сено в степи
Будет зелено?
Гости пьют и едят,
Забавляются
От вечерней зари
До полуночи.
По селу петухи
Перекликнулись;
Призатих говор, шум
В темной горенке;
От ворот поворот
Виден по снегу.

21 сентября 1830 г.

ПЕСНЯ СТАРИКА

Оседлаю коня,
Коня быстрова,
Я помчусь, полечу
Легче сокола.

Чрез поля, за моря,
В дальню сторону —
Догоню, ворочу
Мою молодость!

Приберусь и явлюсь
Прежним молодцем,
И приглянусь опять
Красным девицам!

Но, увы, нет дорог
К невозвратному!
Никогда не взойдет
Солнце с запада!

21 сентября 1830 г.

ВЗДОХ НА МОГИЛЕ ВЕНЕВИТИНОВА

Какие думы в глубине
Его души таились, зрели?
Когда б они сказалися вполне,
Кого б мы в нем, друзья, узрели?

Но он, наш северный поэт,
Как юный лебедь величавый,
Средь волн тоскуя, песню славы
Едва начал — и стих средь юных лет!

30 октября 1830 г.

ВЕСЕЛЫЙ ЧАС

Дайте бокалы!
Дайте вина!
Радость — мгновенье.
Пейте до дна!
Громкие песни
Гряньте, друзья!
Пусть нас веселых
Видит заря!
Ныне пируем —
Юность на час,—
Нынче веселье,
Радость у нас!
Завтра что будет,
Знаю ль, друзья?
Пусть нас веселых
Видит заря!
Шумно, разгульно
Пойте, друзья!
Лейте в бокалы
Больше вина!
Ну-те ж все разом
Выпьем до дна!
Пусть нас веселых
Видит заря!

ЧТО ЗНАЧУ Я?

Что, крошка мелкая, я значу?
Живу, заботливо тружусь,
В желанье счастья время трачу
И, вечно недовольный, плачу!
Чего ж ищу? к чему стремлюсь?
В какой стране, на что гожусь?
Есть люди: до смерти желают
Вопросы эти разгадать.

Но что до них! Пусть как хотят
О всем серьезно рассуждают.
Я недоросль, я не мудрец,
И мне нужнее знать немного;
Шероховатою дорогой
Иду шажком я, как слепец;
С смешным сойдусь ли — посмеюсь;
С прекрасным встречусь — им пленюсь;
С несчастным от души поплачу,
И не стараюсь знать — что́ значу.

УТЕШЕНИЕ

Как жаль, что счастия звезда
На небе вашем закатилась!
Но разве горесть навсегда
С судьбою вашей породнилась?
Пройдет зима — настанет май.
Беда — глупа, взведет на счастье.
Всяк провиденью доверяй:
Оно нас ценит без пристрастья.
Пусть кто доволен здесь неправо
Или неправо кто гоним...
Земные радости — с отравой,
Отрава — с счастием земным.
Все постоянно — лишь за морем,
И потому, что нас там нет;
А между тем кто минут горем?
Никто... таков уж белый свет!..

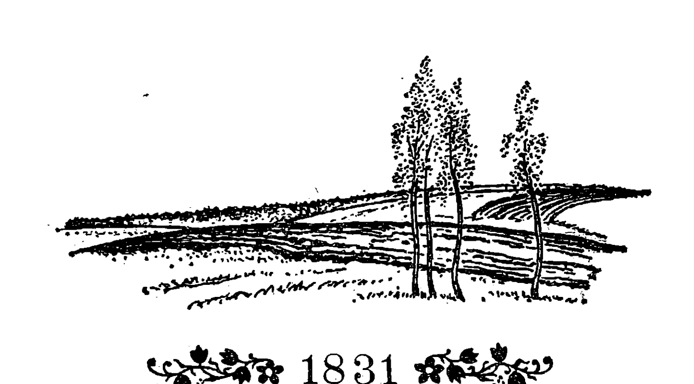
К РЕКЕ ГАЙДАРИ

Стою, зловещей думы полн,
При шепоте, при плеске волн...
Гайдарь! все теми ж ты волнами
Катишься вдаль, как и всегда,
Такими ж светлыми водами;
Поишь людей, поишь стада;
И те ж в тебе глядятся горы
И моются корни лесов;
Все те ж кругом поля, озеры,
Все так же ночью вдоль брегов
На лодке, легкой и качливой,

Плывет веселый рыболов;
По влаге сонной, прихотливой
Кидает сеть он — и вперед
Веслом размашисто гребет,
И песнь Украйны для забавы,
Без мыслей, без желаний славы,
Напевом прадеда поет!
Катись, Гайдарь, и пой водою
Брега, счастливые тобою!
Твой век тебе не изменил;
А я, старик, всю жизнь прожил...
Где ж вы, благие упованья,
Где ты, священный сердца жар?..
Катися, светлая Гайдарь,
Неси с собой мои стенанья!

УТЕШЕНИЕ

Внимай, мой друг, как здесь прелестно
Журчит серебряный ручей,
Как свищет соловей чудесно.
А ты — один, в тоске своей.
Смотри: какой красой в пустыне
Цветы пестреются, цветут,
Льют ароматы по долине
И влагу рос прохладных пьют.
Вдали там тихо и приятно
Раскинулась березы тень,
И светит небосклон отрадно,
И тихо всходит божий день.
Там вешний резвый ветерок
Играет, плещется с водами,
Приветно шепчется с листами
И дарит ласками цветок.
Смотри: на разноцветном поле
Гостит у жизни рой детей
В беспечной радости на воле;
Лишь ты, мой друг, с тоской своей...
Развеселись!.. Проснись душою
С проснувшейся для нас весною;
Хоть юность счастью посвятим!
Ах! Долго ль в жизни мы гостим!..



1831

ПЕСНЯ ПАХАРЯ

Ну! тащися, сивка,
Пашней, десятиной,
Выбелим железо
О сырую землю.

Красавица зорька
В небе загорелась,
Из большого леса
Солнышко выходит.

Весело на пашне.
Ну, тащися, сивка!
Я сам-друг с тобою,
Слуга и хозяин.

Весело я лажу
Борону и соху,
Телегу готовлю,
Зерна насыпаю.

Весело гляжу я
На гумно, на скирды,
Молочу и вею...
Ну! тащися, сивка!

Пашенку мы рано
С сивкою распашем,
Зернышку сготовим
Колыбель святую.

Его вспоит, вскормит
Мать-земля сырая;
Выйдет в поле травка —
Ну! тащися, сивка!

Выйдет в поле травка —
Вырастет и колос,
Станет спеть, рядиться
В золотые ткани.

Заблестит наш серп здесь,
Зазвенят здесь косы;
Сладок будет отдых
На снопах тяжелых!

Ну! тащися, сивка!
Накормлю досыта,
Напою водою,
Водой ключевою.

С тихою молитвой
Я вспашу, посею.
Уроди мне, боже,
Хлеб — мое богатство!

26 ноября 1831 г.

* * *

Мой друг, мой ангел милый,
Тебя ли я с такою силой,
Так нежно, пламенно лобзал
И к нежной груди прижимал?

Или в минуту исступленья,
В жару сердечного волненья,
Я обнимал одну мечту,
Твою рисуя красоту?
Как упоителен душе влюбленной
Живой твой взор полусмущенный,
Твой жгучий, страстный поцелуй! —
Приди же вновь! страдальца поцелуй!
Тобой любимым быть прекрасно!
Прекраснее — тебя любить!
Что муки мне? Душою страстной
О милой сладко мне грустить!

СОЛОВЕЙ

Подражание Пушкину

Пленившись розой, соловей
И день и ночь поет над ней;
Но роза молча песням внемлет,
Невинный сон ее объемлет...
На лире так певец иной
Поет для девы молодой;
Он страстью пламенной сгорает,
А дева милая не знает —
Кому поет он? отчего
Печальны песни так его?..

ВИДЕНИЕ НАЯДЫ

Взгрустнулось как-то мне в степи однообразной.
Я лег
Под стог,
И, дремля в скуке праздной,
Уснул; уснул — и вижу сон:
На берегу морском, под дремлющей сосною,
С унылою душою,
Сижу один; передо мною
Со всех сторон
Безбрежность вод и небо голубое —
Все в сладостном ночном покое,

На все навеян легкий сон.
Казалось, море — небеса другие,
Казались морем небеса:
И там и здесь — одни светила золотые,
Одна лазурь, одна краса
В объятьях дружбы дремлет.
Но кто вдали, нарушив тишину,
Уснувшую волну
Подъемлет и колеблет?
Прелестная, нагая
Богиня синих вод —
Наяда молодая;
Она плывет,
Она манит, она зовет
К себе на грудь мои объятия и очи...
Как сладострастный гений ночи,
Она, с девичьей красотой,
Являлась вся сверх волн нагой
И обнималася с волной!..
Я с берегов, я к ней... И — чудо! — достигаю.
Плыву ль, стою ль, не потопаю.
Я с ней! — ее я обнимаю,
С боязнью детскою ловлю
Ее приветливые взгляды;
Сжимаю стан наяды,
Целую и шепчу: «Люблю!»
Она так ласково ко мне главу склонила;
Она сама меня так тихо обнажила,
И рубище мое пошло ко дну морей...
Я чувствовал, в душе моей
Рождалась новая, невидимая сила,
И счастлив был я у ее грудей...
То, от меня притворно вырываясь,
Она, как дым сгибаясь, разгибаясь,
Со мной тихонько вдаль плыла;
То, тихо отклонив она меня руками,
Невидима была;
То долго под водами
Напевом чудным песнь поет;
То, охватив меня рукою,
Шалит ленивою водою
И страстный поцелуй дает;
То вдруг, одетые в покров туманной мглы,

Идем мы в воздухе до дремлющей скалы,
С вершины — вновь в морскую глубину!
По ней кружимся, в ней играем,
Друг друга, нежась, прижимаем
И предаемся будто сну...
Но вспыхнула во мне вся кровь,
Пожаром разлилась любовь;
С воспламененною душою —
Я всю ее объемлю, всю обвил...
Но миг — и я от ужаса остыл:
Наяда, как мечта, мгновенно исчезает;
Коварное мне море изменяет —
Я тяжелею, я тону
И страсть безумную кляну;
И силюсь плыть, но надо мною
Со всех сторон валы встают стеною;
Разлился мрак, и с мрачною душой
Я поглощен бездонной глубиной...
Проснулся: пот холодный
Обдал меня...
«Поэзия! — подумал я,—
Твой жрец — душа святая,
И чистая, и неземная!»

1832

ДОМИК ЛЕСНИКА

В темном лесе, за рекой,
Стоит домик небольшой,
С двумя светлыми окнами,
С распашными воротами.

Под замкóм те ворота,
И калитка заперта,—
Чтоб не вшел туда рогатый
Леший, страшный и косматый;

Чтоб не вшел туда упырь,
Ни проезжий богатырь.
Кто ж живет тут одиноко,
От жилья кругом далеко?..

Рыболов ли небогатый?
Иль разбойник бородатый?..
В нем спасается мольбой,
С сундуками и казной,

Лесной староста с женою,
С третьей дочкой молодою.
Он живет здесь с давних пор,
Караулит царский бор.

И для ней старик седой
Замыкает домик свой,—
Чтобы в каменны палаты
Не увез купец богатый;

Чтоб боярин окружной
Не прильнул бы к молодой
Безотвязной повиликой,—
Чтоб не быть ей горемыкой.

ИССТУПЛЕНИЕ

Духи неба, дайте мне
Крылья сокола скорей!
Я в полночной тишине
Полечу в объятья к ней!

Сладострастными руками
Кругом шеи обовьюсь,
Ее черными глазами
Залюбуюсь, загляжусь!

Беззаботно к груди полной,
Как пчела к цветку, прильну,
Сладострастьем усыпленный,
Беспробудно я засну.

ПЕСНЯ

Ты не пой, соловей,
Под моим окном;
Улети в леса
Моей родины!

Полюби ты окно
Души-девицы...
Прощебечь нежно ей
Про мою тоску;

Ты скажи, как без ней
Сохну, вяну я,
Что трава на степи
Перед осенью.

Без нее ночью мне
Месяц сумрачен;
Среди дня без огня
Ходит солнышко.

Без нее кто меня
Примет ласково?
На чью грудь, отдохнуть,
Склоню голову?

Без нее на чью речь
Улыбнуся я?
Чья мне песнь, чей привет
Будет по сердцу?

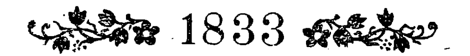
Что ж поешь, соловей,
Под моим окном?
Улетай, улетай
К душе-девице!

РАЗМЫШЛЕНИЕ ПОСЕЛЯНИНА

На восьмой десяток
Пять лет перегнулось,
Как одну я песню,

Песню молодую,
Пою, запеваю
Старою погудкой;
Как одну я лямку
Тяну без подмоги!
Ровесникам детки
Давно помогают,
Только мне на свете
Перемены нету.
Сын пошел на службу,
А другой в могилу;
Две вдовы невестки;
У них детей кучи —
Все мал мала меньше;
За́дной головою
Ничего не знают.
Где пахать, что сеять,
Позабыли думать.
Богу, знать, угодно
Наказать под старость
Меня, горемыку,
Такой тяготою.
Сбыть с двора невесток,
Пустить сирот в люди! —
Старики на сходке
Про Кузьму что скажут?
Нет, мой згад, уж лучше,
Доколь мочь и сила,
Доколь душа в теле,
Буду я трудиться;
Кто у бога просит
Да работать любит,
Тому невидимо
Господь посылает.
Посмотришь: один я
Батрак и хозяин;
А живу чем хуже
Людей семьянистых?
Лиха беда в землю
Кормилицу-ржицу
Мужичку закинуть,
А там бог уродит,
Микола подсобит

Собрать хлебец с поля;
Так его достанет
Год семью пробавить,
Посбыть пóдать с шеи
И нужды поправить,
И лишней копейкой
Божий праздник встретить.



ПОЭТ И НЯНЯ

«Няня, няня! правда ль это,
Что здесь сказано поэтом?
Будто мне не век играть;
Что достанется узнать
Девушке девичье горе,
Своенравное, как море;
И что мне теперь так мило,
Будет горестно, постыло;
Что привыкну тосковать
И украдкою вздыхать...
День ли весело проснется —
Дева дню не улыбнется,
Выйдет с грустью на крыльцо
Освежить свое лицо.
Поглядит ли на дубравы,
На невинные забавы,
На шелковые луга,
На зеленые брега —
Все под твердью голубою
Дышит радостью земною;
Ей лишь скучно, и слеза
Оросит ее глаза...» —
«И!.. Не верь, мое дитя,
Они гýторят шутя;
Их ты сказкам не внимай,
Плюнь на книжку! пой, играй!..»

УДАЛЕЦ

Мне ли, молодцу
Разудалому,
Зиму-зимскую
Жить за печкою?

Мне ль поля пахать?
Мне ль траву косить?
Затоплять овин?
Молотить овес?

Мне поля — не друг,
Коса — мачеха,
Люди добрые —
Не соседи мне.

Если б молодцу
Ночь да добрый конь,
Да булатный нож,
Да темны леса!

Снаряжу коня,
Наточу булат,
Затяну чекмень,
Полечу в леса!

Стану в тех лесах
Вольной волей жить,
Удалой башкой
В околотке слыть.

С кем дорогою
Сойдусь, съедусь ли,—
Всякий молодцу
Шапку до земли!

Оберу купца,
Убью барина,
Мужика-глупца
За железный грош!

Но не грех ли мне
Будет от бога —
Обижать людей
За их доброе?

В церкви поп Иван
Миру гу́торит,
Что душой за кровь
Злодей платится...

Лучше ж воином,
За царев закон,
За крещеный мир
Сложить голову!..

ВЕЛИКАЯ ТАЙНА

Дума

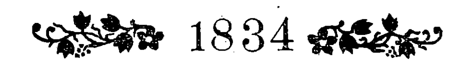
Тучи носят воду,
Вода поит землю,
Земля плод приносит;
Бездна звезд на небе,
Бездна жизни в мире;
То мрачна, то светла
Чудная природа...

Старея́сь в сомненьях
О великих тайнах,
Идут невозвратно
Веки за веками;
У каждого века
Вечность вопрошает:
«Чем кончилось дело?» —
«Вопроси другова»,—
Каждый отвечает.

Смелый ум с мольбою
Мчится к провиденью.
Ты поведай мыслям
Тайну сих созданий!

Шлют ответ, вновь тайный,
Чудеса природы,
Тишиной и бурей
Мысли изумляя...

Что же совершится
В будущем с природой?..
О, гори, лампада,
Ярче пред распятьем!
Тяжелы мне думы,
Сладостна молитва!



НЕ ШУМИ ТЫ, РОЖЬ

Не шуми ты, рожь,
Спелым колосом!
Ты не пой, косарь,
Про широку степь!

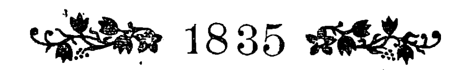
Мне не для чего
Собирать добро,
Мне не для чего
Богатеть теперь!

Прочил молодец,
Прочил доброе,
Не своей душе —
Душе-девице.

Сладко было мне
Глядеть в очи ей,
В очи, полные
Полюбовных дум!

И те ясные
Очи стухнули,
Спит могильным сном
Красна девица!

Тяжелей горы,
Темней полночи
Легла на сердце
Дума черная!



УРОЖАЙ

Красным полымем
Заря вспыхнула;
По лицу земли
Туман стелется;

Разгорелся день
Огнем солнечным,
Подобрал туман
Выше темя гор;

Нагустил его
В тучу черную;
Туча черная
Понахмурилась,

Понахмурилась,
Что задумалась,
Словно вспомнила
Свою родину...

Понесут ее
Ветры буйные
Во все стороны
Света белого.

Ополчается
Громом-бурею,
Огнем-молнией,
Дугой-радугой;

Ополчилася,
И расширилась,
И ударила,
И пролилася

Слезой крупною —
Проливным дождем
На земную грудь,
На широкую.

И с горы небес
Глядит солнышко,
Напилась воды
Земля досыта;

На поля, сады,
На зеленые,
Люди сельские
Не насмотрятся.

Люди сельские
Божьей милости
Ждали с трепетом
И молитвою;

Заодно с весной
Пробуждаются
Их заветные
Думы мирные.

Дума первая:
Хлеб из зáкрома
Насыпать в мешки,
Убирать воза;

А вторая их
Была думушка:
Из села гужом
В пору выехать.

Третью думушку
Как задумали,—
Богу-господу
Помолилися.

Чем свет по полю
Все разъехались —
И пошли гулять
Друг за дружкою,

Горстью полною
Хлеб раскидывать;
И давай пахать
Землю плугами,

Да кривой сохой
Перепахивать,
Бороны зубьем
Порасчесывать.

Посмотрю пойду,
Полюбуюся,
Что послал господь
За труды людям:

Выше пояса
Рожь зернистая
Дремит колосом
Почти до́ земи,

Словно божий гость,
На все стороны,
Дню веселому
Улыбается.

Ветерок по ней
Плывет, лоснится,
Золотой волной
Разбегается.

Люди семьями
Принялися жать,
Косить под корень
Рожь высокую.

В копны частые
Снопы сложены;

От возов всю ночь
Скрыпит музыка.

На гумнах везде,
Как князья, скирды
Широко сидят,
Подняв головы.

Видит солнышко —
Жатва кончена:
Холодней оно
Пошло к осени;

Но жарка свеча
Поселянина
Пред иконою
Божьей матери.

ГЛАЗА

Русская песня

Погубили меня
Твои черны глаза,
В них огонь неземной
Жарче солнца горит!

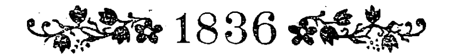
Омрачитесь, глаза,
Охладейте ко мне!
Ваша радость, глаза,
Не моя, не моя!..

Не глядите же так!
О, не мучьте меня!
В вас страшнее грозы
Блещут искры любви.

Нет, прогляньте, глаза,
Загоритесь, глаза!
И огнем неземным
Сердце жгите мое!

Мучьте жаждой любви!
Я горю и в жару
Бесконечно хочу
Оживать, умирать,

Чтобы, черны глаза,
Вас с любовью встречать
И опять и опять
Горевать и страдать.



ЧЕЛОВЕК

Дума

Все творенья в божьем мире
Так прекрасны, хороши!
Но прекрасней человека
Ничего нет на земли!

То себя он ненавидит;
То собой он дорожит;
То полюбит, то разлюбит;
За миг жизни век дрожит...

Даст желаньям ли свободу —
Землю кровью напоит;
Буйной воле даст ли волю —
Под ним море закипит.

Но изменятся стремленья,
Озарится светом ум,—
И своей он красотою
Все на свете помрачит...

Воронеж.
15 июня 1836 г.

ЖЕНИТЬБА ПАВЛА

Павел девушку любил,
Ей подарков надарил:
Два аршина касандрики,
Да платок, да черевики,

Да китаечки конец,
Да золоченый венец;
Она стала щеголиха,
Как богатая купчиха.

Плясать в улицу пойдет —
Распотешит весь народ;
Песни ль на голос заводит —
Словно зельями обводит.

Одаль мóлодцы стоят,
Меж собою говорят:
«Все мы ходим за тобою:
Чьей-то будешь ты женою?»

Говорите. Сам-третей,
Запряг Павел лошадей,
Везть товары подрядился,
Кой-где зиму волочился.

И, разгорившись казной,
К весне едет он домой;
В гости рóдных созывает,
Свахой тетку наряжает...

Большой выкуп дал отцу;
Клад достался молодцу.
Свадьбу весело играли:
Две недели пировали.

МОЛОДАЯ ЖНИЦА

Высоко стоит
Солнце на небе,
Горячо печет
Землю-матушку.

Душно девице,
Грустно на поле,
Нет охоты жать
Колосистой ржи.

Всю сожгло ее
Поле жаркое,
Горит-горма все
Лицо белое.

Голова со плеч
На грудь клонится,
Колос срезанный
Из рук валится...

Не с проста ума
Жница жнет не жнет,
Глядит в сторону,—
Забывается.

Ох, болит у ней
Сердце бедное,
Заронилось в нем —
Небывалое!

Она шла вчера
Нерабочим днем,
Лесом шла себе
По малинушку.

Повстречался ей
Добрый молодец;
Уж не в первый раз
Повстречался он.

Разминется с ней
Будто нехотя
И стоит, глядит
Как-то жалобно.

Он вздохнул, запел
Песню грустную:
Далеко в лесу
Раздалась та песнь.

Глубоко в душе
Красной девицы
Озвалась она
И запала в ней...

Душно, жарко ей,
Грустно на поле,
Нет охоты жать
Колосистой ржи...

КОСАРЬ

Не возьму я в толк...
Не придумаю...
Отчего же так —
Не возьму я в толк?
Ох, в несчастный день,
В бесталанный час,
Без сорочки я
Родился на свет.
У меня ль плечо —
Шире дедова,
Грудь высокая —
Моей матушки.
На лице моем
Кровь отцовская
В молоке зажгла
Зорю красную.
Кудри черные
Лежат скобкою;
Что работаю —
Все мне спорится!
Да в несчастный день,
В бесталанный час,
Без сорочки я
Родился на свет!
Прошлой осенью
Я за Грунюшку,
Дочку старосты,
Долго сватался;
А он, старый хрен,
Заупрямился!

За кого же он
Выдаст Грунюшку?
Не возьму я в толк,
Не придумаю...
Я ль за тем гонюсь,
Что отец ее
Богачом слывет?
Пускай дом его —
Чаша полная!
Я ее хочу,
Я по ней крушусь:
Лицо белое —
Заря алая,
Щеки полные,
Глаза темные
Свели молодца
С ума-разума...
Ах, вчера по мне
Ты так плакала;
Наотрез старик
Отказал вчера...
Ох, не свыкнуться
С этой горестью...
Я куплю себе
Косу новую;
Отобью ее,
Наточу ее,—
И прости-прощай,
Село родное!
Не плачь, Грунюшка,
Косой вострою
Не подрежусь я...
Ты прости, село,
Прости, староста,—
В края дальние
Пойдет молодец —
Что вниз по Дону
По набережью,
Хороши стоят
Там слободушки!
Степь раздольная
Далеко вокруг,
Широко лежит,

Ковылой-травой
Расстилается!..
Ах ты, степь моя,
Степь привольная,
Широко ты, степь,
Пораскинулась,
К морю Черному
Понадвинулась!
В гости я к тебе
Не один пришел:
Я пришел - сам-друг
С косой вострою;
Мне давно гулять
По траве степной,
Вдоль и по́перек
С ней хотелося...

Раззудись, плечо!
Размахнись, рука!
Ты пахни в лицо,
Ветер с полудня!
Освежи, взволнуй
Степь просторную!
Зажужжи, коса,
Как пчелиный рой!
Молоньей, коса,
Засверкай кругом!
Зашуми, трава,
Подкошо́нная;
Поклонись, цветы,
Головой земле!
Наряду с травой
Вы засохните,
Как по Груне я
Сохну, молодец!
Нагребу копён,
Намечу стогов;
Даст казачка мне
Денег пригоршни.
Я зашью казну,
Сберегу казну;
Ворочусь в село —
Прямо к старосте:

Не разжалобил
Его бедностью —
Так разжалоблю
Золотой казной!..

Москва, 1836 г.

НЕРАЗГАДАННАЯ ИСТИНА

Дума

Целый век я рылся
В таинствах вселенной,
До седин учился
Мудрости священной.

Все века былые
С новыми поверил,
Чудеса земные
Опытом измерил.

Мелкие причины
Тешились людями;
Карлы-властелины
Двигали мирами.

Райские долины
Кровью обливались;
Карлы-властелины
В бездну низвергались.

Где пройдет коварство
С злобою людскою,
Там, в обломках, царство
Зарастет травою...

Племена другие
На них поселятся;
Города большие
Людьми разродятся.

Сторона пустая
Снова зацарюет,
И жизнь молодая
Шумно запирует!

Подсеку ж я крылья
Дерзкому сомненью,
Прокляну усилья
К тайнам провиденья!

Ум наш не шагает
Мира за границу;
Наобум мешает
С былью небылицу.

УМОЛКШИЙ ПОЭТ

Дума

С душою пророка,
С печатью величья
На гордом челе,
Родился младенец
На диво земле.

Земные богини,
Как хитрые девы,
Манили младенца
Роскошной мечтой;
Притворною лаской
Любовь обманули,
Сожгли поцелуем
Румянец лица,
Сорвали улыбку —
Сиянье души.
Напрасно таил он,
Напрасно берег
Дары вдохновений
От горнего мира
Для жизни земной;
Напрасно он райской
И звучною песней
Родимые дебри,
Поля оглашал:
Пустыня молчала...
Толпа отступилась
От взоров пророка!

Высокое чувство,
И жар вдохновенья,
И творчества силу
Толпа не признала:
Смешны ей и радость
И горе поэта...
Сгори он в пожаре
Презренных страстей,—
Она, как вакханка,
Его зацелует
И бражским восторгом,
Нечистым, постыдным,
Навек заклеймит...

Очарованный утром,
Обманутый полднем,
Одетый вечерним
Туманом и тенью
Загадочной жизни,—
Глядит равнодушно
Безмолвный поэт...
Ты думаешь: пал он?..
Нет, ты не заметил
Высокую думу,
Огонь благодатный
Во взоре его...

ВЕЛИКОЕ СЛОВО

Дума

В. А. ЖУКОВСКОМУ

Глубокая вечность
Огласилась словом.
То слово — «да будет!»
«Ничто» воплотилось
В тьму ночи и свет;
Могучие силы
Сомкнуло в миры,
И чудной, прекрасной
Повеяло жизнью.
Земля красовалась
Роскошным эдемом,

И дух воплощенный —
Владетель земли —
С челом вечно юным,
Высоким и стройным,
С отсветом свободы
И мысли во взоре,
На светлое небо
Как ангел глядел...

Свобода, свобода!..
Где ж рай твой веселый?
Следы твои страшны,
Отмечены кровью
На пестрой странице
Широкой земли!
И лютое горе
Ее залило,
Ту дивную землю,
Бесславную землю!..

Но слово «да будет!» —
То вечное слово
Не мимо идет:
В хаосе печали,
В полуночном мраке
Надземных судеб —
Божественной мыслью
На древе креста
Сияет и светит
Терновый венец...

И горькие слезы,
Раскаянья слезы,
На бледных ланитах
Земнова царя
Зажглись упованьем
Высоким и светлым,
И дух вдохновляет
Мятежную душу,
И сладко ей горе,
Понятно ей горе:
Оно — искупленье
Прекрасного рая...

«Да будет!» — и было,
И видим — и будет...
Всегда — без конца.
Кто ж он, всемогущий?
И где обитает?..
Нет богу вопроса,
Нет меры ему!..

1836
Степь гр. Орловой

МОЛИТВА

Дума

Спаситель, Спаситель!
Чиста моя вера,
Как пламя молитвы!
Но, боже, и вере
Могила темна!
Что слух мой заменит?
Потухшие очи?
Глубокое чувство
Остывшего сердца?
Что будет жизнь духа
Без этого сердца?
На крест, на могилу,
На небо, на землю,
На точку начала
И цели творений
Творец всемогущий
Накинул завесу,
Наложил печать —
Печать та навеки,
Ее не расторгнут
Миры, разрушаясь,
Огонь не растопит,
Не смоет вода!..
Прости ж мне, Спаситель!
Слезу моей грешной
Вечерней молитвы:
Во тьме она светит
Любовью к тебе...

1836
Степь гр. Орловой

МОГИЛА

Дума

Чья это могила
Тиха, одинока?
И крест тростниковый,
И насыпь свежа?
И чистое поле
Кругом без дорог?
Чья жизнь отжилася?
Чей кончился путь?
Татарин ли дикий
Свершил здесь убийство
В ночной темноте
И свежею кровью,
Горячею брызнул
На русскую быль?
Или молодая
Жница-поселянка,
Ангела-младенца
На руках лелея,
Оплакала горько
Кончину его?
И под ясным небом
В поле, на просторе,
В цветах васильковых,
Положен дитя.

Веет над могилой,
Веет буйный ветер,
Катит через ниву,
Мимо той могилы,
Сухую былинку,
Перекати-поле.
Будит вольный ветер,
Будит, не пробудит
Дикую пустыню,
Тихий сон могилы!..
И встают виденья
В душе одинокой...

Воронеж, 1836 г.

ЦВЕТОК

Природы милое творенье,
Цветок, долины украшенье,
На миг взлелеянный весной,
Безвестен ты в степи глухой!

Скажи: зачем же так алеешь,
Росой заискрясь, пламенеешь,
И дышишь чем-то, как живым,
Благоуханным и святым?

Ты для кого в степи широкой,
Ты для кого от сел далеко?
Не для крылатых ли друзей,
Поющих в воздухе степей?

Для них ли, в роскоши, семьями,
Румяной ягодой, цветами
И обаяньем для души
Вы, травы, зреете в тиши?

О, пой, косарь! зови певицу,
Подругу, красную девицу,
Пока еще, шумя косой,
Не тронул ты травы степной!

ПЕРСТЕНЬ

Перстенечек золотой,
Ненаглядный, дорогой!
Светлой памятью любви
В очи черные гляди.

Если грустно будет ей —
Ты потускни, почерней;
Если радость — изменись,
Весь алмазом разгорись!

День забвенья ли придет,
Душа чувство проживет —
Тогда, перстень золотой,
Ты рассыпься сам собой!

1837

РАЗДУМЬЕ СЕЛЯНИНА

Сяду я за стол —
Да подумаю:
Как на свете жить
Одинокому?

Нет у молодца
Молодой жены,
Нет у молодца
Друга вернова,

Золотой казны,
Угла теплова,
Бороны-сохи,
Коня-пахаря;

Вместе с бедностью
Дал мне батюшка
Лишь один талан —
Силу крепкую;

Да и ту, как раз,
Нужда горькая

По чужим людям
Всю истратила.

Сяду я за стол —
Да подумаю:
Как на свете жить
Одинокому?

Москва
9 апреля 1837 г.

УРА!

Ходит оклик по горам,
По долинам, по морям:
Едет белый русский царь,
Православный государь
Вдоль по царству-государству...
Русь шумит ему: «Ура!»

Ходит оклик по горам,
По долинам, по морям:
Свет-царица в путь идет —
Лаской жаловать народ...
Ей навстречу, на дорогу,
Русь валит, шумит: «Ура!»

Ходит оклик по горам,
По долинам, по морям:
Князь наследный, сын царя,
Дня румяная заря,
Едет Русь святую видеть...
Русь кипит, шумит: «Ура!»

Мысль народа, звук души,
Всероссийское «ура!»,
Ты — во всем царю ответ;
Лучшей песни в мире нет.
Исполин, царю послушный,
Все сомкнул в своем «ура!».

Это — пыл любви живой,
Сильной, вечной и святой
К коронованным главам;

Это — страх, гроза врагам;
Это — посвист богатырский,—
Вот что русское «ура!».

ГОРЬКАЯ ДОЛЯ

Соловьем залётным
Юность пролетела,
Волной в непогоду
Радость прошумела.

Пора золотая
Была, да сокрылась;
Сила молодая
С телом износилась.

От кручины-думы
В сердце кровь застыла;
Что любил, как душу,—
И то изменило.

Как былинку, ветер
Молодца шатает;
Зима лицо знобит,
Солнце сожигает.

До поры, до время
Всем я весь изжился;
И кафтан мой синий
С плеч долой свалился!

Без любви, без счастья
По миру скитаюсь:
Разойдусь с бедою —
С горем повстречаюсь!

На крутой горе
Рос зеленый дуб,
Под горой теперь
Он лежит гниет...

4 августа 1837 г.

ДВА ПРОЩАНИЯ

«Так, ты, моя
Красавица,
Лишилась вдруг
Двух мóлодцев.
Скажи же мне,
Как с первым ты
Рассталася —
Прощалася?»

«Рассталась с ним
Я весело;
Прощалася —
Смеялася...
А он ко мне,
Бедняжечка,
Припал на грудь
Головушкой;
И долго так
Лежал, молчал;
Смочил платок
Горючими...
— Ну, бог с тобой,—
Промолвил мне,
Схватил коня,
Поехал в путь,
В чужих краях
Корóтать век».

«И ты над ним
Смеялася?
Его слезам
Не верила?
Скажи ж теперь,
Мудрёная,
Как ты с другим
Прощалася?»

«Другой не то...
Не плакал он,
Но и теперь
Все плачу я.

Ах, обнял он
Так холодно;
Так сухо речь
Повел со мной:
— Я еду, вишь,
Ненадолго;
Еще с тобой
Увидимся
И до́воли
Наплачемся.—
По сердцу ли
Такой привет?
Махнул рукой,
Не кланяясь,
В мое лицо
Не смотрючи,
Пустил коня —
И был таков».

«Кто ж памятней
Останется
Душе твоей,
Красавица?» —
«Мне первого,
Конечно, жаль;
Но я люблю
Последнего».

18 сентября 1837 г.

ВОПРОС

Дума

Как ты можешь
Кликнуть солнцу:
«Слушай, солнце!
Стань, ни с места!
Чтоб ты в небе
Не ходило,
Чтоб на землю
Не светило!»

Стань на берег,
Глянь на море:
Что ты можешь
Сделать морю,
Чтоб вода в нем
Охладела,
Чтобы камнем
Затвердела?
Какой силой
Богатырской
Шар вселенной
Остановишь,
Чтоб не шел он,
Не кружился?
Как же быть мне
В этом мире —
При движенье —
Без желанья?
Что ж мне делать
С буйной волей,
С грешной мыслью,
С пылкой страстью?
В эту глыбу
Земляную
Сила неба
Жизнь вложила
И живет в ней,
Как царица!
С колыбели —
До могилы
Дух с землею
Ведут брани:
Земь не хочет
Быть рабою,—
И нет мочи
Скинуть бремя;
Духу ж неба
Невозможно
С этой глыбой
Породниться...
Много ль время
Пролетело?
Много ль время

Есть впереди!
Когда будет
Конец брани?
За кем поле?
Бог их знает!
В этой сказке
Цель сокрыта;
В моем толке
Смыслу нету,
Чтоб провидеть
Дела божьи...

За могилой
Речь безмолвна;
Вечной тьмою
Даль одета...
Буду ль жить я
В бездне моря?
Буду ль жить я
В дальнем небе?
Буду ль помнить,
Где был прежде?
Что я думал
Человеком?..
Иль за гробом
Все забуду,
Смысл и память
Потеряю?..
Что ж со мною
Тогда будет,
Творец мира,
Царь природы?..

20 сентября 1837 г.

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ МУДРОСТЬ

Дума

Что ты значишь в этом мире,
Дух премудрый человека?
Как ты можешь кликнуть солнцу:
«Слушай, солнце! Стань, ни с места!
Чтоб ты в небе не ходило!
Чтоб на землю не светило!»

Выдь на берег, глянь на море —
Что ты можешь сделать морю,
Чтоб вода в нем охладела,
Чтобы камнем затвердела?
Чем, какою тайной силой
Шар вселенной остановишь,
Чтоб не шел он, не кружился?..
Перестрой же всю природу!
Мир прекрасен... Ты не хочешь...
Нет, премудрый, ты не можешь!
Да, не можешь, раб пространства,
Лет и времени невольник,
Будь ты бездна сил, идей,
Сам собой наполни небо,
Будь ты *все*, один и всюду,
Будь ты бог — и слово-дело!..
Но когда уж это *все*,
Бесконечно и одно,
Есть пред нами в ризе света,—
То другой уж власти нет...
Все, что есть,— все это божье;
И премудрость наша — божья.

20 сентября 1837 г.

БОЖИЙ МИР

Дума

Отец света — вечность;
Сын вечности — сила;
Дух силы есть жизнь;
Мир жизнью кипит.
Везде триединый,
Воззвавший все к жизни!
Нет века ему,
Нет места ему!
С величества трона,
С престола чудес
Божий образ — солнце
К нам с неба глядит
И днем поверяет
Всемирную жизнь.

В другом месте неба
Оно отразилось —
И месяцем землю
Всю ночь сторожит.
Тьма, на лоне ночи
И живой прохлады,
Все стихии мира
Сном благословляет.
Свет дает им силу,
Возрождает душу.
В царстве божьей воли,
В переливах жизни —
Нет бессильной смерти,
Нет бездушной жизни!

1837
Воронеж

ПОРА ЛЮБВИ

Весною степь зеленая
Цветами вся разубрана,
Вся птичками летучими —
Певучими полным-полна;
Поют они и день и ночь.
То песенки чудесные!
Их слушает красавица
И смысла в них не ведает,
В душе своей не чувствует,
Что песни те — волшебные:
В них сила есть любовная;
Любовь — огонь; с огня — пожар...
Не слушай их, красавица!
Пока твой сон — сон девичий —
Спокоен, тих до утра дня;
Как раз беду наслушаешь:
В цвету краса загубится,
Лицо твое румяное
Скорей платка износится.

Стоит она, задумалась,
Дыханьем чар овеяна;
Запала в грудь любовь-тоска,
Нейдет с души тяжелый вздох;
Грудь белая волнуется,

Что реченька глубокая —
Песку со дна не выкинет;
В лице огонь, в глазах туман...
Смеркает степь; горит заря...

Весной в реке, при месяце,
Поит коня детинушка;
Сам думает он думушку
Про девицу заветную:
«Четвертый год как я люблю
Меньшую дочь соседскую...
Пойдешь за ней на́ улицу,
Затеешь речь сторонкою —
Так нет, куда! сидит, молчит...
Пошлешь к отцу посвататься,—
Седой старик спесивится:
— Нельзя никак — жди череда.

Болит моя головушка,
Щемит в груди ретивое,
Печаль моя всесветная,
Пришла беда незваная;
Как с плеч свалить? — не знаю сам.
И сила есть — да воли нет;
Наружи клад — да взять нельзя,
Заклял его обычай наш;
Ходи, гляди да мучайся,
Толкуй с башкой порожнею...

Возьму ж я ржи две четверти,
Поеду ж я на мельницу;
Про мельника слух носится,
Что мастер он присушивать.
Скажу ему: «Иван Кузьмич!
К тебе нужда есть кровная:
Возьми с меня, что хочешь ты,
Лишь сделай мне по-своему».

В селе весной, при месяце,
Спокойно спит крещеный мир;
Вдоль улицы наш молодец
Идет сам-друг с соседкою,
Промеж себя ведут они
О чем-то речь хорошую.

Дает он ей с руки кольцо —
У ней берет себе в обмен;
А не был он на мельнице,
Иван Кузьмич не грешен тут.

Ах, степь ты, степь зеленая,
Вы, пташечки певучие,
Разнежили вы девицу,
Отбили хлеб у мельника.
У вас весной присуха есть
Сильней присух нашептанных...

ЛЕС

ПОСВЯЩЕНО ПАМЯТИ А. С. ПУШКИНА

Что, дремучий лес,
Призадумался,
Грустью темною
Затуманился?

Что Бова-силач
Заколдованный,
С непокрытою
Головой в бою

Ты стоишь — поник,
И не ратуешь
С мимолетною
Тучей-бурею.

Густолиственный
Твой зеленый шлем
Буйный вихрь сорвал —
И развеял в прах.

Плащ упал к ногам
И рассыпался...
Ты стоишь — поник,
И не ратуешь.

Где ж девалася
Речь высокая,

Сила гордая,
Доблесть царская?

У тебя ль, было,
В ночь безмолвную
Заливная песнь
Соловьиная...

У тебя ль, было,
Дни — роскошество,—
Друг и недруг твой
Прохлаждаются...

У тебя ль, было,
Поздно вечером
Грозно с бурею
Разговор пойдет;

Распахнет она
Тучу черную,
Обоймет тебя
Ветром-холодом.

И ты молвишь ей
Шумным голосом:
«Вороти назад!
Держи около!»

Закружит она,
Разыграется...
Дрогнет грудь твоя,
Зашатаешься;

Встрепенувшися,
Разбушуешься:
Только свист кругом,
Голоса и гул...

Буря всплачется
Лешим, ведьмою
И несет свои
Тучи за море.

Где ж теперь твоя
Мочь зеленая?
Почернел ты весь,
Затуманился...

Одичал, замолк...
Только в непогодь
Воешь жалобу
На безвременье.

Так-то, темный лес,
Богатырь Бова!
Ты всю жизнь свою
Маял битвами.

Не осилили
Тебя сильные,
Так дорезала
Осень черная.

Знать, во время сна
К безоружному
Силы вражие
Понахлынули.

С богатырских плеч
Сняли голову —
Не большой горой,
А соломинкой...

ПЕРВАЯ ПЕСНЯ ЛИХАЧА КУДРЯВИЧА

С радости-веселья
Хмелем кудри вьются;
Ни с какой заботы
Они не секутся.

Их не гребень чешет —
Золотая доля,
Завивает в кольцы
Молодецка удаль.

Не родись богатым,
А родись кудрявым:
По щучью веленью
Все тебе готово.

Чего душа хочет —
Из земли родится;
Со всех сторон прибыль
Ползет и валится.

Что шутя задумал —
Пошла шутка в дело;
А тряхнул кудрями —
В один миг поспело.

Не возьмут где лоском,
Возьмут кудри силой;
И что худо — смотришь,
По воде поплыло!

Любо жить на свете
Молодцу с кудрями,
Весело на белом
С черными бровями.

Вовремя да в пору
Медом речи льются;
И с утра до ночи
Песенки поются.

Про те речи-песни
Девушки все знают
И о кудрях зиму
Ночь не спят, гадают.

Честь и слава кудрям!
Пусть их волос вьется;
С ними все на свете
Ловко удается!

Не под шапку горе
Голове кудрявой!
Разливайтесь, песни!
Ходи, парень, браво!

ВТОРАЯ ПЕСНЯ
ЛИХАЧА КУДРЯВИЧА

В золотое время
Хмелем кудри вьются;
С горести-печали
Русые секутся.

Ах, секутся кудри!
Любит их забота;
Полюбит забота —
Не чешет и гребень.

Не родись в сорочке,
Не родись таланлив,—
Родись терпеливым
И на все готовым.

Век прожить — не поле
Пройти за сохою;
Кручину, что тучу,
Не уносит ветром.

Зла беда — не буря —
Горами качает,
Ходит невидимкой,
Губит без разбору.

От ее напасти
Не уйти на лыжах;
В чистом поле на́йдет,
В темном лесе сыщет.

Чуешь только сердцем:
Придет, сядет рядом,
Об руку с тобою
Пойдет и поедет...

И щемит и ноет,
Болит ретивое,
Все — из рук вон плохо,
Нет ни в чем удачи.

То — скосило градом,
То — сняло пожаром...
Чист кругом и легок;
Никому не нужен...

К старикам на сходку
Выйти приневолят —
Старые лаптишки
Без онуч обуешь;

Кафтанишка рваный
На́ плечи натянешь;
Бороду вскосматишь,
Шапку нахлобучишь...

Тихомолком станешь
За чужие плечи...
Пусть не видят люди
Прожитова счастья.

ДВЕ ЖИЗНИ

Дума

Две жизни в мире есть.
Одна светла, горит она, как солнце;
В ее очах небесный тихий день;
В сиянии — святая мысль и чувство;
Ее живая сила так роскошно
Звучит свободной и разумной речью.
И это — жизнь земнова духа;
Долга она, как божья вечность...

Другая жизнь темна;
В ее очах — земная грусть и ночь;
И спит она сном крепким и мятежным,
Таится мысль в ее цветистых формах,
Но не звучит свободной речью;
Наклоннее во тьме она к молчанью.
И это — жизнь земного праха;
Кратка она, как блеск звезды падучей...

ЦАРСТВО МЫСЛИ

Дума

Горит огнем и вечной мыслью солнце;
Осенены все той же тайной думой,
Блистают звезды в беспредельном небе;
И одинокий, молчаливый месяц
Глядит на нашу землю светлым оком.
В тьме ночи возникает мысль созданья;
Во свете дня она уже одета,
И крепнет в веянье живой прохлады,
И спеет в неге теплоты и зноя.
Повсюду мысль одна, одна идея,
Она живет и в пепле и в пожаре;
Она и там — в огне, в раскатах грома;
В сокрытой тьме бездонной глубины;
И там, в безмолвии лесов дремучих;
В прозрачном и плавучем царстве вод глубоких,
В их зеркале и в шумной битве волн;
И в тишине безмолвного кладбища;
На высях гор безлюдных и пустынных;
В печальном завыванье бурь и ветра;
В глубоком сне недвижимого камня;
В дыхании былинки молчаливой;
В полете к облаку орлиных крылий;
В судьбе народов, царств, ума и чувства,
всюду —
Она одна — царица бытия!

1838

ИЗМЕНА СУЖЕНОЙ

Русская песня

Жарко в небе солнце летнее,
Да не греет меня, молодца:
Сердце замерло от холода,
От измены моей суженой.

Пала грусть-тоска тяжелая
На кручинную головушку;
Мучит душу мука смертная,
Вон из тела душа просится.

Я пошел к людям за помочью,—
Люди с смехом отвернулися;
На могилу к отцу, матери,—
Не встают они на голос мой.

Замутился свет в глазах моих,
Я упал в траву без памяти...
В ночь глухую буря страшная
На могиле подняла меня...

В ночь, под бурей, я коня седлал;
Без дороги в путь отправился —
Горе мыкать, жизнью тешиться,
С злою долей переведаться...

Москва.
20 генваря 1838 г.

К МИЛОЙ

Давно расстались мы с тобою.
Быть может, ты теперь не та;
Быть может, уж другой
Тебя от сладкого забвенья
Для новой жизни пробудил,
И в тех же снах другие сновиденья,
Роскошнее моих, твою лелеют душу.
Хорош ли он? Вполне ли заменил
Огонь любви моей могучей
И силу страстного лобзанья,
И наслажденья без конца?
Что, если он своею волей
Сумел любовь пересоздать
И на разрушенных обломках
Построил мир другой —
Подобье дня под небесами?
И в этот мир волшебной силой
Прелестные мечты без образов собрал,
Кругом тебя рассыпал,
Преобразил в живые лица,
Святой любовью прояснил,
И власть тебе он дал
Их бесконечно ощущать?..
Ах, если так, то ты счастлива!
Среди духов небесных
Нет духа счастливей тебя!..
Что ж я? — ненужное созданье?
Приди ко мне, моя богиня,
Во время сна, в покровах ночи,
Возьми к себе, в его прекрасный мир,
И с ним в одно созданье слей!

Москва.
1 февраля 1838 г.

ПЕСНЯ

Ах, зачем меня
Силой выдали
За немилова —
Мужа старова.

Небось весело
Теперь матушке
Утирать мои
Слезы горькие;

Небось весело
Глядеть батюшке
На житье-бытье
Горемышное!

Небось сердце в них
Разрывается,
Как приду одна
На великий день;

От дружка дары
Принесу с собой:
На лице — печаль,
На душе — тоску.

Поздно, родные,
Обвинять судьбу,
Ворожить, гадать,
Сулить радости!

Пусть из-за моря
Корабли плывут;
Пущай золото
На пол сыпится;

Не расти траве
После осени;
Не цвести цветам
Зимой по снегу!

Москва.
5 апреля 1838 г.

ПОСЛЕДНИЙ ПОЦЕЛУЙ

Обойми, поцелуй,
Приголубь, приласкай,
Еще раз — поскорей —
Поцелуй горячей.
Что печально глядишь?
Что на сердце таишь?
Не тоскуй, не горюй,
Из очей слез не лей;
Мне не надобно их,
Мне не нужно тоски...
Не на смерть я иду,
Не хоронишь меня.
На полгода всего
Мы расстаться должны;
Есть за Волгой село
На крутом берегу:
Там отец мой живет,
Там родимая мать
Сына в гости зовет;
Я поеду к отцу,
Поклонюся родной
И согласье возьму
Обвенчаться с тобой.
Мучит душу мою
Твой печальный убор,
Для чего ты в него
Нарядила себя?
Разрядись: уберись
В свой наряд голубой
И на плечи накинь
Шаль с каймой расписной;
Пусть пылает лицо,
Как поутру заря,
Пусть сияет любовь
На устах у тебя;
Как мне мило теперь
Любоваться тобой!
Как весна хороша
Ты, невеста моя!
Обойми ж, поцелуй,
Приголубь, приласкай,

Еще раз — поскорей —
Поцелуй горячей!

Москва.
12 апреля 1838 г.

ДЕРЕВЕНСКАЯ БЕДА

На селе своем жил молодец,
Ничего не знал, не ведывал,
Со друзьями гулял, бражничал,
По всему селу роскошничал.

В день воскресный, с утра до ночи,
В хороводе песни игрывал;
Вместе с девицей-красавицей
Пляски новые выдумывал.

Полюбил я эту девушку:
Что душою — больше разумом,
Больше поступью павлиною,
Да что речью соловьиною...

Как, бывало, летом с улицы
Мы пойдем с ней рука об руку
До двора ее богатова,
До крыльца ее высокова.

Да как гляну, против зорюшки,
На ее глаза — бровь черную,
На ее лицо — грудь белую,
Всю монистами покрытую,—

Альни пот с лица посыпится,
Альни в грудь душа застукает,
Месяц в облака закроется,
Звезды мелкие попрячутся...

На погибель мою староста
За сынка вперед посватался;
И его казна несметная
Повернула все по-своему.

Тошно, грустно было на сердце,
Как из церкви мою милую
При народе взял он за руку,
С похвальбою поклонился мне.

Тошно, грустно было на сердце,
Как он с нею вдоль по улице
Что есть духу поскакал — злодей! —
К своему двору широкому.

Я стоял, глядел, задумался;
Снявши шапку, хватил об землю.
И пошел себе загуменьем —
Под его окошки красные.

Там огни горят; там девушки
Поют песни, там товарищи
Пьют, играют, забавляются,
С молодыми все целуются.

Вот приходит полночь мертвая,
Разошлися гости пьяные,
Добры молодцы разъехались,
И ворота затворилися...

В эту пору для приятеля
Заварил я брагу хмельную,
Заиграл я свадьбу новую,
Что беседу небывалую;

Альни дым пошел под облаки,
Альни пламя закрутилося,
По соседам — через улицу —
На мою избушку бросилось.

Где стоял его богатый дом,
Где была избушка бедная,—
Утром все с землей сровнялося,
Только уголья чернелися...

С той поры я с горем-нуждою
По чужим углам скитаюся,
За дневной кусок работаю,
Кровным потом умываюся...

Москва.
1838 г., мая 14 дня, полночь

ПРИМИРЕНИЕ

На пир сердечных наслаждений,
На светлый пир любви младой
С судьбою грозной злые люди
Напали буйною толпой.
И я, в безумном исступленье,
Из мира девственной любви
К моим врагам на праздник шумн
С челом открытым гордо вышел,
На злобу — злобой ополчился;
И на беду — с бедой пошел;
Против людей я грудью стал,
На смертный бой судьбу я вызвал:
И где ж она?.. где злые люди?..
Где сила их, оружье, власть?..
Их зло на них же обратилось;
И все кругом меня безмолвно
В одно мгновенье покорилось;
А я стоял, глядел на небо,—
И улыбнулось небо мне...
Не небо — нет! Ее прекрасный,
Приветный взор я встретил там...

Теперь, лукавый соблазнитель,
Ты, демон гибнущей души,
Оставь меня. Ни прелестью порок
Ни буйной страстью грешных насла
Не увлечешь меня ты больше;
Не для тебя — для ней одной
Я жизнью пламенной живу.
И вот уж нет пространства между н
И вот уж нет в пространстве пуст
Она и я — различные два мира —
В одну гармонию слились.
Одною жизнию живем!
Но что за грустные сомненья
Порой еще мою волнуют грудь?
Ужель, души моей надежды,
Есть за могилой вам конец?
Ужель все истины на свете —
Одна лишь выдумка ума?
Ужель и ты, святая вера чувств,
Людских страстей пустая тень?..

Нет, нет! не для того на небе солнце ходит,
Чтоб белый день покрылся тьмой...

Москва.
20 июня 1838 г.

МИР МУЗЫКИ

В стройных звуках льются песни
Гармонической волной;
По душе волшебно ходят
И проходят с быстротой.

Полечу я вслед за ними;
Погружуся в них душой;
В очарованном забвенье
Позабуду мир земной.

Сколько звуков, сколько песен
Раздалося вновь во мне!
Сколько образов чудесных
Оживилось в вышине!

Между них она, младая,
Заблистала красотой!
Чистой пламенной любовью
Озарился мир земной...

Улетайте ж в небо, звуки,
Сокрывайтеся вдали!
Здесь я с нею, здесь я счастлив,
Любо жить мне на земли!

Москва, вечер музыкальный
у Боткина 20 июня 1838 г.

РУССКАЯ ПЕСНЯ

В поле ветер веет,
Травку колыхает,
Путь, мою дорогу
Пылью покрывает.

Выходи ж ты, туча,
С страшною грозою,
Обойми свет белый,
Закрой темнотою.

Молодец удалый
Соловьем засвищет!

Без пути, без света
Свою долю сыщет.

Что ему дорога,
Тучи громовые,
Как придут по сердцу
Очи голубые!

Что ему на свете
Доля нелюдская,
Когда его любит
Она, молодая!

Москва.
1838 г., июля 10 утро, 12 часов

ПОСЛЕДНЯЯ БОРЬБА

Надо мною буря выла,
Гром по небу грохотал,
Слабый ум судьба страшила,
Холод в душу проникал.

Но не пал я от страданья,
Гордо выдержал удар,
Сохранил в душе желанья,
В теле — силу, в сердце — жар!

Что погибель! что спасенье!
Будь что будет — все равно!
На святое провиденье
Положился я давно!

В этой вере нет сомненья,
Ею жизнь моя полна!
Бесконечно в ней стремленье!..
В ней покой и тишина...

Не грози ж ты мне бедою,
Не зови, судьба, на бой:
Готов биться я с тобою,
Но не сладишь ты со мной!

У меня в душе есть сила,
У меня есть в сердце кровь,
Под крестом — моя могила;
На кресте — моя любовь!

20 сентября 1838 г.

СТЕНЬКА РАЗИН

ПАМЯТИ ДРУГА А. П. СРЕБРЯНСКОГО

Не страшна мне, добру молодцу,
Волга-матушка широкая,
Леса темные, дремучие,
Вьюги зимние — крещенские...

Уж как было: по темным лесам
Пировал я зимы круглые;
По чужим краям, на свой талан,
Погулял я, поохотился.

А по Волге, моей матушке,
По родимой, по кормилице,
Вместе с братьями за добычью
На край света летал соколом.

Но не Волга, леса темные,
Вьюги зимние — крещенские
Погубили мою голову,
Сокрушили мочь железную...

В некрещеном, славном городе,
На крутом, высоком острове
Живет девушка-красавица,
Дочка гостя новгородскова...

Она в тереме, что зорюшка,
Под окном сидит растворенным,
Поет песни задушевные,
Наши братские-отцовские.

«Ах, душа ль моя ты, душенька!
Что сидишь ты? Что ты думаешь?
Али речь моя не по сердцу?
Али батюшка спесивится?..

Не сиди, не плачь; ты кинь отца,
Ты беги ко мне из терема;
Мы с тобою, птицы вольные,
Жить поедем в Москву красную».

Отвечает ему девица:
«За любовь твою, мой милый друг,
Рада кинуть отца с матерью;
Но боюсь суда я страшнова!».

Забушуй же непогодушка,
Разгуляйся, Волга-матушка!
Ты возьми мою кручинушку,
Размечи волной по бережку...

15 октября 1838 г.

БЕДНЫЙ ПРИЗРАК

Убил я жизнь, искавши счастья,
Сгубил себя — а счастья нет;
Пойду к друзьям на пир старинный,
И заживу я с ними вновь.
«Против меня восстали люди;
Судьба карает день и ночь;
На свете жить несносно, горько;
Страдальцу дайте отдохнуть».
Ответа нет. Друзья-счастливцы
На бедность холодно глядят;
Со мною встречи избегают
И «нету дома» говорят.
Как будто я, недобрый гость,
Пришел богатство их присвоить;
Печалью радость отравить;
Свое им горе навязать.
И вот дожил на старость лет,
Что не с кем слова перемолвить;
Сердечной скуки разделить,
Кому б «ночь добрую» сказать.
О ночь! приди хоть ты... Но с этой мыслью
Вся повесть прежних дней
Из глубины души выходит
И тенью страшною стоит.
И грустно мне смотреть
Весной на луг зеленый,
На плод любимых яблонь
И на пожатый колос нив...

20 октября 1838 г.

БЕГСТВО

Уж как гляну я на поле —
Поле чистое дрогнёт,
Нагустит свои туманы,
В них оденется на ночь.

Я из поля в лес дремучий:
Леший по лесу шумит,
Про любовь свою к русалке
С быстрой речкой говорит.

Крикну лесу, топну в берег,—
Леший за горы уйдет;
С тихим трепетом русалка
В берегах своих уснет.

Я чрез реку, огородом,
Всю слободку обойду,
С темной полночью глухою
К дому барскому приду.

Свистну... в тереме высоком
Вмиг растворится окно;
Под окном душа-девица
Дожидается давно.

«Скучно в тереме весною
Одинокой горевать;
То ли дело на просторе
Друга к сердцу прижимать!»

Поднимайся, туча-буря,
С полуночною грозой!
Зашатайся, лес дремучий,
Страшным голосом завой,—

Чтоб погони злой боярин
Вслед за нами не послал;
Чтоб я с милою до света
На Украйну прискакал.

Там всего у нас довольно;
Есть где будет отдохнуть.
От боярина сокроют,
Хату славную дадут.

Будем жить с тобой по-пански...
Эти люди — нам друзья;
Что душе твоей угодно,
Все добуду с ними я!

Будут платья дорогие,
Ожерелья с жемчугом!
Наряжайся, одевайся
Хоть парчою с серебром!

31 декабря 1838 г.

ТОВАРИЩУ

Что ты ходишь с нуждой
По чужим по людям;
Веруй силам души
Да могучим плечам.

На заботы ж свои
Чуть заря поднимись,
И один во весь день
Что есть мочи трудись.

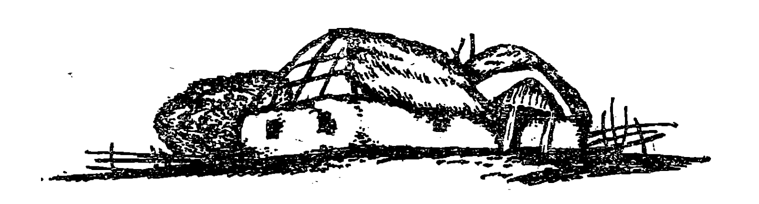
Неудачи, беда? —
С грустью дома сиди;
А с зарею опять
К новым нуждам иди.

И так бейся, пока
Случай счастье найдет
И на славу твою
Жить с тобою начнет.

Та же сила тогда
Другой голос возьмет:
И чудно и смешно,
Всех к тебе прикует.

И те ж люди-враги,
Что чуждались тебя,
Бог уж ведает как,
Назовутся в друзья.

Ты не сердись на них;
Но спокойно, в тиши,
Жизнь горою пируй
По желаньям души.



1839

Я ДОМА

Опять в глуши, опять досуг
Страдать и телом и душою,
И одиночества недуг
Кормить привязчивой тоскою.
Ох, этот корм! Как горек он!
С него душа не пополнеет,
Не вспыхнет кровь, а смертный сон
Скорей крылом на жизнь повеет!
Но я, в укор моей судьбе,
Судьбе, враждующей со мною,
Томясь, с злосчастием в борьбе,
Не отравлен еще тоскою.
Еще я верю, что минет
Година горьких испытаний
И снова солнышко взойдет
И сгонит с сердца мглу страданий!
Что нужды, если срок уйдет,—
Жизнь на закате рассветлеет;
Нас в полдень солнце очень жжет,
А под вечер отрадно греет.

5 генваря 1839 г.

ПЕРЕД ОБРАЗОМ СПАСИТЕЛЯ

Пред тобою, мой бог,
Я свечу погасил,
Премудрую книгу
Пред тобою закрыл.

Твой небесный огонь
Негасимо горит;
Бесконечный твой мир
Пред очами раскрыт;

Я с любовью к тебе
Погружаюся в нем;
Со слезами стою
Перед светлым лицом.

И напрасно весь мир
На тебя восставал,
И напрасно на смерть
Он тебя осуждал:

На кресте, под венцом,
И спокоен и тих,
До конца ты молил
За злодеев своих.

20 февраля 1839 г.

ПУТЬ

Путь широкий давно
Предо мною лежит;
Да нельзя мне по нем
Ни летать, ни ходить...

Кто же держит меня?
И что кинуть мне жаль?
И зачем до сих пор
Не стремлюся я вдаль?

Или доля моя
Сиротой родилась!

Иль со счастьем слепым
Без ума разошлась!

По летам и кудрям
Не старик еще я:
Много дум в голове,
Много в сердце огня!

Много слуг и казны
Под замками лежит;
И лихой вороной
Уж оседлан стоит.

Да на путь — по душе —
Крепкой воли мне нет,
Чтоб в чужой стороне
На людей поглядеть;

Чтоб порой пред бедой
За себя постоять,
Под грозой роковой
Назад шагу не дать;

И чтоб с горем в пиру
Быть с веселым лицом;
На погибель идти —
Песни петь соловьем!

10 марта 1839 г.

ГОРЕ

Ах ты, горе, горе,
Горе горькое!
Где ты сеяно,
Да где выросло?
Во сыпучих ли
Песках,
Во дремучих ли
Лесах Муромских?
Кто тебя вспоил,
Да кто выкормил,
Да кто в свет пустил
Тебя, горюшко

Горемышное,
Ко чужим людям
Горе мыкати?
И зачем ты к нам
В гости, горюшко,
Появляешься,
Нежеланное
И незваное?
Отравишь стопу
Пировую всю
И уйдешь опять,
Как ночная тать,
Невидимкою,
И весь мир — не в пир,
И вся жизнь — не в жизнь...
Пропадало б ты,
Горе горькое,
Где родилося
Да где выросло;

Зачем по свету
Бродить белому
И быть гостьею
Всем нерадостной?

4 мая 1839 г.
Воронеж

ПЕСНЯ

В непогоду ветер
Воет, завывает;
Буйную головку
Злая грусть терзает.

Горемышной доле
Нет нигде привета:
До седых волос любовью
Душа не согрета.

Нету сил; устал я
С этим горем биться,
А на свет посмотришь —
Жалко с ним проститься!

Доля ж, моя доля!
Где ты запропала?
До поры, до время
Камнем в воду пала?

Поднимись — что силы
Размахни крылами:
Может, наша радость
Живет за горами.

Если нет, у моря
Сядем да дождемся;
Без любви и с горем
Жизнью наживемся!

5 августа 1839 г.

ТОСКА ПО ВОЛЕ

Загрустила, запечалилась
Моя буйная головушка;
Ясны очи — соколиные —
Не хотят смотреть на белый свет.

Тяжело жить дома с бедностью;
Даром хлеб сбирать под окнами;
Тяжелей того в чужих людях
Быть в неволе, в одиночестве.

Дни проходят здесь без солнушка;
Ночи темные — без месяца;
Бури страшные, громовые,
Удалой души не радуют.

Где ж друзья мои — товарищи?
Куда делись? разлетелися?
Иль не хочут дать мне помочи?
Или голос мой разносит ветр?

Знать, забыли время прежнее —
Как, бывало, в полночь мертвую
Крикну, свистну им из-за леса:
Альни темный лес шелохнется...

И они, мои товарищи,
Соколья, орлы могучие,
Все в один круг собираются,
Погулять ночь — пороскошничать.

А теперь, как крылья быстрые
Судьба злая мне подрезала,
И друзья, мои товарищи,
Одного меня все кинули...

Гой ты, сила пододонная!
От тебя я службы требую —
Дай мне волю, волю прежнюю!
А душой тебе я кланяюсь...

2 сентября 1839 г.

ХУТОРОК

За рекой, на горе,
Лес зеленый шумит;
Под горой, за рекой,
Хуторочек стоит.

В том лесу соловей
Громко песни поет;
Молодая вдова
В хуторочке живет.

В эту ночь-полуночь
Удалой молодец
Хотел быть, навестить
Молодую вдову...

На реке рыболов
Поздно рыбу ловил;
Погулять, ночевать
В хуторочек приплыл.

«Рыболов мой, душа!
Не ночуй у меня:
Свекор дома сидит,—
Он не любит тебя...

Не сердися, плыви
В свой рыбачий курень;
Завтра ж, друг мой, с тобой
Гулять рада весь день».

«Сильный ветер подул...
А ночь будет темна!..
Лучше здесь, на реке,
Я просплю до утра».

Опознился купец
На дороге большой;
Он свернул ночевать
Ко вдове молодой.

«Милый купчик-душа!
Чем тебя мне принять...
Не топила избы,
Нету сена, овса.

Лучше к куму в село
Поскорее ступай;
Только завтра, смотри,
Погостить заезжай!»

«До села далеко;
Конь устал мой совсем;
Есть свой корм у меня —
Не печалься о нем.

Я вчера в городке
Долго был — все купил;
Вот подарок тебе,
Что давно посулил».

«Не хочу я его!..
Боль головушку всю
Разломила насмерть;
Ступай к куму в село».

«Эта боль — пустяки!..
Средство есть у меня:
Слова два — заживет
Вся головка твоя».

Засветился огонь,
Закурилась изба;
Для гостей дорогих
Стол готовит вдова.

За столом с рыбаком
Уж гуляет купец...
(А в окошко глядит
Удалой молодец...)

«Ты, рыбак, пей вино!
Мне с сестрой наливай!
Если мастер плясать —
Петь мы песни давай!

Я с людями люблю
По-приятельски жить;
Ваше дело — поймать,
Наше дело — купить...

Так со мною, прошу,
Без чинов — по рукам;
Одну басню твержу
Я всем добрым людям:

Горе есть — не горюй.
Дело есть — работай;
А под случай попал —
На здоровье гуляй!»

И пошел с рыбаком
Купец песни играть,
Молодую вдову
Обнимать, целовать.

Не стерпел удалой,
Загорелась душа!
И — как глазом моргнуть —
Растворилась изба...

И с тех пор в хуторке
Никого не живет;

Лишь один соловей
Громко песни поет...

5 сентября 1839 г.

К ***

Ты в путь иной отправилась одна
И для преступных наслаждений,
Для сладострастья без любви
Других любимцев избрала...
Ну, что ж—далеко ль этот путь пройден?

Какие впечатленья
В твоей душе оставил он?
Из всей толпы избранников твоих
С тобой остался ль хоть один
И для спасенья твоего
Готов ли жертвовать собой?
Где ж он? Дай мне его обнять,
Обоих вас благословить
На бесконечный жизни путь!
Но ты одна — над страшной бездной
Одна, несчастная, стоишь!
В безумном исступленье
Врагов на помощь ты зовешь
И с безнадежною тоскою
На гибель верную идешь.
Дай руку мне: еще есть время
Тебя от гибели спасти...
Как холодна твоя рука!
Как тяжело нам проходить
Перед язвительной толпой!
Но я решился, я пойду
И до конца тебя не брошу,
И вновь я выведу тебя
Из бездны страшного греха...
И вновь ты будешь у меня
На прежнем небе ликовать
И трудный путь судьбы моей
Звездою светлой озарять!..

10 сентября 1839 г.

* * *

Не разливай волшебных звуков!
Не уноси ты в свой прекрасный мир!
Твоя душа — как божий ангел!
Вся жизнь твоя — как светлый день!

Ты можешь силой дивной песни
Созвать невидимых духов:
Они всю прелесть чудной жизни
В твоих виденьях разольют;

Мятежный мир в мечтах сокроют,
С печалью радость съединят;
Коснется ль грусть — на душу снидет
Всесильной жизни благодать!

А предо мной — лишь прошлых дней
Все образы страстей безумных
Из глубины души поднимут
Во всей их страшной наготе.

И если ты, мой милый друг,
Не озаришь меня своим сияньем,
Не́ дашь руки, «люблю» не скажешь,
Со мною вместе не пойдешь,—

Тогда погиб я навсегда!
Тогда, страдалец одинокий,
Ни для земли, ни для небес
Я не воскресну никогда!

15 сентября 1839 г.

* * *

Что ты спишь, мужичок?
Ведь весна на дворе;
Ведь соседи твои
Работа́ют давно.

Встань, проснись, подымись,
На себя погляди:

Что ты был? и что стал?
И что есть у тебя?

На гумне — ни снопа;
В закромах — ни зерна;
На дворе, по траве —
Хоть шаром покати.

Из клетей домовой
Сор метлою посмел
И лошадок за долг
По соседям развел.

И под лавкой сундук
Опрокинут лежит;
И погнувшись, изба,
Как старушка, стоит.

Вспомни время свое:
Как катилось оно
По полям и лугам
Золотою рекой!

Со двора и гумна,
По дорожке большой,
По селам, городам,
По торговым людям!

И как двери ему
Растворяли везде,
И в почетном угле
Было место твое!

А теперь под окном
Ты с нуждою сидишь
И весь день на печи
Без просыпу лежишь.

А в полях сиротой
Хлеб нескошен стоит.
Ветер точит зерно!
Птица клюет его!

Что ты спишь, мужичок?
Ведь уж лето прошло,
Ведь уж осень на двор
Через прясло глядит.

Вслед за нею зима
В теплой шубе идет,
Путь снежком порошит,
Под санями хрустит.

Все соседи на них
Хлеб везут, продают,
Собирают казну,
Бражку ковшиком пьют.

25 сентября 1839 г.

РУССКАЯ ПЕСНЯ

Говорил мне друг, прощаючись:
«Не грусти, не плачь ты попусту,
Не печаль лица ты белова,
Не гаси румянца алова.

Ты ведь знаешь, моя милая,
Что иду я неохотою:
Но судьба велит, нужда несет,—
Отец силой просит дома жить.

Я пойду скажу: «Вот, батюшка,
Мой избыток весь — возьми себе;
Но в твоем дому родительском
Не жилец я, не кормилец твой!

Не держи ж, пусти, дай волюшку
Там опять мне жить, где хочется,
Без талана — где таланится,
Молодым кудрям счастливится...»

Говорил так друг, прощаючись,
А в душе его был замысел:
Не к отцу идти — в ином селе
Замуж взять вдову богатую...

Ну, господь с тобой, мой милый друг,
Я за твой обман не сержуся...
Хоть и женишься — раскаешься,
Ко мне, может быть, воротишься.

2 ноября 1839 г.

ЛЕС

Дума

О чем шумит сосновый лес?
Какие в нем сокрыты думы?
Ужель в его холодном царстве
Затаена живая мысль?..

Коня скорей! Как сокол быстрый,
На нем весь лес изъезжу я.
Везде глубокий сон, шум ветра,
И дикая краса угрюмо спит...

Когда-нибудь его стихия
Рвалася землю всю покрыть,
Но, в сон невольно погрузившись,
В одном движении стоит.

Порой, во тьме пустынной ночи,
Былых веков живые тени
Из глубины его выходят
И на людей наводят страх..

С приходом дня уходят тени,
Следов их нет; лишь на вершинах
Один туман, да в темной грусти
Ночь безрассветная лежит...

Какая ж тайна в диком лесе
Так безотчетно нас влечет,
В забвенье погружает душу
И мысли новые рождает в ней?..

Ужели в нас дух вечной жизни
Так бессознательно живет,
Что может лишь в пределах смерти
Свое величье сознавать?..

10 ноября 1839 г.

РУССКАЯ ПЕСНЯ

Без ума, без разума
Меня замуж выдали,
Золотой век девичий
Силой укоротали.

Для того ли молодость
Соблюдали, нежили,
За стеклом от солнушка
Красоту лелеяли,

Чтоб я век свой замужем
Горевала, плакала,
Без любви, без радости
Сокрушалась, мучилась?

Говорят родимые:
«Поживется — слюбится;
И по сердцу выберешь —
Да горчее придется».

Хорошо, состарившись,
Рассуждать, советывать
И с собою молодость
Без расчета сравнивать!

15 ноября 1839 г.

ПОСЛАНИЕ

В. Г. БЕЛИНСКОМУ

Будь человек, терпи!
Тебе даны все силы,
Какими жизнь живет
И мир вселенной движет.
Не так природа-мать,
Но по закону воли
Свои дары здесь раздает
Для царства бытия!
Когда ж над ней есть воля,—

Без воли миг — и что она? —
Так как же могут люди
Твоей душою управлять?..

Пущай они восстанут,
Против тебя пойдут,
В твою главу ударят
Всей силою земной,—
Не пяться, друг! стой прямо!
Главы пред ними не склоняй!
Но смело в бой неравный —
На битву божию ступай!
Не уничтожить им
Твоей могучей воли;

Пока в грудях дыханье —
До тех пор бейся с ними ты...
Громада гор земля —
Земля песчинка лишь одна;
И океан безбрежных вод —
Что капля утренней росы.
У духа жизни веса нет,
У воли духа нет границ,
Везде одна святая сила,
И часть ее есть сила та ж.
Одним лучом огонь небес
Осветит тьму, согреет лед,
Но тьма и холод в небе
Другова солнца не зажжет.

Зачем же долго медлить?
Другую мочь откуда ждать?
Когда с презреньем люди
Зовут тебя на брань,
Ступай во имя бога,
Воюй за правду, честь,
Умри на поле брани;
Но не беги с него назад.
И где война — там дело
Великой жизни бытия!
В ее борьбе — паденье смерти
И новой мысли торжество!

16 ноября 1839 г.

1840

ДУМА СОКОЛА

В. П. БОТКИНУ

Долго ль буду я
Сиднем дома жить,
Мою молодость
Ни за что губить?

Долго ль буду я
Под окном сидеть,
По дорожке вдаль
День и ночь глядеть?

Иль у сокола
Крылья связаны,
Иль пути ему
Все заказаны?

Иль боится он
В чужих людях быть,
С судьбой-мачехой
Сам-собою жить?

Для чего ж на свет
Глядеть хочется,
Облететь его
Душа просится?

Иль зачем она,
Моя милая,
Здесь сидит со мной,
Слезы льет рекой;

От меня летит,
Песню мне поет,
Все рукой манит!
Все с собой зовет?

Нет, уж полно мне
Дома век сидеть,
По дорожке вдаль
День и ночь глядеть!

Со двора пойду,
Куда путь лежит,
А жить стану там,
Где уж бог велит!

15 генваря 1840 г.

РУССКАЯ ПЕСНЯ

Светит солнышко —
Да осенью;
Цветут цветики —
Да не в пору;

А весной была
Степь желтая,
Тучки плавали
Без дождика.

По ночам роса
Где падала,—
Поутру трава
Там сохнула.

И все пташечки,
Касаточки,
Пели грустно так
И жалобно,—

Что, их слушая,
Кровь стынула,
По душе лилась
Боль смертная.

Так прошла моя
Вся молодость,—
Без любви-души,
Без радости.

12 февраля 1840 г.

РУССКАЯ ПЕСНЯ

Не скажу никому,
Отчего я весной
По полям и лугам
Не сбираю цветов.

Та весна далеко,
Те завяли цветы,
Из которых я с ним
Завивала венки!

И тех нет уж и дней,
Что летели стрелой,
Что любовью нас жгли,
Что палили огнем!

Все прошло уж давно...
Не воротишь назад!
Для чего ж без него
Цветы стану я рвать?

Не скажу никому,
Отчего у меня
Тяжело на груди
Злая грусть налегла...

26 февраля 1840 г.

ВОПЛЬ СТРАДАНИЙ

Напрасно я молю святое провиденье
Отвесть удар карающей судьбы,
Укрыть меня от бурь мятежной жизни
И облегчить тяжелый жребий мой;

Иль, слабому, ничтожному творенью,
Дать силу мне, терпенье, веру,
Чтоб мог я равнодушно пережить
Земных страстей безумное волненье.

Пощады нет! Душевную молитву
Разносит ветр во тьме пустынной,
И вопли смертного страданья
Без отзыва в дали глубокой тонут.

Ужель во цвете лет, под тяжестью лишений,
Я должен пасть, не насладившись днем
Прекрасной жизни, досыта не упившись
Очаровательным дыханием весны?

6 марта 1840 г.

БЛАГОДЕТЕЛЮ МОЕЙ РОДИНЫ

Д. Н. БЕГИЧЕВУ

Есть люди: меж людей они
Стоят на ступенях высоких,
Кругом их блеск, и слава
Далеко свой бросает свет;
Они ж с ходулей недоступных
С безумной глупостью глядят,
В страстях, пороках утопают,
И глупо так проводят век.
И люди мимо их смиренно
С лицом боязненным проходят,
Взглянуть на них боятся,
Колена гнут, целуют платья;
А в глубине души своей безмолвно
Плюют и презирают их.

Другие люди есть: они от бога
Поставлены на тех же ступенях;

И так же блеск, величье, слава
Кругом их свет бросают свой.
Но люди те — всю жизнь свою
Делам народа посвятили
И искренно, для пользы государства,
И день и ночь работают свой век...
Кругом же их с почтеньем люди
Колена гнут, снимают шапки,
Молитвы чистые творят...

О, много раз — несчастных, бедных —
Вас окружала пестрая толпа:
Когда вы всем, по силе-мочи,
С любовью помогали им,
Тогда, с благоговеньем тайным,
Любил глядеть я молча,
Как чудно благодатным светом
Сияло ваше светлое лицо.

14 марта 1840 г.

РУССКАЯ ПЕСНЯ

Так и рвется душа
Из груди молодой!
Хочет воли она,
Просит жизни другой!

То ли дело — вдвоем
Над рекою сидеть,
На зеленую степь,
На цветочки глядеть!

То ли дело — вдвоем
Зимню ночь коротать,
Друга жаркой рукой
Ко груди прижимать;

Поутру, на заре,
Обнимать-провожать,
Вечерком у ворот
Его вновь поджидать!

1 апреля 1840 г.

РАЗЛУКА

На заре туманной юности
Всей душой любил я милую;
Был у ней в глазах небесный свет,
На лице горел любви огонь.

Что пред ней ты, утро майское,
Ты, дубрава-мать зеленая,
Степь-трава — парча шелковая,
Заря-вечер, ночь-волшебница!

Хороши вы — когда нет ее,
Когда с вами делишь грусть свою,
А при ней вас — хоть бы не было;
С ней зима — весна, ночь — ясный день!

Не забыть мне, как в последний раз
Я сказал ей: «Прости, милая!
Так, знать, бог велел — расстанемся,
Но когда-нибудь увидимся...»

Вмиг огнем лицо все вспыхнуло,
Белым снегом перекрылося,—
И, рыдая, как безумная,
На груди моей повиснула.

«Не ходи, постой! дай время мне
Задушить грусть, печаль выплакать,
На тебя, на ясна сокола...»
Занялся дух — слово замерло...

21 мая 1840 г.

РУССКАЯ ПЕСНЯ

Не на радость, не на счастие,
Знать, с тобой мы, друг мой, встретились;
Знать, на горе горемычное
Так сжились мы, так слюбилися.

Жил один я, в одиночестве —
Холостая жизнь наскучила;
Полюбил тебя, безродную,
Полюбивши — весь измучился.

Где ты, время, где ты, времечко,
Как одно я только думывал:
Где ты, как с тобой увидеться,
Одним словом перемолвиться.

Тогда было — иду, еду ли,
Ты всегда со мной, с ума нейдешь;
На грудь полную ручкой белою
Ты во сне меня всю ночь зовешь...

А теперь другая думушка
Грызет сердце, крушит голову:
Как в чужом угле с тобой нам жить,
Как свою казну трудом нажить?

Но куда умом ни кинуся —
Мои мысли врозь расходятся,
Без следа вдали теряются,
Черной тучей покрываются...

Погубить себя? — не хочется!
Разойтиться? — нету волюшки!
Обмануть, своею бедностью
Красоту сгубить? — жаль до смерти!

Бобров.
12 июня 1840 г.

ПЕРЕПУТЬЕ

До чего ты, моя молодость,
Довела меня, домыкала,
Что уж шагу ступить некуда,
В свете белом стало тесно мне!

Что ж теперь с тобой, удалая,
Пригадаем мы, придумаем?
В чужих людях век домаять ли?
Сидя дома ли состариться?

По людям ходить, за море плыть —
Надо кровь опять горячую,
Надо силу, силу прежнюю,
Надо волю безотменную.

А у нас с тобой давно их нет;
Мы, гуляя, все потратили,
Молодую жизнь до времени
Как попало — так и прожили!

Сидеть дома, ботеть, стариться,
С стариком отцом вновь ссориться,
Работать, с женой хозяйничать,
Ребятишкам сказки сказывать...

Хоть не так оно — не выгодно,
Но, положим,— делать нечего:
В непогоду — не до плаванья,
За большим в нужде не гонятся...

Но вот тут скажи, как придется
По душе спросить, по совести:
Кто пойдет за нас? где будем жить?
Где избыток мой зарыт лежит?..

Куда глянешь — всюду наша степь;
На горах — леса, сады, дома;
На дне моря — груды золота;
Облака идут — наряд несут!..

Бобров.
11 июля 1840 г.

РУССКАЯ ПЕСНЯ

Дуют ветры,
Ветры буйные,
Ходят тучи,
Тучи темные.

Не видать в них
Света белова;
Не видать в них
Солнца краснова.

Во сырой мгле,
За туманами,
Только ночка
Лишь чернеется...

В эту пору
Непогожую
Одному жить —
Сердцу холодно.

Грудь другую
Ему надобно:
Огонь-душу —
Красну девицу!

С ней зимою —
Лето теплое;
При бездолье —
Горе — не́ горе!

14 августа 1840 г.

ВОЕННАЯ ПЕСНЯ

ПОСВЯЩЕНА КНЯЗЮ П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Затрубили трубы бранные,
Собралася рать могучая,
Стала грудью против недруга —
За царя, за кров, за родину.

Ты прости теперь, отец и мать,
Ты прости теперь, мой милый друг,
Ты прости теперь, и степь и лес,
Дорогая жизнь, весь белый свет!

Гей, товарищ мой, железный штык!
Послужи ж ты мне по-старому:
Как служил ты при Суворове
Силачу-отцу, деду-воину.

Гей, сестра, ты сабля острая!
Попируем мы у недруга,
Погуляем, с ним потешимся,
Выпьем браги бусурманския!..

Уж когда мне, добру молодцу,
Присудил бог сложить голову,—
Не на землю ж я сложу ее!
А сложить-сложу — на груду тел...

Труба бранная, военная!
Что молчишь? Труби, дай волю мне:
В груди сердце богатырское
Закипело, расходилося!

22 августа 1840 г.

«ВСЯКОМУ СВОЙ ТАЛАН

Как женился я, раскаялся;
Да уж поздно, делать нечего:
Обвенчавшись — не разженишься;
Наказал господь, так мучайся.

Хоть бы взял ее я силою,
Иль обманут был злой хитростью;
А то волей своей доброю,
Где задумал, там сосватался.

Было кроме много девушек,
И хороших и таланливых;
Да ни с чем взять — видишь, совестно
От своей родни, товарищей.

Вот и выбрал по их разуму,
По обычаю — как водится:
И с роднею, и с породою,
Именитую — почетную.

И живем с ней — только ссоримся
Да роднею похваляемся;
Да проживши все добро свое,
В долги стали неоплатные...

«Теперь придет время тесное:
Что нам делать, жена, надобно?» —
«Как, скажите, люди добрые,
Научу я мужа глупова?»

«Ах, жена моя, боярыня!
Когда умной ты родилася,
Так зачем же мою голову
Ты сгубила, змея лютая?

Придет время, время грозное,
Кто поможет? куда денемся?» —
«Сам прожился мой безумный муж,
Да у бабы ума требует».

28 августа 1840 г.

РУССКАЯ ПЕСНЯ

Где вы, дни мои,
Дни весенние,
Ночи летние,
Благодатные?

Где ты, жизнь моя,
Радость милая,
Пылкой юности
Заря красная?

С какой гордостью
Я смотрел тогда
На туманную
Даль волшебную!

Там светился свет
Голубых очей;
Там мечтам моим
Конца не было!

Но, среди весны,
В цвете юности,
Я сгубил твою
Душу чистую...

Без тебя, один,
Я с тоской гляжу,
Как ночная тьма
Покрывает день...

Москва.
3 декабря 1840 г.

ПОЭТ

Дума

В душе человека
Возникают мысли,

Как в дали туманной
Небесные звезды...

Мир есть тайна бога,
Бог есть тайна жизни;
Целая природа —
В душе человека.

Проникнуты чувством,
Согреты любовью,
Из нее все силы
В образах выходят...

Властелин-художник
Создает картину —
Великую драму,
Историю царства.

В них дух вечной жизни,
Сам себя сознавши,
В видах бесконечных
Себя проявляет.

И живет столетья,
Ум наш поражая,
Над бездушной смертью
Вечно торжествуя.

Дивные созданья
Мысли всемогущей!
Весь мир перед вами
Со мной исчезает...

Москва.
7 декабря 1840 г.

РУССКАЯ ПЕСНЯ

Много есть у меня
Теремов и садов,
И раздольных полей,
И дремучих лесов.

Много есть у меня
Деревень и людей,
И знакомых бояр,
И надежных друзей.

Много есть у меня
Жемчугов и мехов,
Драгоценных одежд,
Разноцветных ковров.

Много есть у меня
Для пиров — серебра,
Для бесед — красных слов,
Для веселья — вина!

Но я знаю, на что
Трав волшебных ищу;
Но я знаю, о чем
Сам с собою грущу...

Москва.
8 декабря 1840 г.

РАСЧЕТ С ЖИЗНЬЮ

ПОСВЯЩЕНО В. Г. БЕЛИНСКОМУ

Жизнь! зачем ты собой
Обольщаешь меня?
Почти век я прожил,
Никого не любя.

В душе страсти огонь
Разгорался не раз,
Но в бесплодной тоске
Он сгорел и погас.

Моя юность цвела
Под туманом густым,—
И что ждало меня,
Я не видел за ним.

Только тешилась мной
Злая ведьма-судьба;
Только силу мою
Сокрушила борьба;

Только зимней порой
Меня холод знобил;
Только волос седой
Мои кудри развил;

Да румянец лица
Печаль рано сожгла,
Да морщины на нем
Ядом слез провела.

Жизнь! зачем же собой
Обольщаешь меня?
Если б силу бог дал —
Я разбил бы тебя!..

Москва.
9 декабря 1840 г.

ГРУСТЬ ДЕВУШКИ

Отчего, скажи,
Мой любимый серп,
Почернел ты весь —
Что коса моя?

Иль обрызган ты
В скуке-горести
По милу дружку
Слезой девичьей?

В широких степях
Дона тихова
Зелена трава
Давно скошена;

На селе косцы
Давно женятся;
Только нет его,
Ясна сокола!

Иль он бросил дом,
Разлюбил меня,
И не придет уж
К своей девице?..

Не к добру ж тоска
Давит белу грудь,
Ах, не к радости
Плакать хочется.

Москва.
10 декабря 1840 г.

НОЧЬ

ПОСВЯЩЕНА КНЯЗЮ
ВЛАДИМИРУ ФЕДОРОВИЧУ ОДОЕВСКОМУ

Не смотря в лицо,
Она пела мне,
Как ревнивый муж
Бил жену свою.

А в окно луна
Тихо свет лила,
Сладострастных снов
Была ночь полна!

Лишь зеленый сад
Под горой чернел;
Мрачный образ к нам
Из него глядел.

Улыбаясь, он
Зуб о зуб стучал;
Жгучей искрою
Его глаз сверкал.

Вот он к нам идет,
Словно дуб большой...
И тот призрак был —
Ее муж лихой...

По костям моим
Пробежал мороз;
Сам не знаю как,
К полу я прирос.

Но лишь только он
Рукой за дверь взял,
Я схватился с ним,—
И он мертвый пал.

«Что ж ты, милая,
Вся, как лист, дрожишь?
С детским ужасом
На него глядишь?

Уж не будет он
Караулить нас;
Не придет теперь
В полуночный час!..»

«Ах, не то, чтоб я...
Ум мешается...
Все два мужа мне
Представляются:

На полу один
Весь в крови лежит;
А другой — смотри —
Вон в саду стоит!..»

Москва.
11 декабря 1840 г.

ПОМИНКИ

НИКОЛАЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ СТАНКЕВИЧУ

Под тенью роскошной
Кудрявых берез
Гуляют, пируют
Младые друзья!

Могучая сила
В душе их кипит;
На бледных ланитах
Румянец горит.

Их очи, как звезды
По небу, блестят;
Их думы — как тучи;
Их речи — горят.

Давайте веселья!
Давайте печаль!
Давно их не манит
Волшебница-даль!

И с мира и с время
Покровы сняты;
Загадочной жизни
Прожиты мечты.

Шумна их беседа
Разумно идет;
Роскошная младость
Здоровьем цветет.

Но вот к ним приходит
Неведомый гость
И молча садится,
Как темная ночь.

Лицо его мрачно,
И взгляды — что яд.
И весь на нем странен
Печальный наряд.

И лучшему другу
Он руку пожал;
И глаз его черный
Огнем засверкал.

Вмиг юноша вздрогнул,
И очи закрыл,
И темные кудри
На грудь опустил.

Прозрачно, как мрамор,
Застыло лицо,—
Уснул он надолго,
Уснул глубоко!..

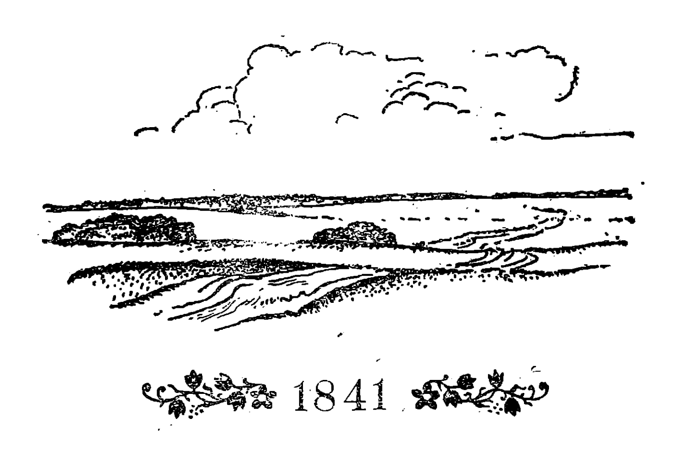
Под тенью роскошной
Кудрявых берез
Гуляют, пируют
Младые друзья!

Их так же, как прежде,
Беседа шумна;
Но часто невольно
Печаль в ней видна.

Москва.
12 декабря 1840 г.

ДУМА ДВЕНАДЦАТАЯ

Не может быть, чтобы мои идеи
Влиянья не имели на природу.
Волнение страстей, волнение ума,
Волненье чувств в народе —
Все той же проявленье мысли.
Небесный свет перерождает воздух,
Организует и живит элементы
И движет всем — по произволу духа.



ДОЛЯ БЕДНЯКА

У чужих людей
Горек белый хлеб,
Брага хмельная —
Неразымчива!

Речи вольные —
Все как связаны;
Чувства жаркие
Мрут без отзыва...

Из души ль порой
Радость вырвется,—
Злой насмешкою
Вмиг отравится.

И бел-ясен день
Затуманится;
Грустью черною
Мир оденется.

И сидишь, глядишь,
Улыбаючись;
А в душе клянешь
Долю горькую!

Воронеж.
1 апреля 1841 г.

РУССКАЯ ПЕСНЯ

Ты прости-прощай,
Сыр-дремучий бор,
С летней волею,
С зимней вьюгою!

Одному с тобой
Надоело жить,
Под дорогою
До зари ходить!

Поднимусь, пойду
В свою хижину,
На житье-бытье,
На домашнее.

Там возьму себе
Молоду жену;
И начну с ней жить —
Припеваючи...

25 апреля 1841 г.

РУССКАЯ ПЕСНЯ

Не весна тогда
Жизнью веяла,
Не трава в полях
Зеленелася;

Не заря с небес
Красовалася,
Не луна на нас
Любовалася!

Нет! под холодом,
Под туманами,

Ты в объятьях жгла —
Поцелуями!

Ночи темные,
Ночи бурные
Шли, как облачки,
Мимо солнушка.

Вьюги зимние,
Вьюги шумные
Напевали нам
Песни чудные;

Наводили сны,
Сны волшебные —
Уносили в край
Заколдованный!

2 мая 1841 г.

ЗВЕЗДА

Где б ни был я,— всегда,
До утренней зари, алмазная звезда
Против меня стоит
И в очи мне язвительно глядит...

При ней когда-то час разлуки был...
Но я давно ее и час тот позабыл!
Один лишь этот луч неотразим,
И я никак не свыкнусь с ним!

Порою он приводит в умиленье,
Порой в восторг и исступленье,
Порою в горькую печаль...
И мне ее, погибшую, все жаль!

5 мая 1841 г.

РУССКАЯ ПЕСНЯ

Расступитесь, леса темные;
Разойдитесь, реки быстрые;
Запылись ты, путь-дороженька;
Дай мне вестку, моя пташечка!

Я рекой пойду по бережку,
Полечу горой за облаком,
На край света, на край белова —
Искать стану друга милова...

Я найду его, где б ни был он,
Я скажу ему: «Стыдно, совестно
Бросить дом свой, отца старова,
Да бог весть куда завихриться».

Как завьет он кудри черные,
Как наденет кафтан бархатный,
Подпояшет кушак шелковый,
Поцелует, скажет ласково:

«Нет, душа моя, ошиблась ты,
Я не в поле вихрем веялся:
По людям ходил, деньгу копил,
В свое время счастье пробовал».

Ах вы, душеньки-подруженьки!
Не от горя плачу — с радости;
На душе она огнем горит,
А нет силы слов души открыть!..

10 мая 1841 г.

СЕЛЬСКАЯ ПЕСНЯ

Как здоров да молод,
Без веселья — весел;
Без призыва — счастье
Идет отовсюду.

В непогоду-ветер
Шапка на макушке;
Проходи, поп, барин,—
Волоска не тронем!

Только дум, заботы
У царя-головки:
Погулять по свету,
Пожить нараспашке;

Свою удаль-силку
Попытать на людях,—
Чтоб не стыдно вспомнить
Молодое время!..

15 мая 1841 г.

РУССКАЯ ПЕСНЯ

ПОСВЯЩАЮ ВАСИЛИЮ ПЕТРОВИЧУ БОТКИНУ

В Александровской слободке
Пьют, гуляют молодцы,
Все опричники лихие,
Молодые чернецы.
Посреди их царь-святоша
В рясе бархатной сидит;
Тихо псальмы распевает,
В пол жезлом своим стучит.
Сам из кубка золотова
Вина, меду много пьет;
Поднимается, как туча,
На всю слободу ревет:
«Враги царские не дремлют;
Я ж, как соня, здесь живу...
На коней скорей садитесь,
Да поедемте в Москву!
Что за мед здесь? что за брага?
Опротивел хлеб сухой;
На московской на площадке
Мы сготовим пир другой!
Наедимся там досыта
Человечины сырой,
Перепьемся мы допьяна
Крови женской и мужской!
Бедный раб, я — царь наследный
Над моими над людьми:
На кого сурово взглянем —
Того скушаем с детьми!»
Царь-ханжа летит, как вихорь,
С саранчою удальцов
Москву-матушку пилатить —
Кушать мясо и пить кровь!

16 октября 1841 г.

РУССКАЯ ПЕСНЯ

Из лесов дремучих, северных
Поднялась не тучка темная,
А рать сильная, могучая —
Царя грознова, Московскова.

Словно птица быстролетная
Пролетела море синее...
Перешла так сила русская
Степь пустую, непроходную.

И пришла она, незваная,
К царству славному, Казанскому,
К бусурману — хану лютому,
К свому недругу заклятому.

И куда еще — спит зорюшка,
А уж бьется Русь с татарином,—
Стены крепкие разрушила —
И пошла гулять по городу;

Воеводы — рати храбрые
Ездят, бьют татар по улицам;
А на башне с русским знаменем
Юный царь стоит — как солнышко!

17 октября 1841 г.

ИВАНУ ГОРДЕЕВИЧУ КОЗЛОВУ

Он жил — и был здесь всем чужой;
Но все душой его любили
И сожаленьем и слезой,
Прощаясь, прах его почтили.

18 октября 1841 г.

ЖИЗНЬ

Дума

Умом легко нам свет обнять;
В нем мыслью вольной мы летаем:
Что не дано нам понимать —
Мы всё как будто понимаем.

И резко судим обо всем,
С веков покрова не снимая;
Дошло,— что людям нипочем
Сказать: вот тайна мировая!

Как свет стоит, до этих пор
Всего мы много пережили:
Страстей мы видели напор;
За царством царство схоронили.

Живя, проникли глубоко
В тайник природы чудотворной;
Одни познанья взяли мы легко,
Другие — силою упорной...

Но все ж успех наш не велик.
Что до преданий? — мы не знаем.
Вперед что будет — кто проник?
Что мы теперь? — не разгадаем.

Один лишь опыт говорит,
Что прежде нас здесь люди жили,—
И мы живем,— и будут жить.
Вот каковы все наши были!..

18 октября 1841 г.

ИЗ ГОРАЦИЯ

Не время ль нам оставить
Про небеса мечтать,
Земную жизнь бесславить,
Что есть — иль нет, желать?

Легко, конечно, строить
Воздушные миры,
И уверять, и спорить:
Как в них-то важны мы!

Но от души ль порою
В нас чувство говорит,
Что жизнию земною
Нет нужды дорожить?..

Всему конец — могила;
За далью — мрак густой;
Ни вести, ни отзыва
На вопль наш роковой!

А тут дары земные,
Дыхание цветов,
Дни, ночи золотые,
Разгульный шум лесов;

И сердца жизнь живая,
И чувства огнь святой,
И дева молодая
Блистает красотой!

18 декабря 1841 г.

РУССКАЯ ПЕСНЯ

Я любила его
Жарче дня и огня,
Как другие любить
Не смогут никогда!

Только с ним лишь одним
Я на свете жила;
Ему душу мою,
Ему жизнь отдала!

Что за ночь, за луна,
Когда друга я жду!
И бледна, холодна,
Замираю, дрожу!

Вот он идет, поет:
«Где ты, зорька моя?»
Вот он руку берет,
Вот целует меня!

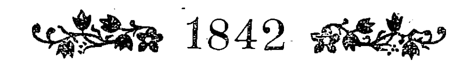
«Милый друг, погаси
Поцелуи твои!
И без них при тебе
Огнь пылает в крови;

И без них при тебе
Жжет румянец лицо,

И волнуется грудь,
И кипит горячо!

И блистают глаза
Лучезарной звездой!»
Я жила для него —
Я любила душой!

20 декабря 1841 г.



НА НОВЫЙ 1842 ГОД

Прожитый год, тебя я встретил шумно,
В кругу знакомых и друзей;
Широко, вольно и безумно,
При звуках бешеных речей.

Тогда, забывшись на мгновенье,
Вперед всяк дерзостно глядел,
Своих страстей невольное стремленье
Истолковать пророчески хотел.

В ком сила есть на радость, на страданье,
В том дух огнем восторженным горит,
Тот о своем загадочном призванье
Свободно, смело говорит.

Так, до зари беседа наша
Была торжественно-шумна!
Веселья круговая чаша
Всю ночь неисчерпаема была!

Но год прошел: одним звездою ясной,
Другим он молоньей мелькнул;
Меня ж год, встреченный прекрасно,—
Как друг, как демон,— обманул!

Он за таинственным покровом
Мученья горькие скрывал;
И в этом свете бестолковом
Меня вполне рок грозный испытал.

Тяжелый год, тебя уж нет, а я еще живу,
И новый тихо, без друзей, один встречаю,
Один в его заманчивую тьму
Свои я взоры потопляю...

Что в ней таится для меня?
Ужели новые страданья?
Ужель безвременно из мира выйду я,
Не совершив и задушевного желанья?

1 января 1842 г. полночь

ПЕСНЯ

Что он ходит за мной,
Всюду ищет меня
И, встречаясь, глядит
Так лукаво всегда?

Что смешнова во мне —
Я понять не могу;
И за мною ходить —
Кто дал право ему?

Помню, как-то давно
У знакомых был бал;
Как безумный, всю ночь
Он со мной танцевал!

Слова нет — он хорош:
Брови, нос и лицо,
Но глаза — за глаза
Ненавижу его!

Голубые они...
И как жарко горят!
Будто яда полны,
Будто съесть вас хотят!

Нет, отстаньте, прошу,
Не следите меня;
Ваших дьявольских глаз
Я боюсь, как огня!..

8 февраля 1842 г.

* * *

Когда есть жизнь другая там,
Прощай! Счастливый путь!
А нет — скорее к нам,
Пока жить можно тут.

* * *

Ночка темная,
Время позднее,—
Скучно девице
Без товарища.

Полюби меня,
Душа-девица,
Меня, молодца
Разудалого.

Ночка темная
Не протянется,
Веселей тебе
Будет на сердце.

Кровь горячая
Разыграется,
Обольет огнем
Груди белые.

Припаду я к ним
С негой страстною,
С жаждой пылкою
Наслаждения.

Обовью рукой
Шейку стройную,
Шейку белую,
Лебединую.

Я вопьюсь в твои
Уста сладкие,
Я с любовию
Страстной, пламенной...

Мы тогда с тобой
Весь забудем мир,
И наплачемся
И натешимся.

ПЕСНЯ

Нынче ночью к себе
В гости друга я жду.
«Без знакомых, один,—
Сказал,— радость! приду.

Месяц будь иль не будь,—
Конь дорогу найдет;
Сам лукавый впотьмах
С ней его не собьет.

И до ночи метель
Снегом путь весь закрой —
Без дороги, чутьем,
Сыщет домик он твой!»

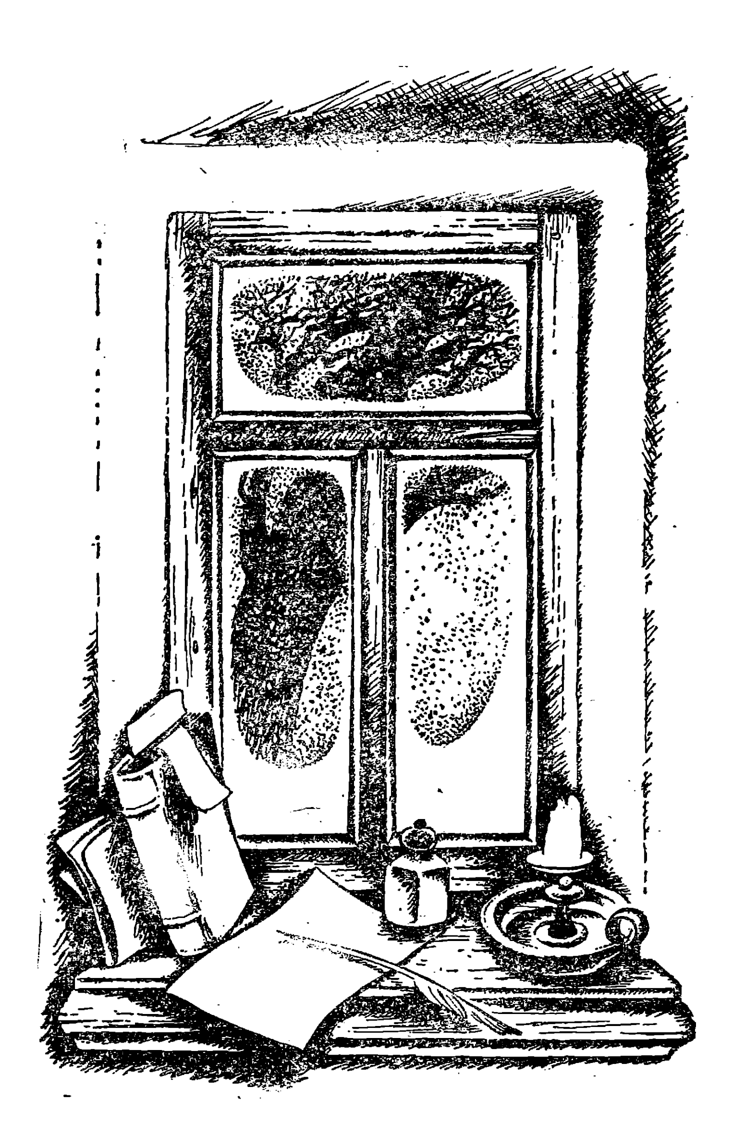
Нынче ночью к себе
В гости друга я жду;
Он, прощаясь, сказал:
«Хоть умру, а приду.

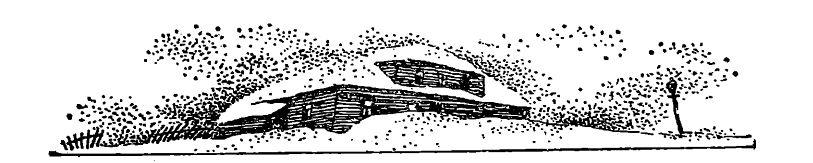
Что замок и отец,
Караул, ворота? —
Воеводская дверь
Мне всегда расперта.

Не любивши тебя,
В селах слыл молодцом,
А с тобою, мой друг,
Города нипочем!»

5 марта 1842 г.

ПИСЬМА





1. В. П. КОЛЬЦОВУ

Москва, 1831 года, мая 8 дня

Милостивый государь, батенька, Василий Петрович! По выезде из Воронежа приехал в Москву 2 мая. Дорога была очень неспособная к скорой езде; но этой медленностию, слава богу, упущения никакого не сделалось. Рапорт в сенате только получили 5 мая: верно, где-нибудь пролежал, дожидаясь почты. Теперь он подан в экспедицию, но когда будет выслушиваться, этого еще неизвестно. Нынче написали прошение и копии на гербовых листах со всех контрактов; завтра подадим в сенат, и Александр Саввич поедет узнать, когда будет слушаться рапорт, и кой с кем повидаться. Он теперь немного нездоров и живет за Москвой, в Сокольничьей слободке. Я у него бываю часто, часто и ночую. Из казенной палаты до будущих обстоятельств требовать рапорта другого не будем; и здесь еще дурного ничего не видно; если ж что случится, то в следующих письмах буду извещать подробно. Бог знает, что будет дальше, а Александр Саввич твердо уверен в хорошую сторону.

Свидетельствуйте мое почтение Ивану Федоровичу [1] и Василью Ивановичу; [2] желаю вам быть здоровым и благополучным, остаюсь ваш покорный сын

Алексей Кольцов.

Адресы на письмах пишите: На Белевском-Елецком подворье, у дворника Василия Захарова *такому-то*.

С этим письмом посылаю пачпорт елецкого гуртоправа. Я его нашел: живет он на фатере довольно бедно, и малой лентяй, нехороших правил; просил еще денег 40 рублей — я ему не дал, видя его корочь [3]. Он без того не пошел в Воронеж; денег не дает им забратых и не хочет отдать. Сделайте, чтоб его по пачпорту послали по пересылке. Если наши деньги пропадут, то будут дураку наука, а ничего сделать с ним более нечего.

За 16 рублями не заезжал потому, что через Ефремов я ехал в полночь. Петр Кузьмич Саламатин хотел по своему делу послать сюда Бирюкова; я говорил о его доле Полякову. Они берутся это сделать; и если вам это не будет противно, то отдайте незапечатанное письмецо, вложенное в этом, ему.

2. В. И. ГАРДЕНИНУ

1834, июня 14 [*Воронеж*]

Любезнейший мой Василий Иванович!

Свидетельствую тебе мое почтение и уведомляю вас, что у нас в Воронеже все хорошо, как было прежде. Твои родимые все живы и здоровы. Александр Алексеевич Абрамов уехал в Москву к тебе в гости 13 числа сего месяца. Постарайся, брат, его принять хорошенько (впрочем, сам-друг с женою).

Прошу тебя, Василий Иванович, напишите своему батюшке об Костянской [1] отаве; они мне половину — более не дают; а вы говорили дать мне сей год весь. Будьте слову господа.

Еще прошу тебя: поговорите в том месте, где вы имеете свои дела, с знакомыми вам лицами о моем деле, которое скоро там будет. Меня, брат, после тебя в казенной палате по Чужовскому [2] делу отбоярили славно; кончили так: за всю неудобную землю, и поступившую в другое владение, и не содержанную

вовсе нами, и за лишний год взыскать с меня деньги, более двенадцати-то тысяч,— по знакомству. Поздравили с праздником! На сих днях пошлю прошение и, как вы мне тогда напишете, буду к вам: пособлю вам допеть заунывную песню. Если это вам не трудно, то, пожалуйста, поговорите: дело, как вы знаете, необходимое.

В ожидании от вас доброва ответа, остаюсь ваш, милостивого государя, покорнейший слуга

Алексей Кольцов.

Иван Дмитриевич господин Данилов вам кланяется.

3. В. Г. БЕЛИНСКОМУ

3 марта 1836 г. Питер

Любезнейший Виссарион Григорьевич! Позвольте вам из Петербурга засвидетельствовать почтение. Я знаю, это нынче не в моде; но я ничего более не имею, как только одно лишь это: почитать людей, которых я душою почитаю. Вы меня приняли в Москве довольно ласково; и мне из-за вас Москва показалась гораздо теплее, нежели была прежде. Да, вы под доброю планетой рождены, и эта планета велика собой: по крайней мере она через пространство 700 верст имеет сильное влияние на того человека, на которого вы бросили отблеск своего луча. Известный вам довольно Януарий Михайлович г. Неверов о быте моем составил биографию (которая печатается в «Сыне отечества») [1]. И здесь я перед вами много грешен: принужден был отдать в нее «Косаря», которого прирядил уж вам. Извините меня великодушно: ей-богу, было перед ним и другими совестно и стыдно, что не мог ничего, кроме его, отдать более лучшего. Согрешил — простите. Если он еще нигде не помещен, прошу вас, нельзя ли никуда не помещать [2]; в противном случае, что делать, не знаю сам. Проклятый свет: в нем часто встречаются такие вещи, что и боже упаси. Сначала все идет хорошо, потом и еще хорошо, потом посмотришь, беда на носу,

а двери заперты; тут в петлю рад,— на тот грех судьба забыла петлю прицепить. Я не смею просить вас ко мне писать, но прошу вас, на первой почте,— и то, если можно и если удобно будет вам и не в труд,— прислать ко мне двадцать моих книжек[3]. Если же вы не имеете на это у себя время, простите меня, что я хотел вас утрудить. Я и так много чувствую ваше доброе расположение, которым должен бы был дорожить более с такой стороны, с которой — стыдно — сказать не умею. По доброте своей часто бог дает нам понятия выше наших чувств. За дурное письмо не ругайте, потому что проза со мною еще при рождении разошлась самым неблагородным образом[4]. Желаю вам здоровья и желаю здоровья всем. Остаюсь с истинным почтением и уважением ваш покорнейший слуга

Алексей Кольцов.

4. В. Г. БЕЛИНСКОМУ

21 марта 1836 г. Питер

Милостивый государь Виссарион Григорьевич! В одном письме нескромно беспокоил я вас моею пустенькою просьбой[1], после одумался, что я это сделал очень дурно; спохватился поздно: нельзя возвратить звука, который прозвучал. Простите ошибки: бывают в голове людей такие промежутки, в которые забываем то, о чем бы помнить нужно. Шатаясь полупраздный по улицам Петербурга, сам не знаю как и где, залезла в голову эта неблагородная мысль, что есть у людей минуты, в которые не хочется делать дельного. Думал очень глупо: человек, который посвятил себя возвышенным думам, который в полных идеях здравого смысла выводит священные истины и отдает их целому миру,— толпа людей любуется ими безусловно: хвала жрецу, исполнителю искусства! (это не мои слова; так разумеет о вас здешний литературный люд) — а я, глупец, потревожил ваши великие думы своей безделкой... Нужда говорлива: из одной крайности я перехожу в другую. Если мож-

но, подателю сего письма, прошу вас покорнейше, дайте 50 книжек, и он их перешлет ко мне, я его при сем же просил особенным письмом. Вероятно, в Питере я проживу святую[2]. Новости в Питере: печатается новый журнал «Современник»[3], издаваемый Пушкиным; 1 № ожидается пятнадцатого апреля. «Джулию Мости» Кукольника[4] печатает Смирдин отдельно.— Слышно, на Фоминой в понедельник дадут на театре комедию Гоголя[5], новую; все заняты ею.— С истинным уважением остаюсь ваш, милостивый государь, покорнейший слуга

Алексей Кольцов.

5. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

22 мая 1836 г. Воронеж

Ваше сиятельство, Петр Андреевич! Препорученные вами письма в Москву я доставил; их приняли от меня очень ласково, и дело мое тотчас же кончили, послали указ; но еще у нас не получен; думаю, получится на этих днях. Сегодня поутру я доставил последнее письмо нашему виц-губернатору Александру Яковлевичу Мешковскому. Он принял его весьма сухо; от меня не хотел выслушать ни слова, и только сказал, что он своего заключения никак не переменит. Где я не думал, там случилось напротив. Много я вас обеспокоивал моими просьбами; теперь опять в крайней моей нужде прибегаю под покровительство ваше, не оставьте меня своей защитой: вы с самого начала приняли участие, и теперь, покорнейше прошу ваше сиятельство, не откажитесь помочь мне при конце.

С истинным почтением и уважением честь имею пребыть вашего сиятельства покорнейший слуга

Алексей Кольцов.

Если что-нибудь дурно написал, простите, ваше сиятельство: впервой с роду пишу к князю.

6. А. А. КРАЕВСКОМУ

22 мая 1836 г. Воронеж

Дорогой и любезнейший Андрей Александрович! Новые обстоятельства переменили совершенно все задуманные дорогой планы. Хотел впереди встретить одно хорошее; напротив, прежде всего повстречался с дурным, да еще с таким дурным, которого не дай бог никогда ни знать, ни ведать никому. Письмо, полученное от его сиятельства князя Петра Андреевича Вяземского к нашему виц-губернатору [1], к удивлению моему, было принято сухо. На это я хотел объясниться; но он, по доброте своей, не хотел выслушать ни слова и, кажется, подумал, что я его получил как-нибудь чрез протекции низкие, по переписке из Воронежа. Хотел разуверить,— не успел и не мог, а поскорей убрался за погоду. Боже мой! как эти люди у нас горды и недоступны, вы представить себе не можете. Это не люди, а академические сфинксы. Теперь надежда вся на вас, любезнейший Андрей Александрович. Бога - ради, помогите мне в этом случае; попросите еще его сиятельство написать к ему письмо; авось, бог даст, получшеет.

Извините, что не могу писать вам более. Дела мои в совершенном расстройстве. После меня отца моего так стеснили взысканием, что он принужден был уехать из дома и жил кой-где более месяца; и товару рогатого купил очень мало. Бог даст, хоть немного поправлю торговые дела свои, буду писать вам больше. Януарию Михайловичу с сею же почтою я послал «Молодую жницу»; [2] пожалуйста, прочтите ее. Если она не годится в «Современник», то киньте в Неву. «Умолкший поэт» я отдал в «Телескоп» [3], и, кажется, бранить не будете. Еще другие вам пришлю в скором времени. Теперь ничего стихотворного не делаю, и проза в голове ходит черт знает все какая! Желаю вам быть здоровым, жить весело. Еще напоминаю: не оставьте просьбы, помогите! С истинным почтением остаюсь ваш, милостивого государя, покорнейший слуга

Алексей Кольцов.

Когда какие стихи написаны, все года в следующую почту пришлю. (Занятые мною у вас деньги посылаю с моею благодарностью, девяносто пять рублей ассигнациями.) — Не приняли на почте с деньгами, опоздал; в следующую почту пришлю.

7. А. А. КРАЕВСКОМУ

28 мая 1836 г. Воронеж

Добрый и любезный мой Андрей Александрович!

Взятые у вас деньги взаймы при сем посылаю. Хотел послать на прежней почте, не приняли с посылкой, и я принужден был деньги выложить и послать одно письмо. Дела мои немножко без меня шли дурно; занимаюсь крепко ими и, бог даст, в месяц надеюсь привести их в порядок. Более расстроило их то дело, за которым жил в Питере. Я вам скучал просьбою: если можно, не оставьте. Мне остается уладить во всем Воронеже с одним виц-губернатором [1],— и все бы могло пойти хорошо; а без вас уладить с ним я не могу, потому что человек весьма дурной, который нашего брата считает ни за грош. Я с ним личности и никогда еще не имел, да бог знает, что-то он ко мне не ласков. Может быть, насказал ему кто-нибудь с дурной стороны; только, ей-богу, не знаю. Посылаю вам, как вы говорили, чтó когда писалось из тех вещей [2], которые вы приняли под свое покровительство. За одолжение денег покорно вас благодарю. Как управлюсь делами, буду писать вам более. Погода у нас чудесная: и ясно и тепло. Желаю вам быть здоровым. С истинным моим почтением покорнейший ваш слуга

Алексей Кольцов.

В Москве познакомился я с Глинкою, Федором Николаевичем; он меня обласкал весьма хорошо. Посылки ваши я роздал все.

8. А. А. КРАЕВСКОМУ, Я. М. НЕВЕРОВУ и В. В. ГРИГОРЬЕВУ

2 июля 1836 г. Воронеж

Добрые и любезнейшие мои Андрей Александрович, Януарий Михайлович и Василий Васильевич!

Дай бог здоровья вам, дай бог веселья вам,— вот все, что желаю вам я от души. Благодарю, благодарю сердечно вас за память вашу обо мне, благодарю за письма ваши: много принесли они мне радости и минут отрадных; да за ваши ласки, за все то, что вы для меня и сделали и делаете. Кажется, никто в целом свете скудней не платится, как я. Грустно и думать и не иметь силы выполнить то, что выполнить надо. Письмо, с которого я получил копию от вас, заметно, что переменило порядочно нашего Кривосудова [1], как взвеличили его вы.

Этот гостинец пришел к нам кстати. Посылаю вам при сем «Цветок». Я его написал или лучше — переправил еще дорогою из Питера в Москву; но прежде не посылал затем: думал, что он не успеет войти в собрание [2]. В Москве отдал его Белинскому; напечатает ли он или нет,— не знаю. Более — писал и не писал: все хлопочу по делам торговли, которые без меня шли уж очень дурно,— а разлитую воду подбирать с земли не всякому легко. Теперь, слава богу, ход их получшел гораздо. В степи ездил только раз, и то на скорую руку, как баба поет над могилой. Я вам дал слово написать, и не выполнил по сю пору, подождите, пожалуйста: бог даст, выполню все. Прошу вас, примите от меня посылаемую безделку [3] за вашу хлеб-соль в уплату. Еще, пожалуйста, любезнейший Андрей Александрович, поблагодарите за меня его сиятельство князя Петра Андреевича Вяземского за их благодеяния и покровительство. С истинным моим почтением и уважением имею честь пребыть ваш, милостивого государя, покорнейший слуга

Алексей Кольцов.

9. В. Г. БЕЛИНСКОМУ

Воронеж, 11 сентября 1836 г.

Здравствуйте, добрый и любезный мой Виссарион Григорьевич!

Вот еще я к вам с моей безделкой [1]. Посмотрите ее, пожалуйста, чего она стоит; ваш взгляд — ея судьба. Мне стыдно перед вами и даже перед собой самим: «Телескоп» по расположенности вашей и почтеннейшего Николая Ивановича получаю, а моего ничего нет. За что же получаю? Ведь стыдно сказать. Если она стоит, то удостойте «Телескопа» — «Неразгаданную истину, думу».

Другую пьеску «Песнь» посылаю к вам же на суд. Это новое произведение нового молодого человека, купчика. Он просил меня ее прислать к вам. Я посылаю. «Ему даже ответ ваш дорог»,— так он говорит.

«Нет ли чего у нас?» — хотите вы спросить. Нет ли чего нового у вас, любезный Виссарион Григорьевич? Да, лестно будет мне получить от вас строку.

Желаю вам быть здоровым. Ивану Васильевичу [2] Станкевичу, господину Бакунину, Каткову, Бакунину и Ефремову почтение не нарочно прошу вас развести, а так, при случае.

С душевною преданностию честь имею пребыть покорнейшим слугою

Алексей Кольцов.

10. В. Г. БЕЛИНСКОМУ

20 ноября 1836 г. Воронеж

Почтеннейший и любезнейший Виссарион Григорьевич! Здоровы ли вы? Об вас давно я ничего не слыхал. Николай Владимирович Станкевич уехал в Острогожск [1], хотел быть в октябре, но до сих пор еще не проезжал через Воронеж, а кроме его узнать об вас мне не от кого больше. Недавно слышал я весьма неприятное известие: говорят, будто бы «Телескоп» запрещен царем и не будет издаваться [2]; ежели правда, то мне жаль до смерти лишиться «Те-

лескопа»: я его люблю душою. Ради бога, любезнейший Виссарион Григорьевич, уведомьте меня. Да позвольте вам сделать маленький гостинчик с нашего тихого Дона Ивановича[3]; мне давно хотелось вам послать его, да все не было случая, а время шло день за день. С истинным почтением ваш покорнейший слуга

Алексей Кольцов.

11. А. А. КРАЕВСКОМУ

27 ноября 1836 г. Воронеж

Добрый и любезный Андрей Александрович! Давным-давно ко мне вы ни полслова. Бывало, не вы, так Януарий Михайлович кое-когда посещал торгаша-горемыку, а нынче и он что-то замолчал. Конечно, всегда вы заняты, всегда дела. Да, вы небом избранные жрецы священнодействовать у алтаря высокого искусства. Много надо время и трудов оправдать это великое призвание: легко мечтать и думать, но трудно выполнять. Может быть, нехорошо делаю, что часто так скучаю вам, да как мне быть, когда до смерти хочется узнать от вас кой о чем нужном! Желанью сенца не подложишь: оно насильно требует, что ему надобно. Пуще всего позвольте мне поговорить с вами о моей книге[1], в которой вы приняли на себя труд благодетельствовать. Как она, сердечная? Скоро будет напечатана? — или, как мать родила, пошлете восвояси? Что, если это правда? — то жить ей у меня будет неловко; лучше не присылайте, а то я ее изволочу, как шельму. Нет, было бы лучше ей, если бы она приехала ко мне расфранченная, принаряженная, как петербургская щеголиха-барыня.

Другая речь. Посланные к Януарию Михайловичу «Могила» и «Великая истина»[2] и еще семь пиес — скажите, пожалуйста,— будут где напечатаны? Они писали ко мне, что им непонятно в «Великой истине», начиная с «Свобода, свобода» до: «Но слово: да будет»[3]. Я разумел здесь: просто чистоту души первого человека в мире, потом его грехопадение и что, через этот грех, в буйной свободе человеческой воли — раз-

росшиеся разнообразные страсти, которые доныне господствуют над нами, как говорит Священное писание, а потом искупленье не вполне. Если я ошибся (что за мной часто водится), пожалуйста, объясните. Теперь еще посылаю вам две пиески: «Мир божий» и «Слеза молитвы». Если они стоят быть в «Современнике»[4],— поместите, а нет,— куда угодно вам, отдайте.

Более ничего не писал: недосуги! Батенька два месяца в Москве, продает быков. Дома я один, дел много: покупаю свиней, становлю на винный завод на барду; в роще рублю дрова; осенью пахал землю; на скорую руку езжу в селы; дома по делам хлопочу с зари до полночи. Забочусь о том деле[5], в котором вы приняли участие,— дай бог здоровья вам и Василию Андреевичу Жуковскому и Петру Андреевичу Вяземскому! — но по которому до этих пор хотя ничего в палате не делают. Да я до смерти рад и тому, что денег не взыскивают пока, а то было вовсе проняла беда: хоть ложись да умирай! Вы заметили нескладицу в «Неразгаданной истине»; вот эдак будет, кажется, лучше:

Сторона пустая
Снова зацарюет,
И жизнь молодая
Шумно запирует.

А «Женитьба Павла», которая вам нравилась, если угодно,— напечатайте[6]. Да, новость! С месяц назад был в Воронеже Федор Николаевич Глинка с женой[7]. Обои два раза посетили мой дом, приветили, обласкали мое семейство; обои такие добрые, как я не ожидал. Были у меня. Чего это стоит?.. «Телескоп», я слышал, понесся шибко, да наехал на пень. Жаль «Телескопа»[8] — славный был малый! О вашем новом журнале, к несчастью, тоже слышал неприятность,— каких желал бы не слышать никогда! Жаль, очень жаль!.. Кланяйтесь от меня... кому же? Может быть, это неловко и не годится; тут нужен ваш совет. С душевным почтением и всегдашнею преданностью к вам, любезнейший Андрей Александрович, имею честь пребыть покорнейший слуга

Алексей Кольцов.

12. Ф. Н. и А. П. ГЛИНКАМ

9 декабря 1836 г. Воронеж

Ваше превосходительство, Федор Николаевич и Авдотья Павловна! До того вы ко мне были ласковы и добры, что не побрезгали посетить мой простой уголок. Сколько радости, сколько удовольствий чувствовал в минуту вашего посещения! Да, может быть, это первые лучшие минуты моей шероховатой жизни; может быть, последние минуты моего земного счастия. Я не говорю, что со мной тогда было, но и теперь, когда думаю: Федор Николаевич и Авдотья Павловна были у меня, вот здесь в доме, вот в этой самой комнате,— и душе вдруг станет что-то грустно и сладко, тепло и отрадно. Справедлив господь бог в судьбах своих, положивший за год печали — день радости. Тяжело год идет, горою проходит, ляжет на груди, сердце раздавит. Небесная ж радость *птичкой* прилетает, минуту гостит, сладкие песни поет; вспорхнет, улетит,— а звучные песни долго в душе раздаются, долго слушает она, и слушать их душе все бы хотелось. И вот бедные отзывы ваших певучих, сладких песен. Вы в меня их вдохнули, виновники их — вы. Примите их, ваши они! С душевным почтением, честь имею быть вашего превосходительства покорнейший слуга

Алексей Кольцов.

Вы изволили говорить: последний стих переменить у пьески «Цветок». Вот эдак будет, кажется, лучше:

О пой, косарь! зови певицу,
Подругу — красную девицу,
Пока еще, шумя косой,
Не тронул ты травы степной.

13. НЕИЗВЕСТНОМУ ЛИЦУ

[*1836 г. Воронеж*]

Господи, помилуй! Господи, помилуй! Не брак — любовь бы нас соединила вечною взаимностью друг к другу. Не блести никогда венчальный венец на гла-

ве моей; дай мне лучше, провидение, факел философии; разверни, природа, темные покровы, покажи, природа, в зеркале жизни ту... Сестрица, созданье любви и красоты, если бы это идеальное существо были вы, чем был бы с вами я? И какие минуты счастья посещали нас всегда! Чем бы нам казались мгновения, проведенные в объятьях любви и дружбы?

Не быв с вами, писать к вам, передавать свои чувства — и это счастье, одним этим редкий равен со мною. Вы не знаете, как мне драгоценны ваши письма! Часто, читая ваше письмо в душевном восхищении, улетая мыслию к вам, я думаю: провидение, вот чувство той, которой я весь принадлежу; провиденье, ты дало мне завидливый удел; я не оценю своего блаженства!

Что за счастье, что за рай
Жить вдали от милой
И былое оживлять
Памятью унылой?

Что за радость, что за счастье
О ней плакать, тосковать,
Вечно с нею не вкушать
Любви сладострастье?

Сердцу что за наслажденье,
Что за дружеский обет,
Коль в сердечном упоенье
Целовать ее не сметь?

Если судьба над кем хитрит несправедливо, ужель тому ей рабски покоряться! Нет, судьба определяет, а природа дает: следственно, не закон судьбы, а закон природы для нас святее. Постигнуты вы судьбою,— не унывайте пред горем, лишь бойтесь погасить искру сердца, искру чувства и любви священной. Это сокровище я вечно ни с чем не сравню и ни на что не променяю. Владейте равнодушно талантом бесталанным, и старайтесь быть счастливою талантами природы — и вы будете счастливы!.. Что за обязанность сохранять до гроба вынужденную пред алтарем

клятву — ничтожному рабу послушной быть рабыней! Хранить ему верность, любить его против желаний и вечно, вечно быть рабыней! И страшно и смешно! Любезный Вольтер, если бы все могли понимать твои возвышенные истины, что б был раб пред рабыней, рабыня пред рабом!

Глупцом
С большими рогами,
Ослом
С длинными ушами.

Тише, еще это люди считают за грех. Настанет час, заблещет, как летнее солнце, светильник истины; до той поры надо молчать и смеяться суеверным предрассудкам легковерных людей. Милая сестрица, вы говорите несправедливо: когда б прежде смолвились с вами, нас бы соединили узы брака. Верю, узы соединяют людей, но не сердца. Скажите, что же значат эти узы?

Что за райская мечта,
Что земная красота,
Коль любить ее мученье,
Слезы — награжденье?

Если б ты у ног прекрасной
О свиданье умолял,
Если б ты с подругой страстной
В полной неге утопал!

Удались, лукавый, не шепчи, голос преступленья; не обольщай очарованными прелестями небесных наслаждений. Мое все со мной. Я доволен тем, что дано мне.

Что могу своим назвать,
Мне всего то лучше, краше;
Чем другим дано владать, —
То чужое, то не наше.

О красавице младой
Страстны юноши вздыхали;
Каждый взгляд ее живой
Даром неба бы считали.

14. А. А. КРАЕВСКОМУ

12 февраля 1837 г. Воронеж

Добрый и любезнейший Андрей Александрович! Старое «Литературное прибавление» с новою жизнию, Плюшара с издателем, а вас с редакторством и журналом поздравляю [1]. Душевно рад, что наконец вы все-таки поставили на своем. Пусть ваши враги скинут шапки и поклонятся в пояс победителю; правым делом бог владеет! А вашему новому журналу успеха и талану и долгих лет. Трудно сначала отыскать дорожку, а дорожка на дорогу выводит, а по битой дороге хоть день, хоть ночь ступай,— с полгоря,— не собьешься! Жалко, что до этих пор не видал еще нового «Литературного прибавления». В Воронеже я говорил об нем кой-кому, и человека три подписались, но до сих пор еще не получили. В «Сыне отечества» я читал вашего «Бориса Федоровича Годунова» с душевным удовольствием [2] два раза, и еще прочту. Долго думали, много трудились — и хорошо сделали...

О издании моей книги очень жаль, что вы об ней так много беспокоитесь: невозможного сделать невозможно. Вы хлопочете, чтобы ее продать какому-нибудь книгопродавцу. За нее дорого дать никто не согласится, а если 300 или 500 рублей, то и хлопотать нечего: такие безделицы продавать дороже стыдно. В теперешнее время она более ничего, как ветошь; а ветошь когда была в цене? Если вы все те же и если ваше желание не переменилось, то позвольте просить вас вот о чем. Сберите все пьесы, какие остались у вас в рукописи, прибавьте к ним, какие я посылал Януарию Михайловичу; после же разбросайте по них напечатанную книжку,— и выйдет под шестьдесят. Расположите, как признаете лучше. Януарий Михайлович обещался прибавить к ним свою статейку [3], и вы, с своей стороны, прибавьте то, что прибавить хотели,— и будет славная книжка. Еще мне бы хотелось напечатать на хорошей бумаге, пороскошней, и оттисните в добрый час. Мало слов, много хлопот, и дела куча. Отдайте Смирдину на комиссию или кому вам угодно,— и дело с концом. А если публика не поддержит? Бог с ней! пускай она

думает себе как хочет. Ведь вы ж сказали, что правда, как масло, наверх выплывет. Если они хороши, публика полюбит; плохи,— нет. Как можно заставить молодца-красавца любить противу сил дурную жену? Я на публику никогда не надеялся и надеяться не буду. За свои стихи денег не брал и буду ль брать когда-нибудь? Цена им дешевая, а награда великая. Вы не побрезговали мною, слава богу: приняли в число своих знакомых, помогли, обласкали, во-первых, познакомили меня с людьми, которых я не стою и не буду стоить никогда. Чего же мне больше! От Христа рожна, что ли? Нет, я и этим доволен чересчур. Не выручатся деньги, а платить в типографию будет нужно,— напишите: я тотчас вам деньги вышлю. А чтоб вас совершенно уверить и успокоить в исправном платеже, посылаю расписку. Еще меня на это станет: жив бог, жива душа. А если бы вы ее посвятили наследнику, кто бы был счастливее меня во всей России! Но это мысль несбыточная. Впрочем, пора издавать ее или нет, как издавать, поспеет ли она кстати или вовсе погодить,— мне отсель узнать трудно, но я во всем отдаюсь на вашу полную волю: как хотите, так и делайте.

Вы ничего не пишете, отчего именно не могли войти в «Современник» мои пьески? Тут что-нибудь должно быть другое. Меня сильно беспокоит эта тайна [4], а вы скрываете; пожалуйста, объясните просто. Я к вам пристал, как арипей: требую и того и того, а какое имею право и чем заплачу? Ничем! В своем «Литературном прибавлении», какие угодно вам будут, поместите мои пьески; я буду душевно вам благодарен.

Вы думаете, кончил? Нет! я еще собираюсь вас просить... Уж эти мне просьбы, просьбы! Самого ножом на части режут; и неловко и совестно, а нужда говорит. Наш виц-губернатор Александр Яковлевич Мешковский [5], зять статс-секретаря Марченко, теперь у вас в Петербурге. Зачем,— бог его знает; только по моему делу до сих пор ничего делать не начинал. Нельзя ли через кого-нибудь его вам попросить кончить мое дело поскорее? Бога ради, не оставьте! В деле вы приняли участие и много уже благодетель-

ствовали. «Отшельника»[6] посылаю при сем; поместите куда-нибудь.

Я собрал несколько пословиц; но не знаю, какие мне именно записывать: какие попало или каких нет у Богдановича и Снегирева «Русские в своих пословицах»[7]. Если кроме их, то собирать трудно и мало разбросано в людях. Для совета я приведу их в порядок и, если велите, пришлю к вам. А песни, какие и волочатся, то просто все беспутные, из них посылаю вам посмеяться при сем[8].

Но более всего меня останавливают от занятий литературных дурные обстоятельства нашей коммерции. Дела торговли все худшают. Скотом прошедший год торговали дурно. Сало продали 11 руб. 25 к. за пуд, кожу бычью — 13 р., говядину обрезную продаем 2 р. 50 к., и 2 р. и 1 р. 50 к. за пуд. Дровами торговля посредственная. Хлеб у нас: мука оржаная 3 р. 50 к. четверть, овса 1 р. 80 к. четверть, пшено 1 р. 40 к. мера, крупа 80 к. мера, гречиха 3 р. четверть, пшеница 8 р. 50 к. и до 10 р. четверть.

Душевно желаю вам быть здоровым. С истинным почтением имею честь пребыть ваш покорнейший слуга

Алексей Кольцов.

1837 года, февраля 12 дня, я, нижеподписавшийся, дал сию расписку его высокоблагородию Андрею Александровичу Краевскому в том: сколько будет им истрачено своих денег на издание моей книги, обязуюсь я таковые деньги, по первому его требованию, немедленно заплатить, в чем и подписуюсь. Воронежский мещанин

Алексей Кольцов.

15. А. А. КРАЕВСКОМУ

13 марта 1837 г. Воронеж

Добрый и любезный Андрей Александрович!

Александр Сергеевич Пушкин помер; у нас его уже более нету!.. Едва взошло русское солнце, едва осветило широкую русскую землю небес вдохновен-

ным блеском, огня животворной силой; едва огласилась могучая Русь стройной гармонией райских звуков; едва раздалися волшебные песни родимого барда, соловья-пророка...

Прострелено солнце. Лицо помрачилось, безобразной глыбой упало на землю! Кровь, хлынув потоком, дымилася долго, наполняя воздух святым вдохновеньем недожитой жизни! Толпой согласной соберитесь, други, любимцы искусства, жрецы вдохновенья, посланники бога, пророки земные! Глотайте тот воздух, где русского барда, с последнею жизнью, текла кровь на землю, текла и дымилась! Глотайте тот воздух, глотайте душою: та кровь драгоценна. Сберите ту кровь, в сосуд положите, в роскошный сосуд. Сосуд тот поставьте на той на могиле, где Пушкин лежит [1].

О, лейтесь, лейтесь же ручьями
Вы, слезы горькие, из глаз;
Нет больше Пушкина меж нами,—
Бессмертный Пушкин наш угас! [2]

Слепая судьба! Разве у нас мало мерзавцев? Разве, кроме Пушкина, тебе нельзя было кому-нибудь другому смертный гостинец передать? Мерзавцев есть много,— за что ж ты их любишь, к чему бережешь? Мерзавка судьба!.. Творец всемогущий света! Твоя воля, твои советы мудры; но непостижим нам твой закон!..

К вам, любезнейший Андрей Александрович, есть у меня просьба. Нельзя ли потрудиться сказать господину Плюшару,— выслать мне кое-какие книги. Сколько денег за них,— по присылке тотчас я пошлю. А книги иметь вот какие мне хотелось:

Новое издание «Отелло, венецианский Мавр», Шекспира;

«Сказания русского народа о семейной жизни его предков», Сахарова, 1836 г.; [3]

«Недоросль» Фонвизина;

Новый курс философии Жеразе, 1836 г.; [4]

Руководство к истории литературы, соч. А. Вахлера, с немецкого. 2 части;

«Двумужница» Шаховского;

«Серапионовы братья» Гофмана.

Желаю вам здоровым благополучно убивать время в божьем мире. С истинным моим почтением и преданностью имею честь пребыть вас любящий и почитающий покорнейший слуга

Алексей Кольцов.

16. А. А. КРАЕВСКОМУ

16 июля 1837 г. Воронеж

Добрый и любезнейший Андрей Александрович! Давно я к вам не писал ни строчки; дурно, сам знаю, и каюсь перед вами. Не то чтоб не хотел,— боже упаси! Но хлопоты, но дела, но неприятности,— вот мои друзья, которые так прилежно за мной ухаживают и день и ночь; вот мои друзья, товарищи, сослуживцы! Бог знает, когда они от меня отстанут; с ними я хожу, лежу, и ем, и сплю. Досадно, мочи нет! а помочь горю нечем! Да, в настоящем мы горюем, в будущем ждем лучшего; приходит будущее и — хуже старого в семь седмериц. Вы думаете: какие дела? Пустые, гражданские? Нет, торговые, торговые дела дурны,— вот что! За что ни возмись, валится все из рук,— хоть плачь! Что купишь, думаешь: барыш! Ан нет: убыток да убыток. Сказать вам откровенно? Этот чертов убыток уж как не хорош! Жуешь-жуешь, никак не проглотишь, так в глотке колом и становится! Ледащий малый этот убыток, черт с ним совсем! Старая песня,— в сторону! Ей, черт с ней! Ею только вам можно наскучить. Сем, поговорить о другом,— и дело пойдет глаже.

Я к вам давно не писал, во-первых, за делами, во-вторых,— стыдно сказать!— ничего не успел написать, ничего. Что делать? — выносишь. Не живи, как хочется,— живи, как бог велит! Право, нет время, или, лучше сказать, время свободного имею я много, да так всегда мысли расстроены, что не лезет ничего в голову; а что и лезет, то черт знает что такое: ни медведь, ни человек, а так какой-то кавардак. Стоишь, думаешь-думаешь, да и сядешь на пень: ноги свесишь, голову повесишь как дурак. Теперь, с горя, принялся, как говорили вы мне, собирать русские на-

родные песни [1]. Присказками-то я вас уже употчевал, чай, не захотите в другой раз: больно солоно! [2] Что вы до сих пор не сказали об них ни слова? Да, кажется, никогда не скажете ничего. А об Януарии Михайловиче и слух совсем застыл: слышал мельком, что поехал он в чужие края путешествовать. Дай бог ему здоровья, в добрый час! После присказок я теперь собираю народные песни, и уж собрал немножко. Это дело, кажется, лучше. Вот из них одна [3]. Посмотрите, если она хороша, поместите где-нибудь, а нет,— в огонь! Перегорит да выгорит, так лет через сто будет славная песня.

Впрочем, скажу вам, не ждите: в нашем народе лучше этой-то и нет. Я их переслушал много, да все, знаете ль, такая дрянь, что уши вянут: похабщиной битком набиты. Стыдно сказать, как наш русский простой народ бранчив. Если же они вам приглянутся,— напишите, я их еще к вам пришлю: есть в сумке про запас, и собирать буду. Но уж какая скука их собирать! С этими людьми, ребятами, сначала надо сидеть, балясничать, потом поить их водкой, и пить с ними самому зачеред; потом начать самому им пропеть песни две [4]. А я петь большой мастак! Если бы кто послушал, нахохотался бы досыта, по горлушко. Потом они затянут, ты с ними же, пишешь и поешь! Приезжайте, послушайте, любезнейший Андрей Александрович! Ей-богу, смешно: черевушки порвете! А иначе ничего не сделаешь,— хоть брось. Только и я за них принялся крепко: что хочешь — делай, а песни пой: нам надобны!

Седьмого июля был у нас, в Воронеже, дорогой гость, великий князь, и с ним Василий Андреевич Жуковский [5]. Я был у него, он меня не забыл. Ах, любезный Андрей Александрович, как он меня принял и обласкал, что я не нахожу слов всего вам пересказать. Много, много, много,— и все хорошо, прекрасно! Едва ли ангел имеет столько доброты в душе, сколько Василий Андреевич. Он меня удивил до безумия. Я до сих пор думаю, что это все было со мной во сне, да иначе и думать невозможно. Жаль, что не могу всего рассказать вам подробно; словом, чудеса!.. Дай бог ему доброго здоровья. Я благоговел перед ним. Приезд Василия Андреевича в Воронеж много

меня осчастливил. Не только кой-какие купцы, и даже батенька не верил кой-чему, теперь уверились. И ничего, слава богу! Много бы, много вам об этом надобно поговорить, да не могу; душа чувствует, да высказать не может. Словом, мне теперь жить и с горем стало теплей дюже. Желаю вам доброго здоровья. Всем, кого увидите из моих добрых знакомых, засвидетельствуйте почтение; я всех их свято помню. С истинным моим почтением и преданностью, ваш покорнейший слуга

Алексей Кольцов.

17. А. А. КРАЕВСКОМУ

28 июля 1837 г. Воронеж

Добрый и любезный мой Андрей Александрович! Не получая ответа на посланную вам песню, теперь посылаю другую. Ответ мне ваш нужен в теперешнее время потому более, что я, как вам уже писал [1], принялся собирать русские народные песни пристально. Но, может быть, они вам или не понравятся, или нет, какие бы нужно собирать; следственно, труд мой будет в таком случае совершенно напрасен; а их собирать и копотко и трудно; притом мне, без ваших наставлений, самому потрафить трудно. В Воронеже не то, что в Петербурге. Там показал тому-другому, выслушал мнение и, благословясь, валяй вперед! Здесь не то: у нас о словесных предметах доброго слова и на Рождество Христово не услышишь. Эту песню поют в Серпуховском уезде, в волости Хатунской, весною, в хороводе, с следующим порядком.

Хоровод становится в круг; берут друг друга за руки девушки и молодцы; в средине хоровода один парень становится в венке, расхаживает, поет и пляшет:

Сронил я веночек; —

здесь он снимает с себя венок и бросает наземь. Он над ним стоит; хоровод ходит — поет до «Ты стой, моя роща». Здесь он поднимает венок, надевает на

голову, вновь ходит, пляшет и поет; и во второй раз повторение делают так же. В третий раз сначала тоже:

Девушка идет,
Красная идет,
Веночек несет,—

хоровод становится, поет; одна девушка из него выходит, поднимает венок, надевает на молодца, или, как она говорит, на «хороводчика», целует его. И конец игре! Надобно заметить: так, как я ее записал, она имеет слова точные, из слова в слово; но поют в хороводе ее иначе. Все стихи у них повторяются несколько раз и большею частию перемешиваются; и есть при других стихах прибавление из гласных букв, частицы к стихам, например: *о, ай, оой, аой, ай-ой*. У меня есть она и этак списана, и очень верно. Буде угодно, я вам пришлю. Эта песня удивительно как хороша нá голос; жаль, что я не умею положить голоса [2].

Дела мои теперь торговые опять немножко получшели: прилив и отлив их беспрестанный. Вы, пожалуйста, не беспокойтесь, если я иногда вам пишу о них грустно. Часто тяготят они душу, грустишь, и об эту пору пишешь, к кому что должно и не должно,— без ума. Вам они кажутся, может быть, новы, а мне ничего: и горе и радость должны иттить в этой жизни рука об руку,— так велел быть здесь наш хозяин! Теперь надеюсь заниматься кое-чем поприлежней: кажется, впереди много свободного время. Вперед, вперед!..

Желаю вам, любезнейший Андрей Александрович, доброго здоровья. Януарию Михайловичу, если он в Петербурге, душевное почтение. С истинным почтением и преданностью честь имею пребыть ваш покорнейший слуга

Ал. Кольцов.

У нас погода жаркая, чудесная для уборки хлеба. Объеденье! Хлеба очень хороши, а уж погода — чистая, ясная, теплая, горячая... Чудеса!

18. А. А. КРАЕВСКОМУ

15 декабря 1837 г., 2 часа ночи, за полночь, Воронеж

Милый и любезный Андрей Александрович! Горькому горькая песенка поется. Прежде, живя в этой жизни, ничем не наслаждаясь, я все думал: «Время наше впереди, будет праздник и у нас! Пусть их живут, а мы еще успеем: потрудимся, поработаем, как бог велел, устроимся и пойдем плясать!» Хорошо. Пришла пора. Затянул песню и я, да горькую; пошел и в пляс, да не казачка в обмитку, а пародию медведя на привязи [1]. Это — предисловие к теперешней моей драме. Мой золотой век кончился: я его прожил у вас, между вами, в Петербурге [2]. После все не так, все наперекор: ты от беды ворота на запор, а беда лезет через забор. Торгую дурно. То дело еще не кончилось; тянут, мучают, жмут и конца не становят,— хоть бы черт их взял! Что, вам грустно? Вы жалеете обо мне? Не жалейте: это ничего, я уж обтерпелся, привык. Захочет, само пройдет! Бог не без милости, казак не без счастья. За ночью день уж должен быть, а ежели захочет ночь его скушать,— подавится! Горе, забота, дела и это все — вдруг! Конечно, неловко; но все бы ничего, когда бы, за всем этим, у меня было время заниматься, чем мне хочется. Его-то нет,— вот беда! Вы думаете, я говорю это к тому, что, дескать, за этим-то мы давно к вам ничего не посылали, ничего не писали, что-де дурные обстоятельства все останавливали? Э, нет, ей-богу, нет! Несмотря на все мои антипатические обстоятельства, я все-таки читаю и пишу по-прежнему, конечно, не столько, сколько бы мог, пользуясь свободой, но все же пишу хоть малость. У нас теперь есть: и «Ура», и «Царство мысли», и «Две жизни», и «Пора любви», «Два прощанья», и «Весна», и «Грусть удалова» [3], и «Песни Кудрявича», и «Человеческая мудрость», и «Лес». Вот как! чуть ли и не очень довольно.

Теперь спросите, почему же я их к вам не посылаю? Вот почему: на все мои посланья вы мне ничего не писали; так я теперь и боюсь! Ведь что у вас там на уме,— я не свят дух: хороши ль они, как вам кажутся,— бог весть! Но за то, что вы ко мне не писали, я ведь не сержуся,— боже меня сохрани! Раз-

ве меня взбесит. Что вы заняты и день и ночь по уши, я знаю, и очень хорошо знаю; и вам часто скучать этой вздорной перепиской бессовестно. Но погодите; я скоро еду из Воронежа далеко и надолго [4]. Погодите, дайте улизнуть, авось буду свободней; тогда оттоль буду писать больше и сообщу вам все дочиста. Теперь же, прошу вас, и не пишите: я еду, и еду скоро. Как это будет хорошо! Воронежские новости: у нас в городе на 1838-й год «Литературное прибавление» будут выписывать человек десять, а «Библиотеку» многие, какие выписывали прежде, не хочут выписывать теперь. И слава богу! Василию Васильевичу Григорьеву, прошу вас, засвидетельствуйте большое почтение, и всем моим милым знакомым почтение. Любящий вас всей душой

Алексей Кольцов.

19. В. Г. БЕЛИНСКОМУ

[2 февраля 1838 г. Петербург]

Любезнейший Виссарион Григорьевич! Простите, бога ради, меня, что я так долго ничего не писал к вам. Не думайте, что я забыл ваше поручение,— нет, боже сохрани, этого греха я никогда противу вас не сделаю; а так, были мои мелкие расчеты, и даже было вот как: приехав в Питер, два дни разыскивал квартиру Полевого, взял адрес в субботу; неверен,— не нашел; в воскресенье лавки заперты, в понедельник не застал, во вторник поутру — дома. Я подал письмо, посылку. Он принял меня очень ласково, даже весьма ласково и радушно, как будто мы с ним были знакомы два года. Было часа три. Сначала он все извинялся, что недосуги, хлопоты, устройство дел журнальных, новая партия, новые люди, знакомства, распорядок новый журналов мешали писать к вам; а все сбирался, и завтра, и завтра,— и вот до этих пор не писал. «Я его люблю и почитаю, как доброго и умного человека: он такой прекрасный, такой милый, любезный человек, я это знаю. Но вот — что ж будешь делать — обстоятельства все воротят по-своему; думал, думал — покорился опять на время им, хотя бы это и не кстати, не в пору. И мне уж, старику, сорок два года; я бы что-нибудь написать мог свое —

у нас в мире так много прекрасного, есть вещи, которые душа хочет выполнить,— а вот, несмотря ни на что, я работник на пять лет; да, пять! — еле роли пройдут. Я теперь старик, а тогда мне будет сорок семь лет; а тут цензура все-так и придирается: у людей хуже сходит, у меня — нет, вымарывают да и только; беспрестанно должен ездить сам; об всякой малости говорить, объясняться».— «Как это бог вас управляет, Николай Алексеевич?» — «Что ж делать? — крайность».— «Николай Алексеевич! Виссарион Григорьевич меня просил узнать у вас о его статье, разбор «Гамлета».— «Да, я ее получил давно,— да ведь видите, сам я не знаю, что с нею делать».— «Что ж, разве дурная статья?» — «Нет, она статья прекрасная; да сначала я получил от него немного,— думал в «Пчеле» напечатать, номерах в трех,— смотрю, валит огромная другая,— вот она, посмотрите,— ведь ужас как велика!» — «Да, точно, статья большая».— «Ну, вот, мой любезнейший, я теперь и не знаю сам, что мне с ней сделать [1]. Поместить в «Пчелу», так куда — она займет номеров тридцать, а в «Сын отечества», так уж в «Пчеле» напечатано начало; это, мне кажется, неловко; да и подумают, что ж это такое? там начало, здесь продолжение. Положим, это все бы ничего,— да вот что мне не нравится, посмотрите; я не знаю, что он за чудак такой; пишет, да и только — посмотрите, бога ради — целые монологи, целые сцены из «Гамлета»; для чего это — не знаю, ведь «Гамлета» все знают. Довольно б, кажется, было два-три стиха для примера, а ниже сказать «и прочее, вот докуда». Опять, я перевел «Гамлета» [2], я издаю журнал, и у меня же такой разбор; могут подумать: видно, попросил. Если б и хотел он так, то уж лучше бы было ему из подлинника брать по-английски что-либо. После этого и с первым напечатанным началом много было мне хлопот; так вот и смотрят, ни с того ни с сего: то нейдет, то нельзя; а во всей статье много есть выражений, которые вовсе не понравятся, и я их не хотел бы передавать; а выкинуть сцены, переменять слова самому, без согласия,— так вы ведь знаете Белинского и его самостоятельный характер. Вот почему я ничего с ней не делаю».— «Пожалуйте ж, Николай Алексеевич, ее мне,

он меня просил прислать ее к нему обратно».—«Нет, я вам ее не дам, а сначала с ним перепишусь, что он мне на это скажет».—«Ну, так, пожалуйста, напишите ему поскорей».— «На этих днях непременно напишу!» — «Поспешите ж, Николай Алексеевич, он ждет от вас письма с нетерпением».— «Да, я знаю; почему мне бы хотелось, чтобы он сюда приехал, и мы там с ним говорили, да вот видите ли, любезнейший Алексей Васильевич, и этого мне теперь сделать нельзя, еще мои дела не так устроены; там-то мы думали так, а здесь совсем вышло наоборот[3]. Я и хочу с этим вот как сделать: буду его просить, чтобы он после святой приехал ко мне так. Квартира у меня ему есть; кушать, слава богу, есть что; живи он у меня хотя целое лето, я буду душой рад, как другу; я его почитаю и уважаю. Мы будем с ним гулять по Питеру, смотреть диковинки, людей, показывать себя, беседовать, а что он напишет, я буду помещать в журнале и платить деньги. И мне будет это очень, очень приятно; а если ему полюбится, то он может остаться и жить здесь постоянно. Мне кажется, так сделать будет ему лучше, а мне бы такой сотрудник необходимо нужен. Да все дела-то не устроены, беда. Бог знает за что, косятся на меня — да и только. Все наши старые проказы[4] довели до этого. Как тогда я был глуп, что увлекался пустяками: ничего да ничего,— а это ничего и поныне никак не сотрешь; нужно поселить о себе невыгодное мнение, так уж трудно его переменить». Вот как отзывается о себе, о вас и о вашей статье Николай Алексеевич Полевой; я нарочно, как просили писать прямо, пишу все его слова, как он их говорил мне. Прощайте, любезнейший Виссарион Григорьевич! Любящий вас душою

Алексей Кольцов.

На это письмо к Полевому писать погодите; он велел мне быть у него через два дня, я буду, и к вам напишу тотчас; тогда будете писать,— так нужно. Михаилу Александровичу[5] почтение от души. Мой адрес: на Литейной, в Басковом переулке, в доме г-жи Титовой, № 11, во втором этаже. Его благородию Ивану Васильевичу Бондаревскому; мы с ним вместе.

20. В. Г. БЕЛИНСКОМУ

[14 февраля 1838 г. Петербург]

Любезнейший Виссарион Григорьевич! Станкевич, Неверов и Грановский через почту пишут письма к Григорьеву,— письма из-за границы. Как видно, живут они весело втроем. Здесь Григорьев выхлопотал для Неверова, чтобы его в Берлине приняли в университет на казенный счет слушать лекции два года. После он приедет в Россию; после испытания дадут профессорство,— это для Неверова, слава богу, хорошо; а Плюшар из редакции «Лексикона» ему не платит денег до семисот руб., а ему деньги там нужны. Вчера у Венецианова [1] за обедом пили здоровье в день рождения Неверова.

2 февраля был в Петербурге славный день, какой едва ли был когда в России: по соизволению царя делали юбилей Крылову, праздновали семидесятилетие его жизни и пятидесятилетие его трудов на литературном поприще. Только не был Сенковский, будто за болезнью; Греч отказался и Булгарин; за это им был строгий выговор [2]. Полевой был. На него напал кто-то и, как он говорит, чуть не прибил; да спасибо, развел их кн. Одоевский,— так говорил Полевой. Вы ему ничего не пишите об этом, а то он будет на меня серчать. Полевой спрашивал об «Уголино». Я ему сказал ваше мнение [3] и как оно было принято; это ему не показалось. О «Гамлете» спрашивал, я сказал, что сумел. Впрочем, ему более нравится игра Каратыгина, нежели Мочалова [4].

Я был на «Гамлете» в Питере, и вот мое мнение: Каратыгин человек с большим талантом, прекрасно образован, чудесно дерется на рапирах, великан собою; и этот талант, какой он имеет, весь ушел он у него в искусство, и где роль легка, там он превосходен, а где нужно чувство, там его у Каратыгина нету,— извините. Например, сцена после театра, монолог «быть или не быть», разговор с матерью, разговор с Офелией: «удались от людей, иди в монастырь»,— здесь с Мочаловым и сравнивать нечего: Мочалов превосходен, а Каратыгин весьма посредственный. У Мочалова немного минут, но чудесных; у Каратыгина с начала до конца вся роль проникнута искусством.

Полония играл Сосницкий;[5] но Сосницкого и сравнивать нечего с Полонием московским: тот уж дурен, а этот превосходен, так что его роль второстепенная противу Гамлета, а он на сцене с Каратыгиным равен,— как будто эти две роли обои первостепенные. Асенкова в Офелии, до безумия,— лучше Орловой[6], а безумная Орлова — вдвое лучше; это оттого, что у Орловой более чувства, у Асенковой более образованности. Король — Брянской прекрасно выполняет свою сухую роль, и противу Орлова впятеро лучше[7]. Лаерт петербургский сносен, а в Москве дурен[8].

Я говорил про это Полевому; он со мною не согласен. Его мнение, что актеру нужно иметь природный талант и вместе с тем надобно обладать искусством, для этого нужно учиться и образовываться. Каратыгин у него таков, а Мочалов и с талантом, да не образован; у него больше чувства, менее искусства.

Был на опере «Жизнь за царя»[9], и, говоря про оперу, я совершенно согласен с Михайлом Александровичем, он на нее смотрит с настоящей точки умозрения. Был на опере «Жидовка»[10] (в немецком театре). Эту оперу надобно посмотреть: она не то чтобы была прекрасная опера, полная: отчетливости в полном смысле слова этого в ней нет; но надобно посмотреть, как господа немцы ее выполняют удивительно; все первые роли выполняют неимоверно хорошо; певцы чудо, певицы прелесть. Да, надобно чаще смотреть немецкую оперу.

Теперь о самом себе. Жуковский принял меня два раза что-то очень холодно, так что к нему пойду разве по делу или проститься. Вяземский тоже холодней прежнего, даже сух. Одоевский вдвое ласковей прежнего. Плетнев впятеро ласковей прежнего, приглашал на вечер к себе, и я был[11], отдал ему в «Современник» «Царство мысли» и «Два прощанья»[12]. Краевский поважнел и погордел, и немного суше; говорил о книге, что она ходит по книгопродавцам, никак он с ними не сладит, все прижимают, оттого более, что он у ней человек посторонний, и не лично я. Видно, он хотел употребить меня на сделку с ними, поклонничать и пресмыкаться, а я сказал, что я очень рад, что она еще не напечатана[13], и благодарю вас за то,

что вы дождались меня. С него рукописной [14] еще не брал, да возьму. «А почему вы, Андрей Александрович, не помещали моих стихов в свой журнал? — я вас просил в письме».— «Да, видите ли, книга небольшая, много из ней напечатано, не хотелось вырывать последнего хорошего».—«Может быть, не стоят быть в вашем журнале?» — «О нет, там есть несколько вещей хороших». Я ему отдал «Ура» и «Пора любви»; [15] все-таки по старой дружбе я счел отдать лучше. Жуковскому передал «Ура», он ничего на нее не сказал. Познакомился с Давыдовым, партизаном, он ко мне хорош. Губер ходит около журналистов из-за хороших рецензий; он отдал в печать «Фауста». Я немного читал, перевод дурен [16], они у него сами выбирают из всего лучшие места для журналов. Бенедиктов ко мне не холоден, лучше прежнего, дал 2-ю часть своих стихов [17]. Полевой подарил «Гамлета». Гребенка также дал свои «Повести пирятинца» [18]. Бернет прислал свою книгу, стихи, с тем, чтобы я ему сделал на нее беспристрастное суждение; только оно будет не в его пользу [19]. Другие мои знакомые все те же: добры и ласковы.

Да, новость: я в этот раз вдвое поумнел противу прежнего; так славно толкую, говорю уверенно, спорю, вздорю, что беда. Риск — благородное дело. Я с важными, учеными людьми толкую, спорю, пускаюсь в суждения и убеждаю их на своем мнении. Виссарион Григорьевич, Михаил Александрович, как думаете?—ведь, право, смешно! Чего на свете нет! В первый раз я все больше разыгрывал молчанку, а теперь — дудки. Нет, братцы, лихо говорю; это правда, что оно поподручней; а мне, ей-богу, что-то хочется и самому кой-кого из молодежи одурачить; пусть наши копыты помнят.

21. В. Г. БЕЛИНСКОМУ

21 февраля 1838 г. [*Петербург*]

Любезнейший Виссарион Григорьевич! Теперь речь пойдет о вашей грамматике [1]. Н. А. Полевой говорит: «Вот и этим я бы был душою рад помочь ему;

готов сделать все, что только можно, а посудите сами, что я вовсе не могу ничего сделать. Во-первых, ежели я скажу о ней Смирдину, буду хвалить, я, как человек новый для него и не очень давно знаком,— ну, сам по себе, как человек, я в деле словесности немножко известный,— то Смирдин предложение мое, я уверен, примет; но вполне он мне ведь не поверит, а у него есть другие знакомые, например, Булгарин, Сенковский, Греч. Посудите же: что на это скажет Греч, тут не трудно догадаться [2]. Смирдин же как человек — купец, спекулятор; он только имеет одну предприимчивость, а сам в том деле не смыслит. В таком случае я Виссариону Григорьевичу помочь ничем не могу, хоть бы и предложил Смирдину. Во-вторых, эти вещи пишут люди, близкие к самому делу, или которые имеют вес и живут в этой сфере. Они видят, что нужно; в каком роде ученая книга пойдет, в том и пишут; и такие, какие в учебных заведениях приняты и употребляются, по тем правилам, какие преподаватели понимают. Белинского ж грамматика совсем другого рода, сделать по ней новое введение трудно. Следственно, и Смирдин, купивши,— она у него ни в каком случае пойти не может. «Она,— как он говорит,— для детей, а вовсе не детская; это грамматика более философская. Дети ее не поймут, а взрослые немногие читают. Притом в ней много отвлеченности; он человек странный, чудак большой: пишет то, чего у нас еще не понимают. Вот почему я ничем пособить не могу». Я к вам пишу, Виссарион Григорьевич, прямо, как говорил Полевой, потому что вы велели мне все писать, что он скажет. Из этого всего, по моему мнению, выходит вот что: насчет грамматики Полевой не хочет сказать Смирдину ничего и, может быть, по его обстоятельствам не вовсе может. Статью вашу о «Гамлете» [3] напечатает тогда, когда вы позволите ему ее переправить, или я ее возьму у него и вам отошлю, если вы ему этого не позволите сделать. Сотрудником вам быть у Полевого нельзя до время [4],— и это одно, как он мне говорил, чистая правда, этому вы верьте; а быть вам у него летом, жить как друзья, помещать статьи как от человека, не участвующего и постороннего, это тоже лучше,— и он насчет этого говорит сущую правду.

Еще говорит Полевой, что «Белинскому непременно надобно себя образовать более, а для этого он лучшего места не найдет, кроме Питера. Если он приедет сюда, то совершенно со мною согласится. Я сам, живши в Москве, думал иначе, а здесь совсем другое, куда! Мне тоже необходимо переменить себя во многом надобно. Мы совершенно отстали далеко от современных новых понятий: необыкновенно как все идет скоро вперед; направление за направлением следует навскачь». (А правда ль это — не знаю.) «Я знаю, его нельзя в том уверить, а вот приедет ко мне сам, тогда я уверен, что он убедится в этой необходимости».— «Он человек добрый, умный весьма,— часто повторяет,— да жаль, что пишет вычурно; мысль прекрасна, ума море, да кой-какие беспрестанно вставляет вещи, которые совсем не следует». Вот теперь, кажется, все слова Полевого касательно вас; я их слушал со всем усилием понятия. Мне жаль до смерти, Виссарион Григорьевич, что вас в другом письме кормлю одними неприятностями. Досадую, что я в такую погоду попал в невыгодные для вас переговоры. И если б знал, ей-богу, не взялся бы писать; но вы велели писать все; хоть с неохотой, пишу.

Я у Полевого еще не был, буду завтра; вы погодите к нему писать. Сначала я от него все мнения отберу, потом вам их напишу, без утайки: тогда вы все сами увидите безошибочно, а то, может быть, вы его поймете не так, как бы поняли после. А я придумал у него спросить еще кое о чем.

Краевский о вас говорил, что Белинский большой негодяй, пишет черт знает что [5]. «Он мне прислал две статьи [6], просил поместить в журнал, и чтоб участвовать сотрудником. Но его статьи никуда не годны. Человек начал писать о том, повел речь вовсе о постороннем; потом завлекся, что и не поймешь. Сделал мне предложение, чтобы в журнале быть вроде панибрата. Я ему пишу, что в этом журнале хозяин я,— а другого нипочему не надобно, и я, брат, в тебе не нуждаюсь».

Гребенка с Прокоповичем говорили при мне о вашей грамматике так: «Его грамматики начало очень хорошо, а после он сам срезался, пошел говорить черт знает о чем, ввел бездну посторонностей, совсем не-

нужных, и заврался напропалую. И она не детская, а для знающих не нужная. Что-де самая хорошая грамматика в свете — большая Греча; Греч великий человек.— А все-таки жаль, что другой части он не печатает: [7] посмотреть бы любопытно, что в ней у него там за диковинки». Любящий вас душевно

Алексей Кольцов.

22. Н. А. ПОЛЕВОМУ

26 февраля 1838 г. [*Петербург*]

Мой любезнейший Николай Алексеевич!

Я рад, что вы забыли день, в который обещались быть у меня. Чрез это я имею у себя на память вашей руки записку. Ко мне ж прошу пожаловать в воскресенье 27 февраля,— это значит завтра, в вечеру,— чем много обяжете любящего вас всей душою

Алексея Кольцова.

23. В. Г. БЕЛИНСКОМУ

7 марта 1838 г. Питер

Любезнейший Виссарион Григорьевич! Извините, что я так долго к вам не писал. Причина: кой-какие хлопоты по делу, лень, а главное мне хотелось взять сначала у Полевого вашу статью, потом писать к вам.

Вчера я был у него, передал вашу записку, приложенную к письму; он ее прочел с не большой приятностью [1]. «Экой чудак, экой чудак этот Белинский; не знаю, что он хочет делать. Нате, вот она, пошлите к нему, когда уж он так хочет. Да, пожалуйста, будете в Москве, вы его образумьте».— «Хорошо-с, я это непременно сделаю». Теперь она у меня, и я вам ее не завтра, то послезавтра пошлю непременно. Сколько ж я проживу в Питере, ей-богу, сам еще не знаю; мои дела пока темны [2]. Вот, в пятницу, я узнаю о своем деле; буде оно кончится скоро, то я проживу две недели, а не скоро,— то гораздо более; смотря, на-

сколько оно растянется, настолько и мое житье здесь подлиннеет. Во всяком случае, я устрою так: попрошу Александра Васильевича Никитенку, чтобы вам к нему поселиться прямо[3]. Завтра буду у Плетнева, поговорю о ней; может, он возьмет в «Современник»[4]. А нет,— в четверг посылаю к вам. И я после того буду писать; следственно, вам и беспрестанно будут видны мои дела. У Краевского завтра ж спрошу о вашей статье. А мне еще кой о чем надобно говорить с вами много, да теперь почта мешает. Вы будете писать к Николаю Алексеевичу, то, пожалуйста, не пишите, что вы получили от него письмо через почту, посланное Кольцовым. Вы меня этим срежете; я его просто обманул,— сказал, что у меня знакомый земляк едет, я с ним и пошлю; а принес домой, печать долой, конверт в огонь, одел в свой и послал на имя Бакунина.

Михаилу Александровичу, Константину Сергеевичу, Василию Петровичу и г. Каткову душевное почтение. Любящий и почитающий вас

Алексей Кольцов.

24. В. Г. БЕЛИНСКОМУ

14 марта 1838 г. Питер

Любезнейший Виссарион Григорьевич! Вот когда я перед вами виноват, так уж просто виноват: неделя, как я взял статью[1] у Николая Алексеевича, и вот сегодня только посылаю. Для чего же я так медлил? Чем был занят? Черт ее знает, как все это случилось. Забыл? Избави бог! этого греха со мной еще не было. Главная, кажется, причина, что я со дня приезда в Питер как-то нездоров; от этого все время и дела у меня тянутся — и не в свою пору и медленно. Третьего дня был я у Краевского, говорил ему о разборе «Гамлета», и вот его ответ: «Пожалуйста, напишите вы Виссариону Григорьевичу, чтоб он ее пристроил к следующей игре московских актеров, например, вот как будут играть на святой неделе, и чтоб тотчас ко мне он ее прислал; тогда она будет нова, по времени, и напечатается в пору. И вместе с этим попросите его,

чтобы он уведомил меня, его ли статьи прислано одно начало под именем Быстрицкого; буде его, то чтобы он прислал мне и остальную,— я ее напечатаю с удовольствием, а одно начало печатать не буду». Я ему сказал, что Виссарион Григорьевич желает, чтобы его статьи были напечатаны с его именем. «На это я согласен с охотою. Еще напишите, буде у него есть своего сочинения повести, статьи ученые или чисто журнальные, то пусть ко мне присылает; я буду печатать их с его фамилией, и с большим, большим удовольствием; я не буду печатать от него только одного, разборы книг, а если бы и напечатал, то, во-первых, без имени, а во-вторых, и с переменою, что в них будет противу моих связей». Он что-то к вам вдруг получшел: то сперва бранил, а теперь другое дело. Я полагаю (может быть, впрочем, и ошибочно), что сперва он думал, наверное, что вы будете участвовать у Полевого, тогда казались ему страшны[2]. Я же, тонко не зная всех журнальных проделок, пишу вам, что слышал и кто что говорит.

В прошлую среду был я на вечере у Плетнева[3]. Там был Воейков, Владиславлев, Карлгоф, Гребенка, Прокопович и Тургенев. Зашла у них речь об вас. Воейков говорил: «Он малый действительно весьма умный, с талантом, но бедовая голова, увлекся в какую-то односторонность, и эта система его погубила».— «А какая?» — «Бог святой знает. Вы с ним знакомы?» — «Да, знаком».— «Как это вас бог свел с этим человеком?» — «Очень просто, я с ним знаком лет шесть».—«А, это другое дело». Скажу вам еще, что Николай Алексеевич, кажется, принимает на самого себя очень много небывалого, и что его сомнения не только о вас, но и о себе совсем несправедливы, и он сперва пужал себя, потом напугал меня, а я уж напугал вас[4]. Я ему поверил на слово безусловно, в этом состояла вся ошибка. Его, как и вас, не любит одна бездарность за один ум, а не за что другое. А может быть и то: Полевой хотел надуть меня, чтобы я надул вас. Если и не так, то все-таки его мнения отчасти несправедливы. О разборе «Гамлета» он мне просто наврал; это я уж вижу, как настоящий день. Говорит: в нем и то и то есть; а в нем ровно того-то и того-то нет. Его же не терпят некоторые еще и

за то, что он знаком с Булгариным и Гречем; с ними многие не хотят и встречаться.

Теперь речь другая. У Жуковского я был еще раз по своему делу; он ни то ни се. У Вяземского был только раз, он тоже ни то ни се. У Муравьева был раз; он тоже ни то ни се, и, кажется, он человек замаскированный, у него души немного, а чужая душа большая... Одоевский немного лучше, или ласковей. Он затеял речь о другом издании[5]. «Что? оно напечатано у вас давно?» — «Еще не печаталось».— «Так скоро думаете печатать?»—«Хотел бы скоро, да не имею средств».— «Да помилуйте, это бы, кажется, можно сделать как-нибудь иначе».— «Как же, скажите, ваше сиятельство!» — «Постойте,— вот мы соберемся, поговорим, да и поручим Краевскому».— «В прошедший мой приезд Краевский за это дело уже принимался»[6].— «Да, помню; что ж он, почему не выполнил?» — «Не знаю, думаю, одному показалось тяжело».— «Ну вот, что касается до денег, то я самый пустой человек».— «Я про это не смел и думать, ваше сиятельство». Вот вам кн. Одоевский. Всем большим людям я говорю: хотел бы, да средств не имею; а другим: погодить хочу, еще прибавлю, тогда уж разом. Жуковскому в первый раз отдал я «Ура» и «К милой»; он передал Краевскому[7]. Я говорю Краевскому: у меня есть то-то и то-то. «Приносите, пожалуйста, все».— «Постойте, дайте переписать набело, я все к вам принесу». А между тем без его ведома я отдал две пьесы Воейкову в сборник[8], три пьесы в альманах Владиславлева[9], две в «Современник»[10] Плетневу; три пьесы[11] оставил у Полевого, Краевский напечатал «Ура» с ужаснейшей похвальбой[12], надеясь еще печатать мои новые. Я после прихожу к нему. «Что ж, переписали, принесли?» — «Нет».— «Что же?» — «Да вот что, я кое-какие из них отдал».— «Куда?» — «Да вот туда-то и туда-то».— «Гм, для чего ж вы так сделали?» — «Да просят: совестно отказать».

За эти невинные проделки будете ли вы меня бранить или нет? Как вам угодно, а на мои глаза более мне не оставалось, кажется, делать, что я сделал.

По воскресеньям я обедаю у Венецианова[13], а иногда у Григоровича. Эти обои добрые люди; ко мне

ласковы, хороши и, кажется, любят. По вторникам бываю у Гребенки; он ко мне хорош. По средам у Кукольника и у Плетнева. Плетнев ко мне будто неподдельно хорош. По четвергам у Владиславлева; он мне сулит горы, а что-то даст? — По пятницам у Никитенки.— По субботам у моих земляков вечера их собственно, где бываем и мы. По понедельникам вечера у меня, и всех их было два. На первом были Полевой, Кукольник, Краевский, Булгарин, Бенедиктов, Гребенка, Бернет, Прокопович, Пожарский, Шевцов, Сахаров и моих земляков человек восемь. На другом — Владиславлев, Краевский, Никитенко, Григорович, Мокрицкой, Венецианов, Туранов, трое Крашенинниковых, Посылин, Бенедиктов, Гребенка, Бернет, Пожарский, Прокопович, Губер, Шевцов, Сахаров и земляков человек пять.

Вот каково, Виссарион Григорьевич! В Питере живем, и добрым людям вечера даем!

О душевной жизни вечеров моих и прочих не знаю, что вам сказать. Кажется, они довольно для души холодны, а для ума мелки; в них нет ничего питающего душу; искра божьей святой благодати не проникает. Молчанье в них играет первую роль; оттого-то, кажется, я и не последний. Тихий разговор по уголкам между двух-трех человек. Кругом диванного стола серьезный разговор о пустоши людей серьезных — не по призванью, а по роли, ими разыгрываемой. На них можно скорее приучить себя к ловкому светскому обращению, а ума прибавить нельзя ни на лепту. Завтра буду у Ишимовой; хочется посмотреть, что есть еще здесь.— Дело мое еще не кончилось; проживу в Питере две недели, а может, и больше; но только это будет против моего желания, а разве дело задержит. Вы еще успеете прислать ко мне «Гамлета», я его отдам Никитенке [14], и если его не успею обратно взять, то попрошу Никитенку отослать его в Москву. . . . .

. . . .

У Губера выходит история с «Фаустом». Он Пушкину отдал отрывок «Фауста» посмотреть; а после смерти его взял с поправками Пушкина и напечатал в «Современнике». Приехал Бек из Германии и говорит, что этот отрывок ни Губера, ни Пушкина, а его.

Он, бывши в Германии, перевел и послал его Пушкину в журнал, печатать. Хочет войти с претензией: а у Губера взят из цензуры и отдан печатать. Как они с этим: уладят? нет ли? — Владиславлев, Жуковский, Воейков затевают новый журнал на акциях. Воейков слишком меня просит дать ему еще стихов в другой сборник; сам завез третьего дня в подарок Муравьева «Странствования» три книги; [15] а вот сейчас был,— завез «Елену» Бернета и «Поучительные речи и слова» какого-то протоиерея. Что мне с ним делать, пожалуйста, скажите. Милому Михаилу Александровичу душевное почтение, Василию Петровичу душевное почтение, г. Каткову и Константину Сергеевичу Аксакову душевное почтение и поклон до земли. Теперь буду писать чаще: кажется, впереди пойдет время посвободней.

Теперь прощайте, любезный мой Виссарион Григорьевич, будьте здоровы, веселы, и дай вам бог всех благ земных и небесных. Всей душой почитающий вас

Алексей Кольцов.

Об «Уголино» говорил Краевскому [16], он сказал: я сам написал и уже печатаю на него разбор.

25. А. А. КРАЕВСКОМУ

30 марта 1838 г. [*Петербург*]

Любезный Андрей Александрович! В последний раз, как были у меня, забыл я вам сказать, где тетради, отданные мною Василию Андреевичу Жуковскому. Переданы им Петру Александровичу Плетневу, и он из них хотел напечатать в «Современнике». Если вы увидитесь с ним, покорно прошу вас поделить их надвое: половину напечатайте в «Литературных прибавлениях», а другую оставить у Петра Александровича. В этих делах я так близорук и глуп, что, ей-богу, совестился об этом и сказать-то вам. В последний раз, при расставании, Кукольник взял у меня «Неразгаданную истину» — думу и «Могилу» — думу. Ей-богу, я не нашелся иначе ничего сделать, как поскорей отдать. Судите сами! В первый раз он мне ска-

зал: «Дайте». Ну, как же мне не дать? Ведь было б стыдно мне и совестно. Впрочем, у вас и кроме их еще останется весьма много. Любящий и почитающий вас

Алексей Кольцов.

26. НЕИЗВЕСТНОМУ ЛИЦУ

9 апреля 1838 г. [*Москва*]

Ваше превосходительство, Александр Александрович! Мне дал бог при рожденье одно бедное богатство: прошу вас, по доброте души вашей, не откажитеся принять с этой маленькой книжонкой и мою душевную благодарность за принятое покровительство в моем деле. Вашего превосходительства покорнейший слуга

Алексей Кольцов.

27. В. А. ЖУКОВСКОМУ

2 мая 1838 г. Москва

Ваше превосходительство, добрый вельможа и любезный поэт Василий Андреевич! Снова нарушаю ваш покой, снова, может быть, в эту минуту я прерываю священных ваших трудов любимые мечты, которыми с давнишних пор воспламенял и теперь воспламеняю мою холодную душу. Не нарушать, молиться б, молиться б мне за них должно... Думал ли я когда-нибудь делать так, как делаю теперь?.. Люди! до чего вы меня довели! Что не принудили сделать? Куда направите еще?.. На все готовы вы, на все без исключения, вам все равно, что будь, не будь, лишь было бы смешно; чужое ж горе не упадет на вашу грудь горячей сталью, и искра божьей мысли не доищется в ней чувства... Бог с ними! Пущай теснят,— я их люблю, хоть эта любовь для света и небольшая важность. Бывало, в тесной моей комнатке поздно вечером сидел один и вел беседу с вами, Пушкиным, князем Вяземским и Дельвигом. Как хорошо тогда мне было! Какою полной жизнью жила моя душа в беспредельном мире красоты и чувства! На легких крылах вашей фантазии куда не уносился я мечтою! Где не был я

тогда! Бывало, скоро свет, а я сижу да думаю, не сводя глаз с портретов ваших: как хороши эти люди, боже мой! как хороши! Где ж живут они?.. Небось в Москве да Питере? Где это Москва да Питер? Ох, если б мне удалось побыть в них! Уж как-нибудь, а посмотрел бы я из них хоть на одного. Пришло время, был я на Москве и на Питере, видел всех милых мне людей издавна, был у вас, благоговел пред вашею святынею... В самую счастливую пору моей жизни что ж сделала со мной судьба? Наваливши на меня груды дрянных дел, заставила прибегнуть под ваше покровительство. Тяжело мне было приходить к вам с моей нуждою; тяжело мне было говорить о ней, тяжело мне было просить вас, особенно в последний быт мой в Петербурге,— просить, и в ту же пору знать почти, что вам не до меня, знать, что вы заняты больше обыкновенного, и как это нужно... И в эту-то пору необходимость меня заставила ходить к вам, мешать, просить вас. Проклятая судьба! До чего ты не доведешь человека?! Одно только утешало меня в это время, что не дьявольский умысел, а крайность так велела делать: старость отца, дурные его дела, в которых он запутан, его честное имя — все мое настоящее, а может быть, и будущее богатство. Скажут: «Плати». А денег нет. И где взять? Негде... Пуще всего еще страшит меня одна мысль: если лишат всего, и если случай приведет явиться к вам того человека, которого вы так много обласкали, которому покровительствовали,— придет [он] к вам, измаянный весь горем, оборванный, зимой в летнем платье... О, дай бог, все претерпеть, но не дожить до этой встречи...

Простите меня, ваше превосходительство; не новая беда говорит вам в первый раз все чистосердечно, но душевная моя благодарность. Признаюсь, я всем теперь так беден, что, кроме чувства души, благодарить вас не могу ничем больше... Данное вами письмо к О... и письмо князя Вяземского имели полное влияние на мое дело. О... П... и М... [1], прочитавши дело, сказали, что, сделавши один раз, мы не можем переменить нашего решения, вследствие пристрастного заключения М..., которым он сам себе противоречит. Они утвердили первое заключение министра и свое решение, и чрез две недели пошлют его

опять к двуличному и неприступному для меня Гамалею [2]. Бог ведает, что будет, но я надеялся и надеюсь на одних вас; и если вам доступна моя просьба,— не оставьте ее, поговорите, ради бога, Гамалею утвердить представление сената. Литературные мои занятия немного остановились. В целый месяц написал только три пьески [3], да и в те, кажется, слишком много подлил горя. Любящий вас всею силою души, вашего превосходительства покорнейший слуга

Алексей Кольцов.

28. А. А. КРАЕВСКОМУ

[Июль 1838 г. Воронеж]

Добрый и любезный Андрей Александрович! Дело, которое так долго меня мучило и носило по свету, в котором вы так много принимали участия, по доброте души вашей,— я был так счастлив,— приняли на себя труд покровительствовать мне в нем его превосходительство Василий Андреевич Жуковский и его сиятельство Петр Андреевич Вяземский, которым я обязан навсегда моею благодарностью,— это дело, наконец, слава богу, кончилось, и кончилось хорошо. Благодарю вас, душевно благодарю и благодарю вас, любезнейший Андрей Александрович! Без помочи вашей оно не могло бы никогда окончиться, как кончилось. Клянусь вам богом моим, я не подличал в нем перед вами, а просто самая крайняя необходимость в последний раз заставила меня так настойчиво просить вас о помочи. Мне горько было, тяжело утруждать вас такими просьбами,— да что ж было делать, когда на вас одних была вся моя надежда! Хотели пособить другие, да на словах,— а на деле вышло не то. Еще благодарю вас. Теперь немного полегчело на душе, и вот одно сильно еще тревожит. В эту поездку я, кажется, так наскучил Василию Андреевичу, что мне заметно очень показалось его на меня неудовольствие. Может быть, я ошибаюсь; дай-то бог, чтобы я ошибся! А все сомненье мучает. Пожалуйста, ради бога, выведите меня из этого сомнения: вам должно быть все известно. Если правда, то эту потерю тяже-

ло мне будет перенесть; я ей священно дорожил и так несчастно потерял.

Посылаю вам две пьески Красова, их мне передал Виссарион Григорьевич Белинский и просит вас напечатать в «Литературных прибавлениях».

Я живу в Воронеже, занимаюсь своими торговыми делами, которые во время моей поездки почти совершенно расстроились. Хлопочу сильно; привожу в порядок; не знаю, приведу ли? Писать вновь нечего, не писал совершенно, некогда: день и ночь на службе материальных дел. Если успею привесть их в порядок, может, напишу и еще что-нибудь. Будь то, что будет. Совсем я положился безусловно на волю промысла. Конечно, хочется читать, писать, да ба!.. Не делай, видно, что хочешь; делай, что обстоятельства велят! В Москве познакомился я с Шевыревым и Мельгуновым, которыми был принят и обласкан чрезвычайно хорошо. Ах, Андрей Александрович! Сколько вы дали мне золотых часов. Сколько провел я, чрез вас, счастливых дней, которых мне без вашего доброго желания я никогда бы не имел. Вы многому виновники. И теперь, здесь, в глуши, в Воронеже, часто очаровывает то время сладостным воспоминанием прошедшего и все живей и живей оживляет в памяти моей былое. Простите меня, что я не могу и не умею благодарить вас, как чувствую. Не я виноват,— природа, которая дала мне так немного, и последнее немного при всех усилиях слабо переходит в холодную букву. В той тетради, которая у вас была прежде, не печатайте, пожалуйста, дрянных пьес, как-то: «Женитьба Павла» (я ее ненавижу просто!), «Размолвка», песня «Перстенечек золотой», «Плач души», «Спящий юноша», «Утешение». Они все прегадкие пьесенки.

Любящий и почитающий вас *Алексей Кольцов*.
Я в Воронеже неделя, как приехал из Москвы.

29. В. Г. БЕЛИНСКОМУ

[Июль 1838 г. Воронеж]

Любезный Виссарион Григорьевич! В Воронеж я приехал хорошо; но в Воронеже жить мне противу прежнего вдвое хуже: скучно, грустно, бездомно в

нем. И все как-то кажется то же, да не то. Дела коммерции без меня расстроились порядочно, новых неприятностей куча; что день — то горе, что шаг — то напасть. Но, слава богу, как-то я их все переношу теперь терпеливо, и они сделались для меня будто предметами посторонними и до меня почти не касающимися. На душе тепло, покойно. Хорошее лето, славная погода, синее небо, светлый день, вечерняя тишь — все прекрасно, чудесно, очаровательно, и я жизнию живу и тону всей душою в удовольствиях нашего лета. Да, благодарю вас, Виссарион Григорьевич, благодарю вместе и всех ваших друзей. Вы и они много для меня сделали, о, слишком много, много! Эти последние два месяца стоили для меня дороже пяти лет воронежской жизни. В эту пору я много разрешил темных вопросов, много разгадал неразгаданных прежде истин, много узнал я от вас для души моей святого, чего я целый век сам бы не разрешил и не сделал. Да, я теперь гляжу на себя — и не узнаю. Где эта бессменная моя печаль, убийственная тоска, эта гадкая буря души, раздор самого себя с собою, с людьми и с делами? Нету ничего, все прошло, все исчезло,— и я на все гляжу прямо, и все сношу, и сношу тяжелое без тягости. И всем этим вам обязан. Вот что приковало меня к вам, вот почему в Москве я ничем не хотел заняться другим, не хотел быть в другом месте, кроме вас. Жалею об одном, что нельзя было жить еще месяц с вами; хоть бы месяц один еще, а то есть еще кое-какие вопросы темные. Я понимаю субъект и объект хорошо, но не понимаю еще, как в философии, поэзии, истории они соединяются до абсолюта. Не понимаю еще вполне этого бесконечного играния жизни, этой великой природы во всех ее проявлениях,— и меня ничего на свете так не успокоивает в жизни, как вполне понимание этих истин. Черт ее знает, как худо работает моя голова: что хочется понять, не скоро понимает, а теперь, без вас, я сам собою вовсе не доберусь до этого. Словесностью занимаюсь мало, читаю немного — некогда, в голове дрянь такая набита, что хочется плюнуть; матерьялизм дрянной, гадкий, а вместе с тем необходимый. Плавай, голубчик, на всякой воде, где велят дела зем-

ные; ныряй и в тине, когда надобно нырять; гнись в дугу и стой прямо в одно время. И я все это делаю теперь даже с охотою. Нового не писал ничего,— некогда.

Воронеж принял меня противу прежнего в десять раз радушнее; я благодарен ему. До меня люди выдумали, будто я в Москве женился; будто в Питер уехал навсегда жить; будто меня оставили в Питере стихи писать; будто за «Ура» я получил тьму благоволений. И все встречаются со мной, и так любопытно глядят, как на заморскую чучелу. Я сгоряча немного посердился на них за это; но подумал, и вышло, что я был глуп. На людей сердиться нельзя, и требовать строго от них нельзя; кривое дерево не разогнется прямо, а в лесу более кривого и суковатого, чем ровного. Следовательно, люди правы: они судят по-своему, как им угодно. Спасибо и за это, и мне они нравятся в этих странностях. Старик отец со мною хорош; любит меня за то, что дело кончилось хорошо: он всегда такие вещи очень любит. Мы ездили с ним вместе на степи; дорогою я взялся ему все доказывать, рассказывать философски; рассказал, как умел, и он со мною совершенно во всем согласился; даже согласился, что он сам большой фанатик, т. е. старинный почитатель одних призрачных правил без чувства души (так ли я понимаю слово фанатик?). А это все ручается, что мы с ним скоро будем ладить хорошо. Дай-то бог!

А степь опять очаровала меня; я черт знает до какого забвения любовался ею. Как она хороша показалась! И я с восторгом пел: «Пора любви» — она к им идет (пел, конечно, дурно). Только это чувство было не прежнее, другого совсем рода; после мне стало на ней скучно. Она хороша на минуту, и то не одному, а сам-друг, и то ненадолго. К ней приехал погостить,— и в город, в столицу, в кипяток жизни, в борьбу страстей, в головоломный омут жизни; а то она сама по себе слишком однообразна и молчалива.

Сребрянский доехал до двора, но очень болен; кажется, проживет не больше месяцев двух [1], а может, я ошибаюсь (адрес к нему через меня).

Находится девушка, купчиха, хочет быть моей женой; она очень собой хорошенькая: блондинка, высо-

кая, стройная, грациозная, добренькая, хорошего поведения, людей зажиточных, отца-матери доброго, семейство большое, капитала порядочно; приданого много, денег ничего — и, кажется, без душевных интересов. Моя мать, отец советует, но мне самому что-то выйти за нее замуж не хочется; дело разойдется. . .

. . . .

С моими знакомыми расхожусь помаленьку... Наскучили все они,— разговоры пошлые. Я хотел с приезда уверить их, что они криво смотрят на вещи, ошибочно понимают; толковал и так и так. Они надо мной смеются, думают, что я несу им вздор. Я повернул от них себя на другую дорогу; хотел их научить — да ба! — и вот как с ними поладил: все их слушаю, думая сам про себя о другом; всех их хвалю во всю мочь; все они у меня люди умные, ученые, прекрасные поэты, философы, музыканты, живописцы, образцовые чиновники, образцовые купцы, образцовые книгопродавцы; и они стали мною довольны; и я сам про себя смеюсь над ними от души. Таким образом, все идет ладно; а то что в самом деле из ничего наживать себе дураков-врагов. Уж видно, как кого господь умудрил, так он с своею мудростью и умрет.

«Московского наблюдателя» я в Воронеже не получил ни одного номера [2]. Видно, как-нибудь ошиблись, или посылают не ко мне, или в другое место; справьтесь, пожалуйста. А я бы его читал теперь; у нас в Воронеже его никто не получает. Вчера говорил знакомому полковнику о нем: он хотел подписаться. А я, как получу, отдам его в книжную лавку; пусть книгопродавец раздает его в чтение, этим я все-таки с ним ознакомлю многих. Василию Петровичу, князю [3], Ивану Петровичу, Каткову, Кирюше [4] почтение. Да, пожалуйста, пришлите и мои книги: они мне нужны бы теперь были читать.

30. А. В. НИКИТЕНКО

27 июля 1838 г. Воронеж

Любезный Александр Васильевич! Извините меня, что я перед вами остался такой скотина: не отвечал вам до этих пор на две записки, полученные мною по

городской почте на один день. Вы были так добры к своему земляку, что приняли на себя труд хлопотать обо мне у Смирдина[1]. Пусть это не удалось, но мне нужна не удача, а я дорого ценю участие ваше, оно мне дороже всех вздорных выгод, которые я в деле литературы считаю ни за что. Я бы отвечал сам давно, но до этих пор мешали мне два обстоятельства: первое, поездка моя в Питер по делу моего отца была в этот раз так дурна, что ни на что уж не похоже, и я был всю пору в самом гадком состоянии. Этот груз мучил, тяготил, тиранил просто; сколько трудов, хлопот, время, трат, и все это ни за грош. Ну, просто нестерпимо! В Москве тоже все горевал; после было получше, очень недолго. Приехал в Воронеж, опять та же песня пошла на новый лад: бился, колотился, хлопотал,— и теперь, слава богу, немножко небо стало проясняться. Если бы прояснилось,— дай-то бог! Другое обстоятельство: в Москве слышал я от Кони, что вы поехали в Острогожск, на родину; думал, из Острогожска поедете через Воронеж, побываете у меня. Не тут-то было: вы взяли другую дорогу, и последняя моя надежда видеть вас у себя лопнула. Вот так-то все у меня в жизни идет наоборот. Да, Александр Васильевич, вы бы подарили мне минуту такую, которой у меня в жизни не было; грустно было на душе услышать: уехали в Харьков. Черт их знает, отчего дилижансы ходят не прямо из Острогожска через Воронеж в Москву! Вечно эти дороги лежат у меня в жизни поперек моих целей, особенно большие. Я виделся с Головченком[2]. Благодарю вас, что вы не забываете меня.

С вами ужасно хочет познакомиться Виссарион Григорьевич Белинский[3], теперешний издатель «Московского наблюдателя». Его сильно теснит цензор в Москве, и он хотел просить вас, чтобы вы ему позволили кой-какие статьи посылать цензоровать к вам в Петербург, особенно одну прекрасную статью переводную из Марбаха[4]. Он так почему-то посумнился пропустить. Такая статья была бы в теперешнее время полезна в журнале. И я ее из Москвы было послал к вам, но она уже не застала вас. Если вы позволите Белинскому беспокоить такими просьбами, то вы бы для него сделали весьма много добра.

Он добрый человек, душою любит вас с давнишних пор.

После Питера я еще кое-что написал новенькое [5], и если велите, то когда-нибудь пришлю к вам. Несмотря на все трудные обстоятельства моих дел, порою я теперь занимаюсь понемножку, и чем тяжелее жить мне в мире, тем более становится желание заниматься словесностью. Почти полюбил эти досуги всей душою. Милой супруге вашей почтение.

Душевно любящий и уважающий вас

Алексей Кольцов.

31. В. Г. БЕЛИНСКОМУ

27 июля 1838 г. Воронеж

Любезный Виссарион Григорьевич! Писать к вам хочется, а ничего не идет из головы. Плоха что-то моя голова сделалась в Воронеже,— одурела малого вовсе, и сам не знаю отчего; не то от этих дел торговых, не то от перемены жизни. Я было так привык быть у вас, с вами, так забылся для всего другого,— а тут вдруг все надобно позабыть, делать другое, думать о другом; ведь и дела торговые тоже сами не делаются, тоже кой о чем надо подумать да подумать. Так одряхлел, так отяжелел, что, право, боюсь, чтобы мне не сделаться вовсе человеком материальным. Боже избави! Уж это будет весьма рано: не хотелось бы это слышать от самого себя. Что-то скажет осень? Кажется, у ней будет для меня время больше свободного; посмотрим.

Досадно: читать нечего. «Наблюдатель» не получаю, а брать в Воронеже не у кого. Если это для вас не весьма трудно, пришлите бога ради; мне бы в другой раз не приходилось совсем напоминать вам, да желанье читать его сильнее приличья. Недавно получил я письмо из Питера от Гребенки; пишет, что кое-кто из моих знакомых сердятся на меня, что я отдал стихи к вам, в «Наблюдатель», а не говорит, кто; вероятно, Краевский и Плетнев. Бог с ними, пусть их сердятся, я рад. Я, впрочем, написал к нему

письмо такого рода: «Дескать, пожалуйста, извинитесь за меня и оправдайте перед теми, кто сердится. Право, мне иначе нельзя поступить: Белинский давно мне знаком, человек, которого я люблю и который как-то владеет мной, как он хочет. Опять, я приехал из Питера в самом грустном состоянии моих дел; Белинский разделил мое горе, и по моему делу хлопотал больше своих сил, безо всякой просьбы, безо всяких видов, а прссто как человек, сострадающий в душе в дурных делах чужому человеку». Это, понимаете, я сам написал нарочно, в пику.

Стройка дома без меня и дела торговые у отца шли дурно; теперь, слава богу, плывет ровней. С отцом живем хорошо, ладно,— и лучше. Он ко мне имеет больше уважения теперь, нежели прежде,— а все виною хороший конец дела; он эти вещи очень любит, и хорошо делает; ему, старику, это идет.

. . . .

В Воронеже ничего не писал. Раз как-то толкнулось стишка четыре [1] в письме к Михайле Александровичу Бакунину; я тотчас их поправил, пристроил заголовок, и, кажется, вышла штука. Вот посмотрите: если хороша, годится — возьмите; а нет,— так и быть. Переменить нечем. Никитенко уехал из Острогожска [2] и не был у меня,— ему дорога лежала на Харьков. Жаль, что все у меня строится не так, как я хочу. Пожалиться надо Ивану Петровичу [3] и попросить, чтоб он оттоль уладил хорошенько. За вами слово писать ко мне. Душою любящий вас

Алексей Кольцов.

Милому Василью Петровичу почтение. Князю [4] и всем почтение.

32. В. Г. БЕЛИНСКОМУ

7 октября 1838 г. Воронеж

Милый Виссарион Григорьевич! Хотелось бы писать к вам совсем не так, как пишу теперь. Но что ж прикажете делать, когда дела дьявольски работают

со мною? Бойка скота, стройка дома и туда-сюда, аж на душе тошнит: так хорошо мне жить!

Недавно написал вот эту пьеску, годится ли название? [1] Я, право, не читал хорошо истории Разина и поставил наудалую; если оно нейдет к ней, то пойдет без названия; я полагаюсь на вас: как сделаете, так и будет; а если она не годится никуда, ну, так и быть. Сколько я не бьюся сам с собой, но все эстетическое чувство не управляет мной, не обладаю им я, как бы мне хотелось, хоть ляжь да умри, порою кой-что и скользит, а все не управляет смыслом.

Сребрянский умер [2]. Да, лишился я человека, которого любил столько лет душою и которого потерю горько оплакиваю. Третьего августа был роковой день его жизни... Много желаний не сбылось, много надежд не исполнилось... Проклятая боль! Прекрасный мир души прекрасной, не высказавшись, сокрылся навсегда. Да, внешние обстоятельства нашей жизни иногда могут подавить и великую душу человека, если они беспрерывно тяготят ее, и когда противу них защиты нет. На плодотворной почве земли хорошо человек удобрит свою ниву, посеет хлеб, но не сберет плода, если лето выжжет корень; роса зари ему не по́мочь: ей нужен в пору дождь; а этой-то земной благодати и капли не сошло в его жизнь; нужда и горе сокрушили тело страдальца. Грустно думать: был некогда, недавно даже, милый человек,— и нет его, и не увидишь никогда, и все вокруг тебя молчит, и самый зов свиданья мрет безответно в бесчувственной дали... Если эта пьеска вам понравится, мне бы хотелось ее посвятить памяти Сребрянского.

Милому Василью Петровичу почтение. «Наблюдателя» не получаю. «Современник», третий №, получил. Вы пишете в письме: «Твоей пьески нет во втором № «Современника»; она будет напечатана в седьмом № «Наблюдателя» [3]. Какая она? — Не знаю. Еще я послал вам «Человек» — думу. Какова она? — скажите. Тогда я не смел требовать,— у вас были хлопоты; теперь, может, вы свободней, то, пожалуйста, пишите ко мне, особенно вот об этой и о «Человек» — дума. Вашим суждениям я верю: хорошо ли, худо ли, и то и другое мне слышать от вас равно приятно.

Князю[4] почтение. Душою вас любящий и почитающий вас покорнейший слуга.

Алексей Кольцов.

33. В. Г. БЕЛИНСКОМУ

28 октября 1838 г. Воронеж

Милый Виссарион Григорьевич! На днях получил письмо из Питера от Владимира Андреевича Владиславлева, в котором он пишет: «Стихи ваши напечатаны в моем альманахе;[1] он выйдет к пятнадцатому ноября. Петербургские знакомцы вас помнят, жалеют, что вы живете далеко. Письмо, что вы просили к советнику[2], я не посылаю, затем что не у кого взять». Хорошо, пусть не у кого взять; так — положим; конечно, не хочется заняться. Ну, да заставить нельзя,— пусть так. Только я ему сейчас надрал славное письмо, говорю: «Мои дела худы, деньги прожил, скот подох, караул! помогите, добрые люди!» Оно немножко нехорошо конфузить себя чересчур, да почему же перед ними на колено не понизить своих обстоятельств, когда они сами, ставши на него, говорят: «Помилуйте, ей-богу, не виноваты; мне можно обмануть, а другому давши слово»... Но ничего . . . .* на свете и не таких еще диковинок много.

Я читаю теперь Вальтер Скотта[3]. «Пуритане» прочел с удовольствием. «Роб-Рой» другой день читаю первую часть, а уж дочту. Смотри, шотландец, не сконфузься (вы не любите этого слова): вот авось раскусим мы тебя; что дальше, а твой старинный больший брат-британец[4] дивно больно хорош. Когда будете писать, уведомьте о «Ромео и Юлии»: если переведен[5], нарочно приеду в Москву читать его. Хотел учиться начать по-немецки,— некогда. Дела мои в самом деле очень похужели; отец мой натворил новых чудес, и я совершенно теперь положился на волю божию. Что будет, то пусть и будет; жив бог, жива душа.

Субъект и объект я немножко понимаю, а абсолюта ни крошечки,— впрочем, о нем надо говорить

*Слово не разобрано.— *Ред.*

долго,— а если и понимаю, то весьма худо; хорошо тогда понимать, когда сам можешь передать; без этого понятья не понятья. Посылаю письмо Никитенки [6], которое прошу прислать обратно. Я еще недавно написал одну пьесу [7],— посылаю к вам. Она странно как сложена, а под этим неуклюжим нарядом будто что-то есть; вы увидите. Любящий вас всей силой души

Алексей Кольцов.

34. А. В. ВЕНЕВИТИНОВУ

Воронеж, 1838, декабря 22

Любезный Алексей Владимирович!

В Воронеже я просил вас о моем деле и вы были так добры, что обещались принять в нем участие, даже говорили сделать записку и прислать к вам в деревню, но я этого не сделал, не потому, чтобы не мог успеть, а не хотел вас беспокоить в такое время, которое, кроме посторонности, нужно было вам собственно для себя (по крайней мере я так думал); во-вторых, и потому, что самое дело было в ту пору еще не готово к отправлению в департамент. Теперь оно послано на сей почте. И я осмеливаюсь утруждать вас покорнейшей моей просьбой принять в нем участие, оно в теперешнюю пору мне крайне необходимо как для защиты справедливой стороны, так и для вещественной поддержки моих материальных обстоятельств, которые если еще пойдут этой же дорогой, то могут и весьма скоро остановить меня в выполнении лучших моих желаний. Какие обстоятельства? Пожалуйста, не спрашивайте, тяжело мне говорить о них... В нашей стороне, если подымется ветер с юга, то буря будет... Чем занимаюсь? Что делаю? Далеко не то, что хотел бы делать, что должен бы делать. Но за всеми недосугами читаю, пишу, и пусть впереди будет хуже, я все-таки буду идти тем путем, которым давно иду, куда бы ни дошел, все равно; в понимании явлений жизни — лучшая жизнь человека. В духе — царство бога. Его моментов — тьма, и каждый отдельно есть часть,— и вечность, и все они — одно.

Прошу вас, передайте почтение вашей матушке. Ласки их я до этих пор живо помню.

С истинным почтением, любящий вас

Алексей Кольцов.

35. А. А. КРАЕВСКОМУ

27 декабря 1838 г. Воронеж

Вы пишете, частию ваше время занимают семейные дела. Уж не женитесь ли вы? Скажите, ради бога. Я, еще бывши в Питере, слышал кое-что об этом. Пожалуйста, будьте добры, скажите правду. Во всяком случае, я желаю вам от всей души всего прекрасного, что только в мире нашем есть прекрасного... Что делаю я? — спросите. Как вам сказать!.. Черт знает что я делаю теперь. Право, я и сам не очень хорошо про это знаю; лучше — ничего не делаю. Что читаю? Ваши «Литературные прибавления», «Современник», «Наблюдатель», Вальтер Скотта, более всего Пушкина, Шекспира. Да, о Пушкине. Недавно я был в одном месте. Мне ужасно понравилось: молодой человек, рассказывая неудачную свою поездку, которая весьма много нанесла ему вреда,— он, наконец, заключил: «Надобно же тому быть так, чтобы я въехал в самый несчастный день; именно в день кончины Александра Сергеевича Пушкина!»

Как я думаю кой о чем? — вы спросите. Пожалуйста, милый Андрей Александрович, отложьте и этот вопрос до другого времени: право, я теперь думаю даже о себе весьма мало. На ваш призыв [1], если вы готовы потребовать решительный ответ, я показал все мои обстоятельства перед вами, и из них вы сами видите, что ехать мне никак нельзя, а поправить дела мои скоро невозможно.

Почему я не писал к вам так долго,— причина простая: месяца полтора я был не в городе. Жил за 100 верст от города, в лесу, мерял сосны, рубил дрова, а вечером слушал, как волки воют. Гадкий их голос положен на ноту: нету никакой точности и весьма мало складу; беспрестанная неровность: то уж дюже много долгих выгибов, то вдруг шершевато, то длинные подъемы, то резкие остановки... Они сами,

бедные, жалуются на свой недостаток и сильно винят своего прадеда, который научил их такой нескладице. Я обещался им прислать нового капельмейстера. В городе, у моего соседа, на цепи образовался молодой волчонок. Пошел к нему, а он, проклятый, уж лизу дал из города; куда,— черт его знает! Дня через два поеду с извинением, скажу: «Ну, дорогие приятели, извините, не выполнил слова; был на примете славный ваш товарищ, да ушел куда-то; пойте по-прежнему, нечего делать!» Очень жаль, что у нас в Воронеже негде достать «Фауста», перевод Губера, да драму, перевод Кукольника, о которой я читал в «Литературных прибавлениях» рецензию [2]. С Гете я почти совсем незнаком, а надобно непременно познакомиться хорошенько: он человек дюже хороший. Владимиру Андреевичу, если можно, пожалуйста скажите, что того письма [3], которое я у них просил, если оно не готово, чтоб не присылали: оно уж пользы сделать теперь не может. И прошу вас им и Александру Федоровичу Воейкову, Нестору Васильевичу Кукольнику, Ивану Ивановичу Панаеву и Эдуарду Ивановичу Губеру передать мое душевное почтение. Уважающий и любящий вас всей силой души

Алексей Кольцов.

36. В. Г. БЕЛИНСКОМУ

[Начало 1839 г. Воронеж]

Милый Виссарион Григорьевич! Здесь вот он — я. Весь день пробыл на заводе, любовался на битый скот и на людей оборванных, опачканных в грязи, облитых кровью с ног до головы. Что делать? — дела житейские такие завсегда. А вечером сижу в своей маленькой горенке, пишу к вам письмо. Ох, совсем было погряз я в этой матерьяльной жизни, в кипятку страстей, страстишек, дел и делишек. Эти мне дела! уж когда-нибудь эту я матерьяльность приберу к рукам, зауздаю, да оседлаю, да так натру бока, что чертям будет тошно. Теперь пусть ее пока потяжается со мною; что нужды? — пусть ее пока. Если необходимо в двенадцать часов кушать, а ночью спать, так уж пусть себе и она валяет своим чередом. Наедет на

пень, пробьет лоб, тогда посмеюсь и я над ней. Дай бог все горькое пить, да насмерть не упиться. Во времена прошедшие каждый в нашем роде должен быть непременно человек безнравственный, запивала, оторвиголова, поклонник порока, друг разврата, горемышный потешник дураков. Нынче не так: все переменилось. Хорошее живет, пошлое огадилось. И всякий человек должен быть ничего больше, как просто человек. Чем потешать чудаков, лучше самому потешаться над чудаками. Эту-то речь начал я потому: мои земляки решили наконец: если б он был человек, что-нибудь мало-мальски похожий на людей, то он должен бы вести себя вот так, вот так, да вот так, а то живет себе, как мы: дурак! — Но пусть их говорят, мне же в настоящую пору надобно непременно заняться было делом вещественным. Шестимесячная отлучка моя наделала хлопот, многие дела торговли шли уже дюже плохо; вот я и принялся их поправлять, да поправлять, да кое-что и пошло своей дорогой.

А не писал я к вам не потому, что было некогда или не имел времени; вздор, другое затрудняло,— про вас у меня во всякую пору есть в запасе час. А вот, по совести сказать, моя беда так уж настоящая: порою хочешь к вам писать, и хочешь, и начнешь, да подумаешь, подумаешь, и пусто в голове. Вот и теперь — пишу, пишу, а о чем? Думать тошно, а силы нет горю пособить... Мне даны от бога море желаний, а с кузовок души. Я очень знаю, что вы такое; да вам надо того, что часто у меня не дома.

Как ни начну к вам писать, всякий раз черт знает какая встречается трудность; самый выговор слов не ладится: всё как-то они у меня становятся навыворот, не по-христиански. Или оттого, что мир людей, который меня окружает, не слишком благовиден? Да, я чувствую, что они постоянно уничтожают все потребности души. Чудна их речь, грязна душа. Еще и то порою приходило в мысль, чтоб вас не беспокоить чересчур мелкою дрязгою глупых слов. Хотя я и давно замечал в вас более во сто раз, чем в других, но все-таки боялся: душа темна, не скоро в ней дойдешь до смысла.

Недавно сколько людей мне клялись в том и том; а кто из них на опыте откликнулся мне? Никто. Вы —

не они. Но все-таки, согласитесь сами, между нами многого недостает; и как я ни посмотрю пристрастно даже к себе, а все разница велика. Людей не соединяет один наружный интерес, а если и соединяет, надолго ли? Мне возвыситься до вашей дружбы мудрено; я ваш давно, но вы мой еще недавно. Последнее письмо много сомнений решило. В нем я прочел то, чего словами выяснить нельзя. Ваше душевное сожаление порадовало меня; оно было повторено мною с вашим чувством вместе; ни по известию, ни по слуху, ни по просьбе, а так просто само вошло в душу и сказалось в ней. Мир с отцом вы одобрили,— он мне теперь нравится самому. Женитьба всегда была против моих желаний, но вместе с тем я человек, мог думать так и сяк. Ну что, если отец, мать насядут на душу, поневоле в другой час скажешь: давайте, хорошо. Теперь я решительно бросил думать об ней. Вы сказали правду, и я покоен. В этом деле нужен голос другой души . . . .

. . . .

Теперь веду себя тихо, смирно, что-то на душе неловко, пропади она пропастью! Свет у меня переменился: люди получшели, дни как приходят, так и уходят. Дышу вольно, живу широко, и такая полнота обладает мной, какой сроду и не чувствовал. Вы в своем кружке переродили меня; в последнюю поездку много добра захватил я у вас: прежде только и знал, что людей проклинал, теперь благодарю бога за жизнь свою. Одно изменило мне... Жаль Сребрянского — вы одни заметили его... Какая прекрасная душа была, как он вас любил и уважал! — На той почте пришлю стихи его, о которых я говорил вам в Москве... [1]

У нас есть уездное училище, а в училище есть уездный смотритель; зовут его Николай Лукьянович господин Грабовский [2]. Он человек известный: два года назад издал «Историческую картину религии», с французского (две части, цена 10 руб.). Подписка была объявлена на всю Россию, посвящена архиерею. Остальные экземпляры разыгрываются теперь в лотерею насильно, т. е. ко всем исправникам, городничим посланы билеты: раздай, да и хвать; не раздашь, свои деньги плати,— не велик барин какой-нибудь исправ-

ник. Два дня назад вечером я уморен был насмерть. Смотрю, лезет Грабовский. «Здравствуйте».— «Мое почтение».— «Я к вам».— «Очень рад».— «Не просто, с просьбой».— «Готов выполнить, если могу».— «О, что до этого,— без сомнения можете».— «Готов служить».— «Дело вот в чем».— «Хорошо».— Вчера я читал ваши стихи в «Сборнике».— «Благодарю».— «Вы, как видно, посвятили себя на белые стихи».— «Да-с».— «А, по-моему, рифмованные стихи как-то лучше».— «И я также думаю».— «Что ж вы сами не пишете?» — «Не умею».— «И, полноте, вам захотеть, вот и все».—«Выполню ваше желание, попробую как-нибудь».— «Впрочем, они и без рифм очень хороши».— «Покорно благодарю».— «Вы не изволили читать-с мой перевод «Историческую картину религии»? — «Нет, еще не читал».— «Разве вы прозы не любите?» — «Не только не люблю, сроду не читаю».— «Напрасно-с вы это делаете, а проза дело хорошее».— «Знаю»...*

37. В. Ф. ОДОЕВСКОМУ

15 февраля 1839 г. Воронеж

Ваше сиятельство, любезный князь Владимир Федорович! Недавно я был с вашим письмом у графа и графини Евдокии Петровны Ростопчиной, и целый вечер пробыл у них чудесным образом. Что за женщина эта графиня! В нашем матерьяльном городке, после этой пошлой толпы людей и дрянных женщин, такая встреча невольно погружает душу в сладкое упоительное забвение; заботы, горе, нужды как-то принимают другой образ, волнуют душу,— но не рвут, не мучат ее. Благодарю ваше сиятельство! Кроме минут священного унынья, если были когда-нибудь в моей жизни прекрасные минуты, которые навсегда остались памятными мне, то все они даны мне вами, князем Вяземским и Жуковским: вы могучею рукою разогнали грозную тучу, вы из непроходимого леса моих горьких обстоятельств взяли меня, поставили на путь и повели по нем. И чем еще я не был обязан вам? Всем, всем, всем. А чем за это все вам я заплатил?

* Окончания письма нет.— *Ред.*

И чем заплатить могу? Грустно. Я навсегда останусь вашим должником... Иди дела мои теперь не так, как они идут,—и я бы жил уже славно. Великим богатством обладаю я теперь: получаю «Отечественные записки», «Современник», «Московский наблюдатель» — три журнала; чего ж мне еще больше? Читай и трудись, трудись и читай. Широкое поле передо мной, есть с чем гулять по нем; одна беда, никак не улажу своих дел, да и только; берут насильно время, не дают покоя, хоть ты вот что хочешь делай. Но воля божья: может быть, и они как-нибудь уладятся. В свете чудес много, авось и эти горы свалятся с плеч; ведь и не этакие широкие реки переплывают добрые люди. Один случай навернись, и все устроится, может быть, опять; худо крылья опустить...

Досадно только, что как-то все у меня идет кверху дном; вот едва только уладил дела свои в казенной палате и погасил огонь, как, на беду мою, открылась новая палата, и стороной я слышал уж, что новый управляющий ее Дмитрий Васильевич Похвиснев хочет опять раздуть погаснувший огонь и возобновить то дело, по которому так много принимали участия вы, его сиятельство князь Петр Андреевич Вяземский, и его превосходительство Василий Андреевич Жуковский... Если он в самом деле эдак сделает, ну, тогда делу конец... Ваше сиятельство, не смею вас просить, но, кроме вас, просить мне некого: что хотите делайте, но еще примите участие в моем положении, еще замолвите слово и разгоните собирающуюся над головой моей тучу, пока она мне не разбила голову. Пока вы за меня, никто против меня. Вот моя надежда, и поверьте, что я хлопочу не из пустяков и прибегаю под ваше покровительство не для того, чтобы подлым образом выплакать сначала от человека сильного участие, потом бессовестно наезжать на встречного и поперечного (как делают подлецы). Нет, я хочу как-нибудь выйти лишь из моих тесных обстоятельств и меньше с людьми делать шуму, и как-нибудь уладить с ними тише и потом вздохнуть свободно; вот все, что нужно мне.

С истинным почтением и преданностью честь имею пребыть вашего сиятельства покорнейший слуга

Алексей Кольцов.

38. В. Г. БЕЛИНСКОМУ

[Май 1839 г. Воронеж]

Милый, любезный Виссарион Григорьевич! Я так забылся перед вами, так много задолжал, что ничего уже не могу сказать в оправдание, ровно ничего. Все это время шло у меня как-то глупо, дурно, так — бог знает как. Хлопот с утра до ночи каждый день, на ногах не постоишь, и, кажется, если посмотришь на настоящий день, видишь, много сделано, а сказать, право, обо всем двух слов нельзя. Торговля — грязь, дрянь, а на моем месте вещь необходимая,— вози покуда запряжен; придет другое время, может, будем другие и мы. А знаете ли: сто раз сбирался к вам писать, не пишется, стыдно как-то пестрить бумагу без пути, и еще бы, кажется, не написал бы к вам, и долго бы, до зимы, да крайность, да случай.

Не взыщите, если я буду теперь говорить совсем не так, как бы хотел говорить. Но первое, сначала всего благодарю вас за милый, прекрасный и умный подарок. Как хорош ваш журнал, чудо! [1] Как много пользы он мне делает! Еще благодарю вас за него. Одно меня печалит в нем, что он дюже опаздывает. Конечно, это бы еще ничего, да то беда, верно, вы никак не выйдете с ним еще на ровную дорогу, верно, до сих пор еще добрые люди всеми силами теснят его, и вы до сих пор еще с ним бьетесь, колотитесь; досадно! Странно у людей дела идут на свете: «Московский наблюдатель» стой, а какой-нибудь брюхан-толстяк иди. А жирны «Отечественные записки», чересчур жирны! Вот уж чего хочешь, того просишь. Навозу, платья, отрепья, сору, дряни — вволю, и кой-где алмазы есть. Мне весьма нравится повесть «Бела» Лермонтова [2].

Вы не можете представить, какой богач я стал хорошими книгами,— есть что читать. Ваш подарок получил; «Отечественные записки», «Современник» то же; от Губера получил «Фауста», от Владиславлева альманах «Утреннюю зарю». Купил полное сочинение Пушкина, «Историю философских систем» Галича; мне их наши бурсари шибко расхвалили; а я прочел первую часть; вовсе ничего не понял; разве фило-

софия другое дело? Может быть. Итак, будем читать еще до конца. Теперь один недостаток показался: еще надобно обзавестись непременно «Историей» Карамзина [3]. У меня есть Полевого и Ишимовой краткая[4], а хочется иметь полную. Да опер несколько: «Роберт-Дьявол», «Фенелла», «Дон-Жуан», «Виндзорские кумушки» Шекспира; [5] хоть дурной перевод, да все лучше, чем ничего. А «Дон-Жуана» прочесть после пушкинского! А каково сострил Росковшенко с Катковым: [6] в один...* перевел «Ромео», и, я думаю, деньги взял с «Библиотеки». Видно, у Каткова почему-нибудь дело село на пень. Он хотел напечатать прошлый год, а еще нет. Как бы хорошо было его перевод прочесть весь после отрывков.

Скажите, ради бога, что мне делать с Владиславлевым? Четыре письма прислал, все просит стихов в альманах: хоть вынь, да положь — да и только. Жаль, что не могу вам переписать всех писем: крайне любопытны. В них он другой человек, чем наружи; по крайней мере, я кой-что из них выпишу. Я просил, чтоб он к одному человеку прислал письмо [7]. Первое: «Отыскивал я доброго человека, который бы дал мне нужную вам рекомендацию, и за всеми стараниями и поисками не найду никого — да и только. Пишите, пожалуйста, пишите о себе, авось что-нибудь и придумаем». Другое: «Я вполне сочувствую вам, как скучна и томительна эта жизнь! — и дарю вам правило: бог не без милости, казак не без счастья. Веруйте в него; оно не оставит, а вы меня за него поблагодарите. Краевский писал вам о нашем предположении о книжной торговле [8]. Мысль завербовать вас родилась во мне с первого знакомства с вами. Обдумайте-ка это дельце пообстоятельней, да и решитесь на что-нибудь; ведь, кроме прибылей, которые очевидны, вы будете жить между людей. Если найдет на вас вдохновение, пришлите мне, любезный друг Алексей Васильевич, ваших стихотворений для будущего альманаха; может быть, балуя меня, вы позволите и выбрать, хотя у вас все одинаково прекрасно. Дружески обнимаю вас». Третье: «Вы не отвечаете на призывы приятельские, так вот вам песня; слушайте-ка: я издаю на будущий год альманах в пользу детей больницы и

* Слово не разобрано.— *Ред.*

печатаю его в числе пяти тысяч экземпляров; и для этого надо начать дело с мая, потому что надо иметь время, кроме печати, для сушки, прессовки и сортировки бумаги и для изготовления пяти тысяч переплетов, потому что всякий экземпляр будет в переплете. Все это требует много и много времени. Полагая, что вы не совсем забыли нас, петербургских, и по приязни вашей не откажетесь от участия в моем альманахе на будущий год, я прибегаю к вам со всеусерднейшею просьбою: прислать мне ваши пьесы поскорей. Прозы у меня много,— но стихов будет мало очень, и то отборнейшие. Вот почему мне нужны ваши стихи. А не пришлете, так и все стихи побоку, и будет одна проза,— и грех будет на вашей душе. Торговля наша идет помаленьку; при ней два журнала, только нет хозяина. Рискните, погадайте, авось и впрямь выйдет по-нашему. Неужели вы думаете, что у столичных жителей нет участия?» Четвертое: «Что же вы мне не шлете ваших стихов,— стихи меня крепко жмут». Пятое: «Стихи ваши хороши, да нет целого, у вас бывают гораздо лучше. А как альманах мой не журнал, который прочтут, да и бросят; к тому же он печатается в пяти тысячах экземпляров, а потом перепечатается другое издание,— а потому я, любя ваш талант, не напечатаю вашей пьески. Присылайте мне лучшее, вы не опоздаете, а эту пьеску я передам Краевскому; со временем скажете спасибо. Да приезжайте-ка к нам в Питер служить, а?»

Я писал ему: «Хоть мои дела очень дурны, но все мне нельзя ехать к вам, потому что я должен две тысячи рублей; отдать нечем, и полиция не пустит. Хотел бы душою — да нельзя». Конечно, мои дела дурны, да не так еще, как я писал к нему. Но что же с ними делать? Ведь надо как-нибудь дощупаться правды,— а у этих людей деньги скорее всего откроют грудь. Я вперед знал: не только рублей две тысячи, а копеек — Владиславлев и Краевский не дадут. И он об этом во всех письмах деликатно молчит. После четвертого письма я послал одну пьеску. Что ж было делать? Ведь стыдно, в самом деле, не послать: что ни говори, а я от него уже два альманаха взял, чего ж еще? — и это великая милость. И хоть я Владиславлеву не верю, что пьеска дурна, но, однако ж, может

быть, он и прав. Ведь было ж со мной несколько раз: кажется хорошо, а вы говорите: дрянь; дурно — хорошо. Так и теперь может быть. Я вам ее посылаю — «Путь». Пожалуйста, посмотрите. Если в самом деле дрянь, так уж лучше попросить Краевского, чтобы и он ее не печатал. Черт знает — я в этих делах большой осел. А другая — «Старому товарищу». Тоже, если хороша, напечатайте у себя в журнале, а не хороша, так и быть,— не надо [9]. Да я к вам послал прежде три пьески [10], скажите о них словца два: что хорошо, и что гадко, и про «Бегство», что напечатано в «Современнике». Не годится ли «Дума перед образом Спасителя»? Если хороша, я ее пошлю Владиславлеву, а нет,— ну и у меня уж больше ничего нет, и совесть будет чиста. Вы мне особенно теперь скажите обо всем, потому что я теперь более всего дорожу вашим мнением, и мне оно нужно. Прежде был жив Сребрянский, он чудную имел мысль и любил говорить правду. Теперь его нет, и я один, и, кроме вас, у меня никого нет. Видите ли, почему я вас прошу в такую пору, когда вам может быть не до меня и не до себя.

Да дайте, пожалуйста, сему подателю моих книжонок двадцать [11]. Я все ими сорю кое-кому. Василию Петровичу, Ивану Петровичу почтение. Всему собору вашему низкий поклон.

39. В. Г. БЕЛИНСКОМУ

28 сентября 1839 г. [*Воронеж*]

Милый, любезный мой Виссарион Григорьевич! Все недосуг и недосуг, да сколько ж терпеть мне? Полно, кончено! Сколько могу я, сколько успею (не ладно, не в порядке), но хочу говорить с вами; давно душа хочет беседы, давно ей хочется сказать вам, что есть у ней к вам. Много у ней есть интересов, но мертвая буква укорачивает ее желанья. Боже мой, как я виноват перед вами! непростительно виноват! Сколько времени получил от вас письмо, и какое! вмиг хотел, по прочтении его, переселиться к вам весь. Но,— черт с ними! эти дела опротивели! — пусть хоть

сегодня на вечер не приступят к горлу. И что напишу к вам после вашего письма? Милый Виссарион Григорьевич, стыдно мне за ваши письма угощать вас моею дрянью, и, кажется, под разными формами дел... Эта мысль удерживала меня писать к вам. А что ж придумаю? что напишу? Ровно ничего, все то же, что и тогда. Видно, такая моя участь: чем больше думаешь, тем глупее; вечно не то делается, что делать хочешь. Или я желаю невозможного? Нет, поверьте, мои желания весьма ограниченны. Если бы образцов не было,— они перед глазами. Почему ж у добрых людей делается иначе, чем у меня? Там везде логика, теория, а у меня черт знает что такое; что ни начнешь писать, не строится, не вяжется, а ежели и свяжется, то страшно смотреть. Если не обманут я другими и если вы ко мне не пристрастно великодушны,— то или я дурак, или я бессовестно обманут всеми. *Горькое сознание робкой думы-мысли.*

Да, Виссарион Григорьевич, вы совершеннейший колдун. Еще не было в жизни моей мучительнее состояния, как в прошлом году. Плохое, мучительное дело, больной Сребрянский; смерть его все довершила. Если вы не понимали прежде... Но нет, не может быть, вы и тогда понимали много. Скажите же: в одну минуту разломать то, что крепло пять лет, моя любовь к нему! Его прекрасная душа, желания, мечты, стремленья, ожиданья, надежды на будущее,— и все вдруг... Вместе мы с ним росли, вместе читали Шекспира, думали, спорили; и я так много был ему обязан; он чересчур меня баловал. Вот почему онемел было я совсем и всему хотел сказать «прощай»; и если б не вы, я все бы потерял навсегда. Вы мне много сделали. Меня ведь не очень увлекала и увлекает блестящая толпа; сходки, общество людей, конечно, хорошо,— но если есть *человек,* то так, а без него толпа немного дает. Опять я такой человек, которому надобны сильные потрясения, а иначе я нуль; никто меня не уничтожит с другой душой, а собственно мою уничтожит всякий. Не поддержите вы меня в Москве,— я бы ни одной строки не состряпал. Но все я сомневался, захотите ли вы меня держать на помочах или нет. Сами знаете, ведь об этом нельзя ни умолить, ни упросить: когда душою не хочется,— и дело

решено. И вот ваше письмо совершенно меня обрадовало; здесь вы пророчески узнали мою потребность, чего я ждал от вас долго молча, и, слава богу, дождался наконец.— Я весь ваш, весь, навсегда! И пьес моих вы хозяин полный: никуда, кроме вас, не пойдет ни одна; и скажу вам откровенно, если я их кой-куда разбрасывал, на то была или необходимость, или расчеты, конечно, не денежные (избави бог, я об них не мыслю), а расчеты другого рода. Теперь же мне хочется быть в «Отечественных записках» и кой-когда в «Современнике» и в альманахе у вас;[1] а у Владиславлева быть или не быть, все равно; в других журналах также.

Благодарю вас, милый Виссарион Григорьевич, за вызов ваш[2], от всей души благодарю. Рад до смерти, что вы сошлись с Панаевым,— он славный, добрый человек; и мило сделали, что теперь сотрудники Краевского. Андрей Александрович тоже человек славный и добрый, хоть и в своем роде; но все он почтенный человек и его нельзя не любить, он большой мастер, умеет расположить к себе всякого, и, право, в нем есть *искра божия добра*. В Петербург вы едете — не только это хорошо; но вам нужно там быть. Пусть он на первый раз вас не очень ласково примет, пусть многие будут на вас смотреть подозрительно, пусть будут говорить и то и се... Бог с ними! Ничего не сделают. Вся их выгода в одном: иногда нанесут на первый раз неприятностей, и то легких. Пусть их отуманят утро, а оно все-таки разведрится опять, и солнушко засветит в нем роскошней прежнего и блистательней. Они бы рады сделать и больше, да вы не дадитесь; вы уж знаете, как с ними ладить; опыт вас заранее приготовил к ним. *«Ты царь, живи один»* — святая правда, и ваш девиз она. Но Эрмитаж, но Брюллов, но весь Петербург снаружи даже, Нева, море сто́ят гораздо больше; и может быть, года через два за границу, к Гоголю, в Италию. Надо быть в Италии и Германии, непременно надо; без того вам умереть нельзя.

А смерти «Наблюдателя»[3] и рад я и не рад; рад потому, что он мучил вас, не рад потому, что Василий Петрович, кажется, мог бы здесь поступить иначе,— кажется, мог бы... Чего не может человек, когда захо-

чет, особенно купец, у которого в деле спекуляции все идет по заказу невозможного? Неужели нужны страшные суммы для поддержки его?.. Одно досадно: много усилий я уже употребил, чтобы быть зимою в Москве; приеду, вас не найду, и скучно будет мне в ней жить, к вам-то и рвалась душа моя. Но от всей души дай бог вам добрый путь на дело трудное и великое. Все прекрасное лежит в будущем, настоящее пройдено — и тайны нет; без ней жизнь не жизнь.

Да, я нашел в Воронеже славного человека, хохла [4] и порядочного другого. Один пишет по-малороссийски сонеты, чудные сонеты. Напишите, если их можно поместить в ваш альманах, я несколько пришлю; к Гребенке послал уж четырнадцать штук. А другого скоро одну пьеску пришлю, русскую. Теперь посылаю две пьесы Красова. В «Вакханке» не угодно ли вам будет выкинуть несколько стихов, отмеченных черточками, тогда пьеска будет славная; именно от них она была и растянута и сладострастна. Конечно, сладострастье хорошо, да у него как-то вышло приторно. И своих три пьески, две вам известные. В «Примирении» я то место, что говорили, поправил и отметил черточками несколько стихов; не угодно ли будет выкинуть: и с ними хорошо и без них хорошо, а чем короче, тем лучше. Третья — «Умолкший поэт». Его, видно, Плетнев почему-то не хочет печатать в «Современнике», видно потому, что он умолкший, а ему, знаете, надобны живые, говорливые. «Тоска по воле» недавно написал; не знаю, понравится ль. В ней старое слово я поставил: «гой», но оно хорошо, кажется, стоит; с ним «пододонная» — эдак говорится по-русски про ад. Еще непременно напишу в ваш альманах и скоро пришлю. И уж кое-что хочется написать.

А если угодно вам спросить, почему мало? — трудно отвечать, и ответ смешной: не потому, что некогда, что дела мои были дурны, что я был все расстроен; но вся причина — эта суша, это безвременье нашего края, настоящий и будущий голод. Все это как-то ужасно имело нынешнее лето на меня большое влияние или потому, что мой быт и выгоды тесно связаны с внешней природою всего народа. Куда ни глянешь — везде унылые лица; поля, горелые степи наводят на

душу уныние и печаль, и душа не в состоянии ничего ни мыслить, ни думать. Какая резкая перемена во всем! Например: и теперь поют русские песни те же люди, что пели прежде, те же песни, так же поют; напев один, а какая в них, не говоря уж грусть — они все грустны,— а какая-то болезнь, слабость, бездушье. А та разгульная энергия, сила, могучесть будто в них никогда не бывали. Я думаю, в той же душе, на том же инструменте, на котором народ выражался широко и сильно, при других обстоятельствах может выражаться слабо и бездушно. Особенно в песне это заметно; в ней, кроме ее собственной души, есть еще душа народа в его настоящем моменте жизни.

Не знаю, отчего вам не нравится «Стенька Разин», разве по названию: название можно переменить, а пьеса, кажется, хорошая. Конечно, она не выражает образности; но в ней эта образность скрывается в силе души, которая выражает себя в своем напряженном состоянии внешних обстоятельств. «Бедный призрак» — тоже, кажется, вещь хорошая; в ней нет буквально высказанных периодов жизни одного человека с его конечною душою; но из нескольких моментов, которые следуют один за другим, ясно видно, о чем идет речь, что ему надобно и от чего он...* везде донельзя. «Последняя борьба», может, пахнет Пушкиным,— не спорю; но в ней своя форма, свои следствия битвы. О других я не говорю ничего.

Нетерпеливо жду услышать о стихах Сребрянского [5]. Ужели он в самом деле был плохой поэт? Да расскажите, бога ради, почему «Флейта» хороша; [6] два раза читал — не понял, а хорошего не понимать весьма худо.

Посылаю еще сказку Усова [7]. Посмотрите; годится куда-нибудь — отдайте, не годится — в огонь. «Наблюдателя» у меня нет; и если у вас нет лишнего экземпляра и взять его сопряжено для вас хоть с малейшей трудностью, то, пожалуйста, не присылайте: у вас много беспокойств и кроме этого. И если можно, и то если можно, то, пожалуйста, пришлите экземпляров двадцать моих книжонок. Я, знаете, иной раз их растаскиваю кое-куда. Что ж делать! есть такие места, где денег не берут, а даже одолжают,— так я и

* Слово не разобрано.— *Ред.*

поблагодарю книжкой; все лучше, чем одни слова. Ах, как хороши в восьмом номере «Записок» пять русских песней! [8] Чудо как хороши, вот уж объеденье так объеденье. Я тут подозреваю Лермонтова, чуть ли не он опять проказит, как в песне про царя Ивана. Кто бы ни был, он или нет, а все большое спасибо за них и тому, кто написал, и тому, кто напечатал. Дела нет, что они все из старых песней переправлены,— да мастером переправлены, молодцом. И разбор песен Сахарова — Каткова [9] чудо как хорош; меня чрезвычайно как настроил его разбор. Чуть ли все не ошиблись в своем заключении, он человек дюже хороший, и если был странен тогда, то не потому ль, что доро́га ему самому была нова. На следующей почте еще пошлю к вам письмо. Любящий, почитающий и уважающий вас всей силой души

Алексей Кольцов.

40. В. Г. БЕЛИНСКОМУ

12 октября 1839 г. Воронеж

Милый, любезный мой Виссарион Григорьевич! Ваш альманах [1] вынул еще из черной тетради две пьески; их достоинства я не защищаю, они перед вами, смотрите — и судите. В «Песне» [2] я один стих заменил вновь, но если он не годится, так по-старому; как лучше, так и поступите. В «Хуторке» тоже черт знает: иногда прочтешь «Хуторок», покажется, а иногда разорвать хочется. Есть вещи в свете, милые сердцу, и есть ни то ни се; так и везде. Да, впрочем, что ж больше может быть среди безлюдной почти степи? Конечно, драма везде, где человек; но иная драма хороша, другая дурна. Если смотреть на него в обширном смысле страстей человеческих, так эта жизнь не очень хороша, а если глянуть на степь, на хутор да небо, так и эта бредет. Лучше, что́ есть, говорить, а не собирать всякой чепухи и брызгать добрым людям по глазам; и стыдно и грешно. Вам смешно, я думаю, что такую дрянь я сую в драмы; на безрыбье и рак рыба: так [как] у меня нет больших, ну и маленькую туда ж,— все как-то лучше, чем нет ничего.

Если вы не посылали еще мне письма, то погодите маленько; я напишу вам на той почте письмо, в нем пошлю три пьески чужие, и тогда уж я вас не шутя попрошу написать мне обо всем. Если будет и недосуг, так о том и о том покороче, но, пожалуйста, обо всем. У вас такая куча вопросов от меня, и из них кое-какие меня очень интересуют. А уж если совершенно вам не захочется писать или гадкие обстоятельства не дадут для этого ни минутки,— ну, делать нечего: после. Да уведомьте, когда вы уедете из Москвы[3], где вас там найти,— а то без адреса писать писем нельзя. Досадно, что я вас не найду в Москве; прежде ноября мне ехать из города нельзя, а вы уедете прежде; приеду — вас нет, и скука съест, так да не так. Когда в Москве Иван Иванович Панаев, кланяйтесь от меня ему низко. Из Питера ко мне никто не пишет. Владиславлеву я ничего не посылал и не пошлю: мне теперь только и хочется быть у вас в альманахе, хоть с одной пьеской, в «Записках» и «Современнике»,— и довольно. Уже море,— ближе берег.

Алексей Кольцов.

41. А. А. КРАЕВСКОМУ

[Ноябрь 1839 г. Воронеж]

Любезный, добрый, милый мой Андрей Александрович!

Благодарю вас, благодарю и еще благодарю за ваше письмо, за все его. Оно все — одно слово, одна мысль, полная благих утешений. Вы давно озаряете тесную сферу моей жизни своим блистательным лучом; давно хотите оживить почти завялую былинку и много раз ее кропили живой водой; но чтобы вполне ее оживить,— невозможно. И звание, и время, и обстоятельства, и самая возможность — все против меня! Дерево, разрушенное грозою, можно собрать, можно одеть корой, но оживить едва ли льзя! Еще благодарю за ваше доброе желание, чтобы я ехал в Петербург, был у вас в конторе «Отечественных записок». Это дело такое, которого я лучше бы не же-

лал; да вот беда: я не могу этого сделать, не могу ехать.

Полно молчать, скрываться; скажу вам откровенно, по душе. Отец мой имел прежде весьма много дурных дел судопроизводных, о которых я уже вам много раз и говорил. Из них кой-какие кончены до первого приезда моего в Петербург, еще кой-какие кончились после того самим мною. Оставалось одно главное, большое горе — для моей гибели. В этом деле вы приняли участие и добрый Василий Андреевич, и князь Вяземский (вы не отпирайтесь, вам совестно отпираться; если бы не вы, я бы в Питере не нашел следа, не только что дорожки), которое, слава богу, теперь кончилось. Это горе с плеч долой бухнуло. Теперь еще осталось два дела. Одно: следует отцу взять землю на пять лет, 350 десятин, у мужиков; деньги, пять тысяч, отданы, а дело заспорилось. Другое: по поручительству следует ему заплатить пять тысяч рублей. Но все это ничего... дело уже конченное! При дурном его окончании грозило отцу моему полицией; вы его из ней вытащили. Теперь вот беда! Нынешний год по нашей торговле был весьма дурен, у нас много рогатого скота упало, т. е. подохло, а капитала своего мы имели самую малость: торговали на чужой, пользуясь доверием. Скот подох, деньги, на него употребленные, пропали, а они были чужие. Люди не виноваты, что у нас скот подох: их надобно заплатить, а заплатить нечем. Что вы прикажете тут делать? Будь их немного,— тысяча, другая, третья,— я бы тотчас нашелся, как горю пособить, а то их до двадцати. Как перевернуться? Как эту реку перейти, не захлебнуться? Вот мое настоящее горе. Конечно, бог не без милости, человек не без греха, и я бы от этого греха хоть бы ускользнул из города,— но что будет с стариком? Положим, можно забыться и для этого на время уехать; да не пустят проклятые кредиторы: вида — черт их побери! — не дадут, на дороге остановят, в угол прикуют. Вот дела-то какие состроила мне судьба! И что ни будет,— я покоряюсь им. Пока это еще негласно, пока я еще тем и тем скрываю истину, указываю им на то и на то, а далее — я далее дня пока не думаю, что будет. Пройди хорошо этот один год, и все бы пошло как нельзя лучше.

Я было порядочный начал строить дом, который бы приносить мог дохода две тысячи рублей, да сам бы в нем занял лавчонку книжную,— и можно бы жить припеваючи. Конечно, достройка его должна остановиться, и все мои желанья — пополам!

Видите ли, любезный Андрей Александрович, теперь мои дела? Можно над ними сгрустнуть или нет? Хороши они? И из-за пустяков ли я часто пригорюнясь сижу?.. Вы говорите, я упал духом. Нет, духом я не упал, и беде моей смотрю в глаза прямо, и грудь не сокрыта пред ней. Я не бегу, а стою и жду бури: сломит — упаду, выдержу — пойду вперед. Но не стану перед ней на колена, не буду слезно молить о пощаде и бабой выть; нет, этого не будет! Я русский человек. Шапку снимем пред грозой, а в сердце кровь не остановим; холод по телу пустим, но в теле не удержим. Еще смеем сказать: «убирайся, откуда пришла!» Тряхнем стариной,— будет хуже. Нет, Андрей Александрович, духом я не упал и не упаду, разве мощь изменит, разве от напряженья силы тело лопнет,— тогда конец!

Вы так добры, что извиняетесь передо мной, что редко пишете. Могу ль я требовать, чтоб часто вы писали, и можно ль вам при ваших хлопотах и недосугах, при ваших занятиях огромных? Вы славно начали подвизаться: два журнала вдруг! Это выше сил одного человека. Признаюсь, я завидую такой деятельности: лес занятий, трудных, отчетливых. Великое дело — пахать большую ниву для пользы человека!

42. В. Г. БЕЛИНСКОМУ

[*Ноябрь 1839 г. Воронеж*]

Милый Виссарион Григорьевич! Теперь я начинаю понимать, что всякая конечность, в какой бы она прекрасной форме ни была,— все конечность. . . .

Нашим желаньям нельзя доверять: врут они против рассудка и себя, их обманывает бессовестно инстинкт натуры, их надо держать в руках, на привязи. Не может быть на земле полного упоения любви, какое рисует воображенье, или если может быть, то уж

весьма редко, и то только тогда, когда сами обстоятельства сведут на пути жизни двух человек одинаких понятий, страстей, желаний. Я свой расчет кончил, не буду желать, не буду искать счастья там, где нет его. Решено: буду питаться воздухом, любоваться звездами. Как живу? Этого вопроса я не разрешу вам сам. Черт знает как я живу теперь! Что я делаю? В нынешнюю пору кто из порядочных людей что делает? Это скучно, от зренья можно потерять глаза, от пешковой езды — ноги; от рукоделья — надолго ли станут одни руки? Право, надобно делать как можно меньше, больше есть, курить трубку,— чаще будет затмение луны, больше ночей. Некоторым образом я жалею, что много всякой всячины на свой век переделал. Но прошедшего не воротить, а надо пользоваться настоящим, и я, слава богу, в этом славно подвизаюсь; недостает одного колпака, а то совсем бы я был дурак. Почему знать, может, за сходную цену куплю и его? Тогда прощайте, добрые люди, уйду надолго в лес по грибы, в поле по груши [1]. Да, в самом деле, мое теперешнее положение почти похоже на этот несвязный, глупый сон. Ищу должности, хочу попробовать разыграть паяца, я его уж играю с некоторого времени дома. Что ж, в самом деле, я, как не паяц, когда я не могу усвоить за собою ни одного дня в жизни, как бы хотел? Прекрасное у меня вечно перемешано с гадким, милое с отвратительным. Жизнь деловая, матерьяльная требует всего меня, я ее обманываю. Жизнь, на служение которой хотел бы посвятить себя всего, напрасно призывает в свой тесный угол: демон матерьялизма не пущает. И так проходят дни, месяцы, годы, и золото время гублю, на что попало.

С людьми, с которыми живу, никак не сойдуся: они требуют, чего нельзя им дать; чего хочу,— у них нет... И время от времени я с ними все дальше и дальше расхожусь. Боже мой, до какой степени я с ними не в ладу! Наружной брани нет, да без ней грустно. Этот слой народа низок, гадок, пошл до несказанной степени; а выйти из него ни дороги, ни сил нет. Иногда затеваешь думать о чем-нибудь порядочном, чтобы оно проложило дорогу выйти на простор,— нет силы больше для выполнения. Тоска, как

собака, грызет меня. Что-то будет. Но уж хуже, ей-богу, не будет ничего, потому что и так уж худо. Ничего не радует, ничего совершенно. Москва! вот когда я постигаю твое блаженство, вот когда я вижу, чем жизнь твоя прекрасна. Но мне не быть счастливым никогда. В Москве не жить мне век.

Я получил два письма: одно от Краевского, другое от Плетнева. Краевскому писал я прежде[2], что мои дела дурны; он на это со всем тоном великого мецената зовет меня к себе управлять конторою журнала «Отечественных записок»; из мальчика просит пойти в работники: удачная будет перемена! Плетнев пишет, чтоб я прислал к нему реестр пьес, которые я назначаю ему собственно в «Современник», а то говорит одну пьесу... *

43. В. А. ЖУКОВСКОМУ

1 декабря 1839 г. Воронеж

Ваше превосходительство, милый и любезный наш поэт Василий Андреевич! Дело, в котором вы по доброте души вашей приняли живое участие, наконец, слава богу, получило решительный конец; иск свалился с плеч моих долой; большая беда прошла, и моя свобода, и свобода отца моего еще у нас. Как тяготило, мучило меня и все семейство и старика отца это проклятое дело! Семь лет и день и ночь — история одна, и если бы не вы, что бы с нами было? И все значенье цифры смяло б до нуля. Бывши мальчиком еще, уча наизусть ваши творения, душой сживаясь с ними, по ним любя всех вас, думал ли я в ту пору, что придет время: увижу вас, обласкан буду вами, и как обласкан! и что милый поэт России примет меня под свое покровительство, что в мутную пору матерьяльных обстоятельств примет меня под свою защиту и отведет от беззащитной головы страшную тучу, выведет из мрака моего забвения, укрепит доброе имя, даст другое мнение, лицо и жизнь; думал ли я когда-нибудь? Даже до этих пор, часто в сладком воспоминании воскрешая прожитое время в Петербурге, ва-

* Окончания письма нет.— *Ред.*

ши ласки, внимание, покровительство, ваше посещение Воронежа, оживляя вас самих у себя дома, в своем городе,— думаешь и сам не знаешь, что это было: сон или быль? волшебная сказка или святая истина? Выше всех понятий возвысили вы меня, и что же я,— чем заплатил вам за все это и чем заплачу за все, что сделано вами для меня? Ничем,— ровнехонько ничем... Тяжело быть должным — и не иметь никакой возможности заплатить долга; одной же искренней душевной благодарности, горячего чувства весьма недостаточно, мало, чтоб уничтожить всю силу моих желаний. Надеяться на будущее? Но что же будущее мне даст? Кругом туман и тьма; какой, откуда луч засветит мне? Возможно ли для самой мочной воли олицетворить себя до невозможности? Есть чудеса и будут, но для меня они уж исключенье; ужасное сознанье робкой думы: «будь то, что будет!» До тех пор примите вновь от меня за сделанное добро одну искреннюю, чистую, горячую благодарность от моей души. Больше ее я ничего не могу вам ни сделать, ни сказать; нет жизни у меня для вас, кроме этой жизни... Чувствую, что лучше бы было мне приехать нарочно в Питер и благодарить вас лично, но этого я не могу сделать теперь.

Прежде иначе я гадал: даже переселиться, совсем жить в Петербурге; теперь пошло все иначе: в один день с разных сторон дует ветер, и у меня нынче другой уж дует ветер. Андрею Александровичу Краевскому про этот ветер я уже говорил; [1] осталось мне издали смотреть, как мир в своих страстях воюет сам с собой. Может, было бы еще хуже жить, но ясный луч вашего света освещает меня до этих пор. Губернатор наш, его превосходительство Николай Иванович Лодыгин, не дает съесть меня людям. Чуть они задумают запутать в своих сетях, я к нему тотчас — и вновь дышу свободно. Боже мой! Чего хочут от меня эти честные люди? за что скрипят зубами? Что надо им? — не знаю. Если я с ними не пьянствую, не играю в карты, не просиживаю ночей праздно, то, кажется, за это им сердиться дюже не должно; а кроме,— божусь вам! — других грехов за мною и нет. Теперь тянут они меня, по делу отца моего, опять в Москву, в сенат, в 7-й департамент. Нужды нет, пусть

тянут; так и быть, поеду; поклонюсь вновь добрым людям, побьюсь с нуждою; уж с горем мы давно свои, с нуждою живем запанибрата, а все-таки, быть может, своей свободы в руки им не дам...

Угодно ли будет вам спросить: занимаюсь я словесностью или нет? Все свободное время посвящаю постоянно ей одной; выше этого дела я ничего не знаю. Но что мало пишу? Это оттого, что мало время есть у меня, которое могу я отложить от дел житейских на святое дело духа. А что пишу? Чтобы не наскучить вам *многим*, посылаю одну пьеску [2], которую, если вам понравится, хотел бы посвятить вашему имени... Вы милый наш поэт, поэт народной жизни русского духа и человек государственный! Соединить эти две великие крайности довольно трудно и тяжело, а вы соединили их... Поэтому каждый час вам, кроме моих безделок, необходимо дорог для дел великих и святых...

Вновь за принятое покровительство в моем деле приношу вам благодарность,— не ту благодарность, которая холодно выговаривается в холодной букве, но ту благодарность, которая долго и глубоко живет в теплой груди сознательного человека; которая меньше выговаривается, но в тысячу раз больше чувствуется на каждом шагу нашей жизни. Весь преданный вам и всей силой души моей любящий и почитающий вас, вашего превосходительства покорнейший слуга

Алексей Кольцов.

44. А. Н. ЧЕРТКОВУ

28 декабря 1839 г. [Воронеж]

Любезный, добрый Алексей Николаевич! С праздником вас, почтенье вам, привет вам от души!.. Еще бы чего? Гармонического состояния вашей душе! Все теперь. Благодарю за «Историю» [1]. Извините, что не могу быть у вас, простудился, болен немного, в комнате сижу. Если есть у вас весь Луганский, то, пожалуйста, дайте прочесть. С душевным уважением ваш покорнейший слуга

Алексей Кольцов.

45. В. Г. БЕЛИНСКОМУ

20 февраля 1840 г. Воронеж

Милый, любезный мой Виссарион Григорьевич! В Питере вы — час добрый, жить-поживать припеваючи! Каков Петербург? Сер, и воздух мутен, и дни грустны? На первый раз он кажется для всех таков, а обживешься в нем — и получшеет, и чем дальше, тем лучше да лучше, а наконец, и вовсе полюбится этот русский богатырь — Питер-городок. Конечно, дальше в лес — больше дров: Германия, Италия, я думаю, другое дело. Но пока нам туда грязен путь, хорошо и в Питере побрататься с нуждой. Как бы мне хотелось теперь хоть маленькую получить от вас весточку. А еще чего не хотелось бы мне от вас? — Да дело в том, что вам-то не хочется сказать мне ничего. Я терплю и думаю, что у вас все шли такие обстоятельства, что вам было не до меня и, может быть, порою часто и не до себя. Иначе я не могу думать о вашем долгом-долгом молчании. Если и теперь не до меня, не пишите еще,— справляйтесь со своими внутренними и внешними требованиями. Бог даст, придет время лучшее, тогда можно поговорить и со мной.

До какой степени мы люди: говорю вам от души, а в этой же душе какой-то демон шепчет: все бы лучше скорее получить от вас письмо. В самом деле, я его уже давно жду с такою же жаждою, как вы в Москве от Николая Алексеевича; [1] но все-таки опять скажу: некогда — не надо. Я знаю вас, и это сознание всегда говорит мне так же, как и прежде. Мой земляк, а ваш моряк, Сергей Петрович Крашенинников выехал из Питера тогда еще, как вы только в него приехали, и он мне говорил о вас, что вы в Питере. И это меня порадовало: два дни, как вы в Питере,— люди уж знают, что вы в нем; стало быть, вы им нужны, что занимаются вами.

А Станкевич второй был у меня проездом, говорил, что в Москве получили от вас письма, в которых пишете, что вам в Питере страх как уже наскучило и сгрустнулось. Это меня опечалило. Впрочем, за грусть я не стою, она там своя. Был у меня третий Станкевич [2]. Он как-то странно переменился, зарылся в науку, в формальность, математически сурьезно. Оно хо-

рошо с молодых лет поучиться хорошенько, а все-таки странно видеть человека ученого, сухого, без огня в душе и без фантазий жизни. Аксаков из путешествия воротился. Слава богу, что все так кончилось, и скоро и благополучно.

Я теперь к вам посылаю семь пьес; посмотрите на них, что хорошо, отдайте напечатать, что не хорошо — оставьте у себя. Из них думу «Лес» я давно уже послал Жуковскому; нужно было послать письмо, а не хотелось его послать одно,— ну и приложил «Лес». Письмо[3] же состояло из двух пунктов, первый: искренне благодарил его за дело, в котором принимал он участие, а другой,— в котором говорил о моих теперешних обстоятельствах и за которые я теперь краснею. Глупо сделал, что писал ему о них; для чего? Слабость. Думаешь, авось или то-то и то не будет ли. Худо сделал я, и жаль, что нечем воротить. Если «Лес» он захочет напечатать, то пошлет, я думаю, в «Современник» или «Записки»; а если долго его не будет там и вам он понравится, то передайте вы его туда. В нем я прежде видел много, а теперь, переписывая, как-то он показался мне вовсе гадким. Другие мои пьески мне кажутся лучше прежних; а впрочем, вы увидите это лучше; у меня часто и то хорошо, что никуда не годится. Одно меня радует, что я начал писать опять легче и скорее, и есть охота написать еще кой-что. Жаль, что нет у меня вашего адреса.

Я в Москве буду в апреле, а в Питере решительно быть нельзя,— средства не позволяют,— а до смерти жаль. Видно, вас уж я скоро не увижу.

Андрей Александрович, спасибо ему, присылает мне свою газету[4]. «Записки» у нас еще никто не получил. А добрый Плетнев прислал первый номер «Современника»; хотя он и легонек, но все ему большое спасибо за него. Прошлый год «Записки» я все получил от Андрея Александровича, и они много сделали добра: славный журнал, есть что читать в нем и есть над чем задуматься. У нас их нынче получают немного больше, а все никак не уверишь людей, что «Библиотека» гадость: по привычке хвалят да читают ее,— да и только. Русь, раз покажи хороший калач из пазухи, долго будет совать руку за ним по старой привычке. «Сына отечества» у нас совсем нет, он,

бедненький, все более хромает; стар муж деньги начал собирать, а время еще немного — и на покой. Зато уж драма за драмой, водевиль за водевилем дождем валит. «Сквозь старое решето скорее мука сеется»,— говорят мужички.

Посылаю вам еще одного моего знакомца[5] две пьески; а черт знает, может, я вам их посылаю — только скучаю; скажите,— не буду. Я ведь не из того бьюсь, чтобы услужить моим знакомым, а из того: если у них что выйдет хорошо, жаль так пропадет. Если у вас есть что из моих дать в журнал Плетневу, пожалуйста, дайте, а то мне стыдно перед ним и перед Андреем Александровичем. Я поступаю перед ними нехорошо: в прошлый год получил «Современника» четыре книги, а напечатал он мою только одну пьеску, а за одну пьеску взять четыре книги — довольно жирно. С Андрея Александровича тоже за четыре пьески я получил двенадцать прекрасных книг. Они, положим, люди добрые и хорошие; да все-таки за бумагу и в типографию, а иногда и [за] пьесы платят, я думаю, деньги. Не знаю, как пойдет у меня время, а кажется, я на нынешний год напишу больше; если это пойдет так, то с долгом выплачусь. Не знаю, отчего Плетнев не хочет напечатать у себя «Божий мир» и «Умолкший поэт»; положим, «Божий мир» и не того..., а «Умолкший поэт», кажется, годится.

Что ж еще вам написать? Ей-богу! больше нечего. О себе? — не велика спица в колеснице, и в молчанку съедет с рук; о других? — все живут и деток водят; о погоде? — лето было сухое, время плохое, хлеб дорог, кое-где желудки пробирает голод пуще мороза. Театр у нас есть, да такой гадкий, что тошно в нем быть: мужчины бесталанные, а женщины и безобразные. Играют все одни и те же трагедии, драмы, комедии, водевили, оперы, мелодрамы, балеты и всякие другие вещи. «Ревизоры» свои и «Гамлеты» — нипочем. И сборы идут хорошие. Как можно звонким риском да и в пору у нас много выигрывать! Особенное наводнение ощутительно в стихописателях; много их у нас развелось, не по месту: городишко маленький, а есть штук двадцать пять, и чаще всего пописывают

рифмованными стихами, и даже на разные случаи пакостные критики[6]. Любящий вас, как никого больше изо всех живых,

Алексей Кольцов.

46. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

14 марта 1840 г. Воронеж

Ваше сиятельство.

Любезный поэт.

Князь Петр Андреевич, вы помогли мне при самых гибельных обстоятельствах. Вы своим покровительством отвели от меня тучу, которая, может быть, навсегда бы уничтожила меня; и перевела бы из незавидной моей сферы в последний круг людей — рабочих, и я вечный ваш должник, и коленопреклоненно благодарю вас. Теперь помогите мне при другом горе: еще одно взыскание по старым делам отца моего пало на нас, он в 1823 году поручился по одному купцу, сумма по векселю в пять тысяч рублей, деньги эти, по решению гражданской палаты, положены взыскать с нас. Теперь оно перенесено в 4-й департамент правительствующего сената, в первых числах апреля, сего года, поступит в доклад; будьте добры, любезный князь, попросите его высокопревосходительство Петра Ивановича Озерова и обер-прокурора Мороза. Я хотел сам ехать к вам просить о покровительстве вашем лично, но средства мои совершенно не позволяют мне этого сделать; нынешний год дела торговли нашей сели на мель, и суша лета, и неблагополучие скота, и перемена межи, и дешевизна сала и других товаров, и дорогой хлеб чрезвычайно переменили и урезали капиталы и спутали круг торговли.

Делом литературы занимаюсь по-прежнему. Только жить в Воронеже все скучнеет, безлюдно, матерьяльно — грязь общества, и дурное направление мнений, неприязненность людей давят душу и теснят в делах дневных потребностей. Оставить бы его — да впереди еще темней. Какое мое дело? В чем оно заключается? Чтобы не беспокоить вас много, я при сем

посылаю из него краткую записку. Помогите, добрый князь.

Любящий и почитающий вас всей душою, вашего сиятельства покорнейший слуга

Алексей Кольцов.

47. В. Ф. ОДОЕВСКОМУ

4 апреля 1840 г. [*Воронеж*]

Ваше сиятельство, князь Владимир Федорович! Ко мне беда за бедою идут не поодиночке, но целою толпою: не успел еще вас благодарить за дело, в котором вы принимали участие и которое благодаря вашей защите кончилось уже совсем, вслед за ним тотчас посыпали еще одно, другое, третье, четвертое, пятое; хоть меньше того, что кончено, а все-таки вяжут руки и ноги. Кой-как сам собою начал биться, сладил, и хоть не вышел из них, по крайней мере попятил назад — и то хорошо. За ними вслед суша, падеж скота, лаж [1],— опять пошла писать... Бился, бился, опять кой-как сдержался на ногах. А теперь, ни оттуда, ни отсюда, новое горе: снял землю, думал хоть немножко поправить свои обстоятельства,— не тут-то было. Контракт не утверждают, жмут, тянут, волокут. Словом, крайность! Чувство души, здравый смысл — одна игра слова, насмешка над истиной. Другие нынче стали добродетели, другие пороки. Кто безличен, бессилен — мошенник, плут. А если есть то и другое у кого, головы рви с плеч,— прекрасный человек, честный человек, и даже очень умный! Прежде я очень злился на старика отца своего, что он при небольшой торговле так много положил дел на мои плечи: а вот теперь и мной начато первое дело, начато со всею аккуратностью человека опытного и испытанного, без крючков и задирок. Что ж вышло? Еще хуже. Почти два года контракт не утверждают, а отчего? — бог их знает. Конечно, у них на это есть, я думаю, свой резон, уж, верно, без всякого резона не станут человека мучить, особенно честные люди. Один губернатор [2] вошел в положение моего дела, помог, сколько мог, а честные люди, наперекор, послали в департамент.

По какому следу? И что за следы! Их можно выдумать сколько угодно; сем, пошлем — и послали.

Добрый князь, кроме вас, мне некого просить; вы облегчили мою судьбу. Помогите же свободно глянуть на свет. Вы, Петр Андреевич и Василий Андреевич,— вот все, кого носит память в смутную пору моих несчастий. Кроме вас, немного кто мне помогал и немногие будут помогать: это не то, что делать дурно: то как-то легче. Способнее людской натуре делать зло, чем добро. По слову Василия Андреевича наш губернатор и теперь поддерживает меня, а если бы не он, давно бы честные люди свернули б уж меня в комок. Сам чувствую, что вас утруждать недобросовестно с моей стороны; вам часы дороги, их, может быть, отнимают у вас насильно и кроме меня, на это везде, всегда охотников много. Но, князь, кого же, кроме вас, я буду просить, скажите? Если вы подумаете, что я беспокою вас потому только, что ради каких-нибудь прихотей пустяшных беспокоить вас хочу? О нет! Необходимость. Хочется сбросить эту грязь, потому что жить так, как живу я теперь, нет уж силы.

Вот сцены, которые со мной бывают всякой почти день. Посмотрите: я проситель-мещанин; честный советник дело мое тянет как проволоку. Как быть? Подумал и пошел бить челом управляющему;[3] стою, дожидаюсь выхода его знатности. Его знатность изволили выйти, подойти ко мне и удостоили сказать: «Что ты?» — «К вам с просьбою». — «О чем?» — «Мое есть дело у вас, другой год контракт не утвержден!» — «Контракт не утвержден?» — «Да-с».— «А отчего ж это?» — «Не знаю».— «Не знаю! то-то, не знаю! ходите по углам да закоулкам сначала, плутуете, мошенничаете, а как дело — и лезете ко мне».— «Н. И., позвольте вам сказать: я ходить по углам ходок самый плохой».— «Знаю я вас, все вы одно поете».— «Посмотрите на дело: мое дело, я уверен, скажет вам обо мне совсем другое».— «Что мне твое дело; у меня есть куча их».— «Дел много, но все ли они одного качества?» — «Контракт — и все равно одни».— «Но мой контракт другого рода».— «Отчего ж он не утвержден, когда другого рода?» — «Оттого, что другие все утверждены, а мой нет».— «Ты хочешь сказать мне,

что ты ходил больше всех по углам, да не успел?» — «Точно, с моим делом я был в одном угле, но быть в нем никому не стыдно (т. е. у губернатора).— «Ну, если ты там был, мы опять его туда пошлем».— «Как вам угодно, прощайте».— «Прощай». Обидно, черт возьми, показалось незаслуженное оскорбление, и такого рода! Грустно стало на душе.

Время идет, а дело сидит. Стой, Сем, пущусь на спекуляцию. У управляющего я видел человека; он мне немного знаком, пойду к нему, попрошу его: не поговорит ли он ему обо мне. «Дома?» — «У себя-с».— «Доложи, пожалуйста».— «Сейчас, пожалуйте».— «Здравствуй, Кольцов, что ты?» — «Вот что, вот что, пожалуйста, помогите».— «Хорошо. Принеси-ка мне свою книжку,— я поеду к нему завтра, передам ее, расскажу о тебе, поговорю о деле. А ты дня через два и ступай к нему прямо,— он сам был попечителем гимназии, науку любит и кой-что знает». Прихожу. «Что, о деле?» — «Да-с».— «Да что, твое дело получено от г[убернатора], да только он изволил написать нам немножко щекотливо».— «Мне губернатору нельзя же приказывать, как писать».— «Оно так, только твое дело пойдет в д[епартамент]».— «Зачем же, позвольте узнать?» — «А вот зачем: г[убернатор] написал щекотливо, так пусть нас д[епартамент] разберет».— «Но мое дело не стоит, кажется, посылать, и в нем, сами видите, плутовских штук, как вы называли сначала, совсем нет».— «Положим, и справедливо, положим, и здесь кончить можно, да не хочу, а пусть идет в д[епартамент]».— «Скажите ж, для чего его длить, когда его кончить можно здесь?» — «А для того, что я хочу здесь все перевернуть кверху ногами».— «Если так, извините, я вас больше и просить ни о чем не смею».

Вот какого рода пытки я должен испытывать то и дело. Бросить же торговлю и дела, заниматься словесностью,— чем жить? Взяться за торговлю другого рода,— нету капитала. Служить — нельзя. Ехать куда глаза глядят — не пустят. А жить, как живется,— горько. Конечно, есть люди, которые умеют пресмыкаться, подличать, и им и нужды нет, и все у них идет хорошо. Я делать по них не могу. Беда, кто

между людьми стоит одинок. Пока он не уйдет от них из глаз, давят они его со всех сторон.

Любящий и почитающий вас, с истинным почтением вашего сиятельства покорнейший слуга

Алексей Кольцов.

48. В. Г. БЕЛИНСКОМУ

28 апреля 1840 г. Воронеж

Любезный, милый Виссарион Григорьевич! Я получил от вас из Петербурга письмо и благодарю, душою благодарю вас за него. Оно развязало вновь мне руки, и развязало надолго. Конечно, ваше молчание чему я приписывал — так и вышло: хлопоты, заботы, труды, работа и работа нечеловеческая, переезд в Питер, дума об нем, приготовление, прощание с Москвою. Все это не безделка; особенно работа, которую вы выполняете,— надобно к ней силы, а то и голова треснет. Много и еще приходило и уходило у меня мыслей и других; были и такие, что, вместо чертенка, все доброе перешептывают в дурную сторону. В душе, боже избави, я никогда и не думал; однако ж все мы люди: как порою удержаться, чтобы не пришло в голову? Ведь, знаете, иногда напишешь хорошо, иногда и дурно. Особенно: как-то получил от вас письмо, где говорите вы, что из присланных нескольких пьес вам ни одна не понравилась. Еще ничего,— не нравится одна, две, три; а пять, десять — дурно, и мне шибко стало грустно. И еще больше оттого, что мне самому сдается, что прежде я писал лучше, а теперь почему-то пишу хуже, и этой зимой вновь начала эта мысль изменяться; вы же мною теперь так владеете, что ваше слово — приговор. А ведь неловко, черт возьми, так долго сидевши, не написавши почти ничего еще дельного, и выписаться... Худая посылка к самому себе. Если послано вами письмо другое в Москву, то прекрасно, а не послано, то пошлите тогда, когда вам захочется; мне больше этого не надобно. Пожалуй, я сто писем получу с одинаковою любовью, но вам время дорого, и оно надобно в настоящее время самому себе, и употребляйте его, как хотите; а мы, бог даст, этою же зимой в Питере увидимся.

Видите ли, у меня вышли перемены: вместо апре-

ля я поеду в Москву к сентябрю. Поживя там осень,— и к вам. Время будет свободнее, и дела торговли в ту пору у нас меньше, и я могу побыть дольше, даже до масленой; а если б уехал в апреле, то лишь в одной Москве я лишь хлопотал бы поскорей о деле,— и вон. Дело же не я так повернул, а оно само как-то так расположилось. Мне скучно в Воронеже: живу-страдаю,— людей нет, одиночество, жутко; дела грязны и время берут почти все сутки. Однако ж, ни на что не смотря, я, кажется, недели три поживу хорошо и, может быть, примусь за работу. Двадцать третьего апреля приехал к нам Павел Степанович Мочалов с женою и раз уж, вчера, двадцать восьмого, играл «Скопина Шуйского», тридцатого будет играть «Коварство и любовь», второго мая — «Смерть или честь», шестого — «Гамлета», потом «Отелло», «Короля Лира», «Ненависть к людям». И у нас в Воронеже большой праздник; у театра шум и давка. Он собой пробудил наш сонный город. Я не был на «Скопине Шуйском», не буду и на «Коварстве и любви», а потом все раза буду и вперед уверен, что он мою холодную натуру разогреет... Мука жить в тихом матерьяльном городе одному, сиротой.

Сегодня Павел Степанович был у меня; он так же ко мне добр, хорош и ласков, каков был прежде, даже лучше. Жалеет, что разошелся с Катковым. Говорил, что вас видел и был у вас редко; вы у него с тех пор не были; он не знает, это к чему отнести; хоть раз, встретившись, вы и говорили, что вы к нему все те же и не переменились нисколько,— чему он от души верит. Гоголь в Москве, однако Павел Степанович его не видал. Досадно, черт возьми, если он скоро опять улетит в Италию и я его не увижу; [1] а уж он поедет туда,— скоро не воротится. Павел Степанович говорил, что Кетчер с братиею хотят приняться за всего Шекспира, переводить; [2] дай-то бог, в ноги поклонюсь за него, только бы поскорей. Хочу выписать пока «Пантеон» [3], он не очень дорог, а в нем, я слышал, будут напечатаны: «Буря», «Сон в летнюю ночь», «Кориолан». Да, может, у Мочалова возьму «Ричарда Третьего». Он вам низко кланяется.

Да, был Николай Алексеевич Полевой в Москве и жалился ему на вас, что вы про него пишете дурно,

и так дурно, что ни на что уж не похоже, и что напрасно так делаете, что он не понимает причины такого гнева. «Конечно, говорит, перед Виссарионом Григорьевичем я немножко не прав, но для чего же не в меру горячиться? Он мог бы приехать, дескать, ко мне, мы бы с ним поговорили, я бы объяснил ему обстоятельства, почему я сделал так и так, а не эдак,— он бы сам рассудил, согласился, и мы бы с ним сошлись и начали жить по-прежнему». Я объяснил Павлу Степановичу, что эта ссора началась совсем не по личностям, как он думал, а чисто из раздоров внутренних интересов [4], на чем одно остановилось, с того другое пошло писать, и что пора прошла неопределенности, намеков, восклицаний и недоумений; что настало время решительных положений внутренних интересов,— какие они в настоящую пору, как их толкнут и каковы они быть должны; а что от всякой личности вы далеки и иметь их не имеете охоты. А, видно, Полевой пел ему об этом много, и Павел Степанович рассказывает об нем подробно и с участием.— Глупое положение нашей братьи — рифмачей: вот теперь и хочется написать о Павле Степановиче статейку, а чертовы размеры не дают хода прозе и велят молчать [5].

Поблагодарите, пожалуйста, Андрея Александровича за меня: я получаю от него «Отечественные записки», и уж получил три номера. Журнал — чудо, критика небывалая; [6] у нас все хватились читать его, и критику преимущественно; и везде и всегда речь постоянно толкуется о критике. За разбор «Горя от ума» все без исключения довольны, и читают и перечитывают; за Марлинского все бранят,— это их еще кумир, и кумира их вы за ворот ухватили без чинов! Итак, его читают и бранят, бранят и читают. О разборе в третьем номере [7] еще ничего не слыхал; недавно получен. Я читал и перечитывал, и все они чудо, особенно «Горе от ума»; впрочем, и те превосходны. Иван Петрович Клюшников начал поправляться и шибко пошел вперед; его пьески прелесть, объеденье [8]. «Тамань» Лермонтова чертовски поразила меня. «Казачья колыбельная песня» необычайно хороша [9]. А Каткова из Гейне «Ратклиф» я не понимаю. Но критика опять-таки всего лучше; это такие вещи, что

много голов сделают порядочными головами и много глаз настроят совсем иначе, как они глядели до тех пор. Я встретил кой-каких харьковцев, из университета, конечно, людей, которые любят словесность, и все они любят вас без ума и ими хорошо читался и учился «Наблюдатель» [10].

Я прочел «Физиологию» Велланского. Жалею, что не читал его давно. Теперь читаю «Историю» Данилевского, «Характер истории» Шульгина, «Американские степи», «Шпион» Купера. И Купер человек гениальный, однако не Вальтер Скотт. Получаю я и «Газету литературную». Судя по ней и что нужно для нее, хороша,— не больше и не меньше. Сто четыре номера в год, по листу в номере и по два в неделю — чертовская работа; однако она у нас проходит глухо. «Сын отечества» никто не читает, а кто выписал, жалеет, и это, вероятно, выписали в последний раз. Поклонники «Библиотеки» начали разочаровываться, и жаркие споры затихли; поборники ее примолкли и начали во всеуслышание сознаваться, что «Библиотека» плоха. Я вам пишу не от лица публики, которой у нас нет, а что говорит народ: его потребности, речи и рассуждения.

Скажите, бога ради: в третьем номере «Сына отечества» напечатана «Народная сказка» Пушкина. Не спекуляция это? Положимте, сказка русская, весь ее матерьял высказан прекрасно, коротко и полно, и по внутреннему достоинству она Пушкина, можно согласиться; но словесность, рифма — и уху больно, и читать тяжело [11]. Впрочем, я прочел ее с удовольствием, потому что русскую чисто сказку с рифмою писать нейдет: она ее не жалует; не будь рифмы, тогда бы другая была словесность,— она, быть может, стала бы к «Рыбаку и рыбке». Еще меня порадовало: Павел Степанович прочел мне две пьески свои, и они у него вышли чисто русским размером и стали в русское слово [12]. Я думаю, если бы подобный ему человек взялся написать стихи, то они бы у него вышли не русские, а европейские; человек жизнь провел на сцене, а что на нашей сцене есть русского, кроме «Горе от ума», «Ревизора», «Недоросля»? Да и то Ревизора он не играет, Недоросля, я думаю, тоже; одного Чацкого. Он обещал мне их дать.

Теперь я к вам посылаю семь пьес и о каждой буду говорить отдельно. 1) «Последний вопль земных страданий» или просто «Страдание». О ней вам ничего не скажу; понравится — хорошо, не понравится — лучше. 2) Песня: «Не скажу никому». Она мне нравится; и я до вашего письма послал Владиславлеву в альманах; он прислал письмо, просит прислать,— она была написана, а вы молчали, я и послал. Если он ее не напечатает и если она хороша, то напечатайте ее в «Отечественных записках». 3) «Его превосходительству Дм. Б.». Эту пьеску родня Бегичева — живет в Воронеже и во многом мне помогает — просил для Бегичева что-нибудь написать, я и написал. Ему она не понравилась; если не полюбится и Бегичеву,— будет лучше; но если она даже дурна и печатать ее будет нельзя, то скажите,— несмотря ни на что, я ее удержу дома. Лучше пусть сердятся, чем грязнить лицо. 4) «К ней же». Эта пьеска такая, какая есть: она иногда мне кажется хороша, а иногда гадка. 5) Песня: «Так и рвется душа». Посмотрите на ее конец, что-то он у меня в одном стихе заломился [13]. 6) «Дума двенадцатая». Она у меня выскочила в минуту; если она не из чего-нибудь, то пусть будет моя. Както таким образом у меня написалось, хотя я и не охотник на чужбинку. 7) «Божий мир» [14]. Он был отдан Плетневу, да он его почему-то не напечатал; если он хорош — так; а нет — так нет. С этих же пор, клянусь вам, кроме вас, никому не пошлю ни слова, а все, что напишу, прямо к вам, и лучше «Отечественных записок» для меня места не надобно. Дай бог только удержаться в них, и не отстать: чертовский журнал! Я так и смотрю в нем на свои пьески: не торчит ли какая вон? Горячо пошел работать в них родной наш разум. Дай-ка мне еще распахнуться нынешний год, а на следующий пойдет покос добрый.

Несмотря, что я осенью буду в Питере, однако ж поспешу вам послать мою тетрадь и, как вы желаете, напишу все худые и добрые: они что у меня, что у вас — все равно; а может, из них еще сыщется и путное [15]. Вышлю вам письмо, какое вы говорили. Но только буду вас просить при сборе книги выбирать вещи одни добрые, а кой-какие слабые, хотя бы они и были напечатаны, в книге не печатать; и надобно

смотреть на них не со стороны мещанина, а со стороны обыкновенного человека. Людям не много толку, что я мещанин, а надо, чтобы книга стояла сама за себя, без уменьшения и увеличения; а с ограничением — толку немного. Другая моя просьба: подождать продавать ее книгопродавцу. Больно мне бы не хотелось ее продавать с молотка; авось, бог даст, я соберусь деньгами, и тогда пошлю или привезу вам их. На свои деньги без поклонов напечатать лучше; будет польза — хорошо, не будет — не беда. Русская пословица: «охотку держать...» Книга же, думаю, теперь соберется порядочная, листов в пятнадцать печатных. А к осени-то еще что-нибудь напишу. Однако ж я это так говорю, про себя, а вам пошлю тетрадь и письмо и полную волю: что хотите, то и делайте,— вы ее хозяин. Что напишу, буду посылать к вам: прямо одни стихи, без письма, а то эти письма редко удается написать хорошо. А у вас на них время немного, нечего терять его на пустяки.

А вот что мне нужно, хоть в одном слове напишите. Есть у Луганского, в четвертой части его «Былей и небылиц», «Ночь на распутье»; она написана, кроме некоторых мест, языком варварским, а матерьял драмы русский превосходный; и мне все думается, что я из ней сделаю русскую оперу; [16] если это можно и труды не пропадут понапрасну, я начну, а нельзя — не надо. Я разумею труды не в деньгах, а чтобы время употребить на дело, а не на пустяк. Конечно, я сделаю оперу не такую, чтобы можно поставить на сцену, а по крайней мере чтобы можно было прочесть; а то ее теперь и прочесть нельзя. Будьте здоровы. Душой и телом весь ваш, почитающий и любящий

Алексей Кольцов.

Кланяйтесь Андрею Александровичу.

49. В. Г. БЕЛИНСКОМУ

15 августа 1840 г. Воронеж

Милый Виссарион Григорьевич! Простите меня, что я долго так к вам не писал. Письмо ваше получил давно, и все сегодня-завтра, и это сегодня-завтра

прошло до этих пор. Причина же самая обыкновенная. Люди так меня мучат, так отнимают время, что — целые дни проходят — я ничего не думаю, ни о дне завтрашнем, ни о деле настоящем. И, боже мой! — какие люди глупые, пошлые, чванные и многоречивые; разговоры: курьи ли выражения, свиньи ли длиннопения,— не знаю. А время все-таки берут, и оно уходит, и уходит невозвратно. Вот и сегодня: и выбрал праздник [1], и очистил дело, и запер дверь; нашелся человек, отпер ее — и несколько часов ушло; насилу отделался. Не отпереть — стучат дьявольски, и как-то эти меня их разговоры начали сильнее тяготить, так что иногда в голове становится кружение.

За письмо ваше благодарю, тысячу раз благодарю. Получа одно, я уже больше не ждал, зная ваши теперешние занятия, труды и дело, которое вы делаете. Вам не до писем. Счастливы вы, Виссарион Григорьевич, что вошли в этот мир прекрасный и святой, и живете в нем широко и раздольно, и выносите с собою из него так много святых, божественных истин, и так одушевленно передаете их нам. Не шутя и не льстя говорю вам, давно я вас люблю, давно читаю ваши мнения, читаю и учу; но теперь читаю их больше и больше, и учу их легче, и понимаю лучше. Много они уж сделали добра, но более делают и,— может быть, я ошибаюсь,— но только мне все думается, что ваши мнения тащат быстро меня вперед. По крайней мере нет у меня других минут в жизни, кроме тех, когда я читаю их. Я не знаю, кто бы не убедился этими истинами, кому бы они не пришлись по душе. Апостол вы, а ваша речь — высокая, святая речь убеждения. У меня много молодых людей, которые все вас любят душою, а есть много и староверов, которые почему-то не понимают вас и говорят, что слова «субъект» и «объект» ставятся напрасно. Эти люди, конечно, порядочные, их уверить нельзя, и труд напрасный; им сам бог покровительствует, они смешны — и больше ничего.

Пророчески вы угадали мое положение; у меня у самого давно уж лежит на душе грустное это сознание, что в Воронеже долго мне несдобровать. Давно живу я в нем и гляжу вон, как зверь. Тесен мой круг,

грязен мой мир; горько жить мне в нем; и я не знаю, как я еще не потерялся в нем давно. Какая-нибудь добрая сила невидимо поддерживает меня от паденья, и если я не переменю себя, то скоро упаду. Это неминуемо, как дважды два [четыре]. Хоть я и отказал себе во многом и, частью живя в этой грязи, отрешил себя от ней, но все-таки не совсем, но все-таки я не вышел из нее.

Ваша боязнь о моей женитьбе — боязнь напрасная;[2] это было давно, кажется, в третьем годе, когда я начал было об этом немного думать, и то не из того, чтоб хотелось, а старики отец и мать пристали ко мне да пристали, уговаривают, сердятся; мать плачет и просит: им непременно почему-то захотелось видеть меня женатым. Может, и сам я подал на это повод, был болен: ну, хоть и шло все это тайно от них,— да, видно, кто-нибудь сказал. Вот они из жалости ко мне и начали уговаривать жениться, и я, чтобы скорей отделаться, хотел было жениться, писал к вам, и по вашему слову переменил мнение. И теперь если женюсь, то уж знаю, какую жену мне надо; а до тех пор мои внутренние требования весьма не велики. Я не хочу быть человеком богатым — и никогда не буду. Не хочу быть никогда женатым и, может быть, не буду. Подло у подлецов ничего не ищу. Кланяюсь, гнусь кой перед кем по делам по необходимости, и поклоны эти крайне мне не по плечу. Впереди ничего не гадаю, живу, как бог велит, делаю то, что должно, бываю в обществах редко; всячески стараюсь, чтобы и у меня людей было меньше. Ценю дороже всего день настоящий, браню себя за прошедшее...

Глуп я был, давно бы надо было мне оставить Воронеж, тогда еще, когда мне было двадцать, а теперь и кинулся бы вдаль с голыми руками, да ба! — уж с годом тридцать, и тело что-то стало тяжело, и я стал ленив, мне уж нужен больше покой, а не жизнь разнообразная. Нет голоса в душе быть купцом, а все мне говорит душа день и ночь, хочет бросить все занятия торговли — и сесть в горницу, читать, учиться. Мне бы хотелось теперь сначала поучить хорошенько свою русскую историю, потом естественную, всемирную, потом выучиться по-немецки, читать Шекспира, Гете, Байрона, Гегеля, прочесть астрономию, геогра-

фию, ботанику, физиологию, зоологию, Библию, Евангелие, и потом года два поездить по России, пожить сначала год в Питере. Вот мои желанья, и кроме их, у меня ничего нет. Может быть, это бред души больной и слабой; но мне бы все-таки хотелось бы это сделать, и я уж начал понемногу, и кое-что прочел.

А чтобы быть мне хорошим книгопродавцем [3],— едва ли я им буду. Конечно, прежде, может, так, а теперь начать труд не по силе, особенно в Питере. На книжную торговлю я смотрю теми же глазами, как и на всякую; и чистая аксиома: где торговля, там и подлость. Будь человек святой — и то сделает низко, а сделавши раз, почему не продолжать? Конечно, есть исключения: например, Василий Петрович Боткин. Он — не сравнение со мною. Он вырос, у его отца были уж средства порядочно учить,— выучился. Торговля шла правильная, капитал большой, а большой капитал в деле торговли вещь великая. Ворочая на миллион, я могу нанять тогда хороших людей, заплатить большое жалованье; они делают все дела и, в случае моей отлучки на время, заменяют место хозяина, а я себе подвожу итоги, поверяю, да считаю их, знакомлюсь с людьми, покупаю кучей товар, в сроки плачу деньги, и все идет прекрасно, и много время от дел торговли на другие всякие дела. А маленькая торговля и небольшой капитал — и с нечего и подниматься в гору; похвальное дело, но трудное дело, и я на опыте уж это знаю. Здесь собраться с силами надо человеку, работать неутомимо пять лет, а ступать нога за ногу — десять. Если я возьмусь за это теперь, после десяти — мне стукнет сорок. А взяться с ничего и торговать, и учиться литературе—нельзя. Можно,— но не позднее двадцати лет; в ту пору еще силы человека работают неутомимо и разнообразно. Вот основная причина, отчего ваши петербургские книгопродавцы — все мошенники. Им другими и быть нельзя, они все торговлю начали сами, а не их отцы и деды, и начали с ничего; следственно, сначала они думали, как бы приобрести мало-мальски, а приобретая — время прошло много: поздно перемениться. И подличая сначала, по привычке должно уж подличать до конца. Если и я начну торговать,— будь у меня пять тысяч, дай мне Андрей Александрович пять

тысяч, вы две тысячи, всего — двенадцать тысяч,— в двенадцать тысяч что за лавка в Питере? На что иметь хорошего молодца, платить восемьсот рублей? — За лавку семьсот, капитал триста рублей, содержание на себя тысяча пятьсот; всего три тысячи триста. Следственно, надо с двенадцатью тысячами добыть в год по тридцати копеек процентов на рубль, кроме барышей. А если иначе сделать,— будет выгоднее, и лавка пойдет, и капитал умножится. Например, сначала делать так: привезть своих пять тысяч, взять у Андрея Александровича тоже пять тысяч, у вас две тысячи, заниматься самому, приказчика не иметь; через год вам денег ни копейки не отдать, входить во всякие дряни, позволять себе все,— и лавка пойдет славно, и капитал вырастет. И так делают многие. Но я решительно на это не способен и делать так не могу и не мастер; поэтому и буду худой книгопродавец. Обмануть же Андрея Александровича я ни за что не соглашусь, я его уважаю не этою стороною души, а вас, милый мой Виссарион Григорьевич, и говорить нечего! Моя любовь к вам другая. Боже сохрани! Лучше пропади я пропастью, чем обмануть вас!

Приказчиком же быть мне,— я тоже не гожусь. У меня тысяча примеров на глазах; самый паршивый хозяин не годится быть приказчиком, а приказчик и незавидный может быть порядочным хозяином. Жить у хозяина — надо деньги заслужить, я должен наняться весь, а не половина; а человек, делая одно и другое,— что за человек? Вы думаете, я теперь и сам дрянной хозяин, занимаясь любимым мне делом. Не делай упущений по торговле, а много, много посвяти себя я одной торговле,— и у меня давно уж был бы большой капитал; но сам бы я ни к черту не был уж годен. Я верно приобретаю часть, а четыре упущаю — и не жалею, бог с ними! Хоть меньше — да лучше.

А вот что вы говорите взять контору «Записок» — это дело другое, на это дело можно решиться скорей. Есть на первый раз уже основание небольшое, но прочное, без употребления своих денег. Брать две тысячи пятьсот на расходы — пока сумма порядочная, и если бы меня выпустили из Воронежа, это дело бы на себя я с великою охотою взял.

Вы спросите: кто не выпустит меня из Воронежа?

Полиция. Вы говорили: вам отвечать откровенно и искренне; я так и должен вам говорить, хоть и не хочется до смерти. Ничего нет хуже, как говорить искренне о своих грехах. Мы должны с отцом до двадцати тысяч рублей; векселедатели он и я, и кое-где и один я. Хоть, может быть, сумма эта для уплаты долгов и соберется, но на это надо время и надо, чтобы я и отец мой оба вместе хотели сделать так. А так как я поеду жить в Питер против его воли, пустить же он ни за что волею не согласится, то как я уеду, а какому-нибудь векселю придет срок, он и скажет: «Я не должен по нем, а сын, а он в Питере — пошлите туда». Что было в прошлую мою поездку? Приезжаю домой, зовут в полицию, просят по одному векселю три тысячи; но хорошо, в пору приехал, уладил с ним и деньги заплатили, а то бы вексель был послан в Москву. Он человек простой, купец, спекулятор, вышел из ничего, век рожь молотил на обухе,— так его грудь так черства, что его на все достанет, для своей пользы и для дел своей торговли. Купец настоящий устраивает одни свои дела, а есть ли польза из них для других,— ему и дела нет, и он, что только с рук сойдет, все делать во всякую пору готов. А мой отец, к несчастью, один из этих людей; мне от него и так достается довольно. Чуть мало-мальски что не так,— так ворчит и сердится. «Вы, говорит, все по-книжному, да по-печатному. Народ грамотный — ума палата!» Вот почему я не могу принять ваше предложение, за которое вас благодарю.

А думаю сделать вот как. Первого сентября я еду в Москву, хлопотать по 7-му департаменту, по делу старому моего отца; с него там идет иск тысяч в десять, и как кончу дело, может, как-нибудь сберусь приехать в Питер к вам. Я готов бы улететь и теперь к вам душою, но нельзя: крыльев нет, т. е. средств. Но, может, как-нибудь приеду, а если, бог даст, выиграю дело, то уж как бог свят приеду и проживу месяца два-три. Тогда отец пришлет денег — и там тогда обо всем. Но чтобы я не повредил позднее своей поездкой Андрею Александровичу, то прошу вас ему об этом сказать, а то в настоящую пору, прождав меня, передачу конторы упустит; а после мне, может, нельзя будет остаться, и дело от этого потерпеть мо-

жет убыток, а я собой вовсе не хочу доводить до этого никого.

Вы боитесь за меня, чтоб я скоро не потерялся. Это правда, и такая правда, какая она лишь может быть,— не только через пять лет, даже скорее, живя так и в Воронеже. Но что ж делать? Буду жить, пока живется, работать, пока работается. Сколько могу, столько и сделаю; употреблю все силы, пожертвую, сколько могу, буду биться до конца края, приведу в действие все зависящие от меня средства, и когда после этого всего упаду, мне краснеть будет не перед кем, и перед самим собой я буду прав. Другого сделать нечего. А что в 1838 году я в Москве написал так много и хорошо,— это потому, во-первых, что я был с вами и с людьми, которые собой меня каждый день настраивали; а во-вторых, я почти не делал ничего, был празден; тяготило до смерти одно дело, но одно дело — не больше. И я еще писал там весьма мало. А живя в Воронеже, кругом меня другой народ: татарин за татарином, жид на жиде; а дел беремя: торговля, стройка дома, которая кончилась с месяц, судебные дела, услуги, прислуги, угождения, посещения, счеты, расчеты, брани, ссоры. И я как еще пишу? и для чего пишу? Только для вас, для вас одних. А здесь я за писание терплю больше оскорблений, чем снисхождений. Всякий подлец так на меня и лезет: дескать, писаке-то и крылья ощипать.— Это меня часто смешит, как какой-нибудь чудак петушится.

А что я пишу не все хорошо, вы об этом сказали правду тоже. Почему же у меня идут пьесы не все хороши? Они всегда шли так, но прежде был Сребрянский. Он дрянные рвал, а теперь они все идут к вам. Мне же писать все равно, что хорошие, что дурные,— одно; и дрянь возьмет иногда больше времени. И я наконец добился, почему они выходят, что никуда не годятся. Иногда дурное дело дурно настроит душу, и хоть пройдет оно, а все-таки впечатление-то остается в душе. А еще большой недостаток, что негде у нас мне слушать хорошую музыку. Я до этих пор помню Лангера и тот вечер, и никогда его не забуду [4]. Да надо непременно изучить живопись и скульптуру. Они все вещи чудесные, и для человека, который пишет стихи, особенно необходимы. И самый Питер и Моск-

ва много своим величеством способствуют силам человека; а об театре уж и говорить нечего: здесь Мочалов и Щепкин люди необходимые. Вот почему у меня выходят вещи негодные и часто неполные, что я человек такой сам, у меня в натуре большие недостатки, а будь натура гигантская... Все всего сила создать не может... Будь человек гениальный, а не умей грамоте, ну — не прочтет и вздорной сказки. На всякое дело надо иметь полные способы.

Прежде я таки — грешный человек! — думал о себе и то и то, а теперь кровь как угомонилась, так и осталося одно желание в душе: учиться; и думаю, что это хлеб прочный и его мне надолго станет, а там что бог даст. Вас же прошу об одном: все дурные пьесы бросайте без внимания, а какие нравятся, те печатайте. Мне много будет говорить с вами при свидании об этом. Ах, дай-то бог, чтобы оно скорее исполнилось. Рвется моя душа видеть вас, слушать вас.

Черт знает какая ошибка в «Лесе»! Он мне шибко нравился,— мне думалось, читая его, что какой-то злой демон выходит из него и шепчет грустные мысли, и в какую образность ни входит, всюду разрушает жизнь и, наконец, в общем уничтожении выводит смерть; а сила души, в самой смерти сознавая свое величие, уничтожает его и, торжествуя, расширяет жизнь. Но, может, оно и не вышло так; какое дело? их бросить! — все, и делу конец. Из тех, что прислали вы, я не буду поправлять, кроме двух: «Стеньки Разина» и «Песни» [5]. Поправки дело дьявольское. Что написалось, то давно забылось. Насильно же заставить жить тот момент, который давно не в груди,— вещь трудная [6]. «Песню» я поправил, а «Стеньку Разина» поправлю, и посылаю вам еще новых четыре пьески: какие хороши — те так, какие нет — в сторону.

О журнале вам говорить, право, я ничего не сумею, и об нем говорить довольно трудно. «Записки» — не «Библиотека», не «Сын отечества»; о тех бы я насказал коробы. В «Записках» отделение о России идет как должно. Повести, проза прекрасны. «Недоумение» лучше всех [7]. Стихи, исключая моих, очень хороши, многие чудо хороши! Особенно остаются в памяти Лермонтова все [8], а Клюшникова, Ивана Петровича: «Собирателям моих элегий», «К ней»; Каткова: «Гре-

надеры», кой-какие Красова. А всего журнала лучше критика,— не льстя и не шутя; одно жаль: нет вашего имени под нею. Это для многих было бы нужно. Летопись[9] тоже чудо как хороша... А часть наук и так и сяк. Статьи от. Иакинфа «О Китае»[10] интересны — не больше. А, кажется, можно бы приобретать статьи, какие были в «Телескопе» во время оно или в прибавлении «Одесского вестника» прошлых лет.

А хуже всего «Сельское хозяйство». Оно вовсе не по журналу, и особенно какого-то дурака напечатана статья о покраже хлеба и мере,— гадость гадостью. Да и все статьи не шибкие. Эти господа агрономы напитаны иностранными теориями и принятыми методами тридцатого года, которые во мнении начали упадать, кроме метод: сахарной, машинной и мануфактурной. На сельское русское хозяйство надо смотреть по-русски, а не по-немецки. Немецкие методы нам не годятся, и их орудия — не наши орудия. Наш чернозем любит соху, а чтобы улучшить соху, надо улучшить руки людей, которые ею работают. Дело и в орудии; но дело и в умении управлять им. Можно и на одной струне играть хорошо, а глупец и на четырех уши дерет. Кто-то написал в номере шестом статью, подписался *Пахарь;*[11] начал хорошо, а кончил дурно. А часть хозяйства в журнале вещь не лишняя. Через нее много можно выиграть у степняков-помещиков; они любят этакие штуки читать; и им бы все надо, если не так хорошо, да больше. Смесь идет хорошо. Картинки мод очень хороши. Да все мне жаль, что такой хороший журнал начал издаваться в дурное время. Несчастлив Андрей Александрович. В прошлом годе был неурожай, и сей год; а это много значит: другой бы и степняк-помещик, и житель городской выписал журнал, да людей надо кормить, да купить хлеба, а денег нет. Будь иное время, он верно бы имел подписчиков больше третьею частью теперешнего, если не больше.

Все говорят: «Библиотека» больно плоха. «Сын отечества» никуда не годится, «Записки» хороши. Мнение хорошо, а денег нет, покупать не на что. Если же, неравно, выписывают журналы, то потом «Библиотеку» — ради Брамбеуса; он много сперва захватил кредиту своими грязными остротами: они прихо-

дились по людям как раз; а «Сын отечества» — ради Полевого, которого по старой дружбе (стариков много еще и теперь) любят. Теперь «Репертуар» дурен, а «Пантеон» лучше, а все говорят: «Репертуар» — чудо, а «Пантеон» — дрянь; так, как «Маяк»,— гадость, кроме, может, в четвертом номере статьи о философии Бурачка, в которых я больно толку не знаю, а рад каждую статью философскую, как и статью о Шекспире, читать и уважать; а за плоские, грязные, бессовестные штуки и остроты Бурачка похваливают. Он, говорят, вишь как всех пощелкивает да надо всеми подсмеивает, что ну-поди, а! Народ же, как ни дурен, но имеет свое время, пору, силою же в один час его не переделаешь.

У вас в «Литературной газете» напечатана статья г-на Кронеберга о поправках «Гамлета»; очень вещь не выгодная для Кронеберга — и довольно дурно его рекомендует. Можно замечать и поправлять ошибки, как ему угодно, можно даже перевести «Гамлета» лучше Полевого и легче Врончении; но так бессовестно бранить старше себя и, верно, лучше себя, и за такой труд, за который Николай Алексеевич Полевой заслуживает в настоящее время полную благодарность! Без его перевода не было [бы] на сцене такого «Гамлета» и в нем такого Мочалова, какие у нас есть теперь. Надо бы Кронебергу сначала его перевесть, а потом напечатать, а потом и ругать других,— и дело бы тогда было похвальное. Бранить Полевого за «Уголино», за драмы, водевили и переделку их с французского — другое дело; здесь всякая брань у места.

Андрею Александровичу прошу вас передать мое искреннее почтение. Итак, до свидания, милый, любезный мой, Виссарион Григорьевич, и это свидание буду стараться устроить как можно скорей. В Москве не заживусь, там теперь один Василий Петрович, Павел Степанович, Михаил Семенович. Да если б бог дал увидеть Гоголя! Застану ль? нету ль в Москве? И не знаком, а уж пойду к нему: хочется быть у него, да и только. Любящий вас, как люблю и любил душою,

Алексей Кольцов.

О напечатании книги [12] уж, верно, приеду, поговорим. Мне все почему-то хочется погодить этот год: книга мала. Если бы еще написать, а уж напечатать порядочную книгу страниц триста, а то ведь хороших пьес не так много; кой-какие и из напечатанных печатать не годится, тогда иные были порядочные, а теперь читать совестно. А впрочем, ваша воля: как хотите, так и делайте; вас слушать я готов. А русские народные песни тетрадь, верно, вы потеряли [13]. «Записки» и «Газету» все номера получаю исправно; и вам и Андрею Александровичу за них много благодарен.

50. А. А. КРАЕВСКОМУ

1 декабря 1840 г. Москва

Дорогой и любезный Андрей Александрович! По желанию нашему третьего дня был я с Васильем Петровичем Боткиным в конторе «Отечественных записок». Она на Кузнецком мосту, но только вход в нее не прямо с улицы, а надо взойти в вороты и перейти сначала целый двор, не очень чистый, с одной стороны, и над крыльцом ее вместе с вывескою «Контора журналов» — «Здесь диктируют сукна». Это не очень ловко. И войдя в сени, направо — то же, а налево — контора журналов. Дверь всегда заперта, колокольчика нету, а как постучишь, отпирают скоро. За маленькой прихожей довольно большая чистая комната. На стенах разные большие и маленькие картины, очень порядочные; прилавки и шкапы сделаны очень хорошо, журналы за стеклами в порядке, на столе записные книги и счета, как следует. За комнатой конторы еще другая большая хорошая комната, где живет сам Кони. Приказчик у него немец, дурно говорит по-русски, Кони тоже; говорят много и охотно, хоть слова их и с трудом понимаешь; и что-то мне показалось, что Кони и его приказчик или такие от роду немцы-чудаки, или часто попивают винцо, лица довольно у обоих красны. Более любят говорить не об «Отечественных записках», а об «Литературной газете», что этот журнал с нового года будет издавать г. Кони и журнал будет очень хороший. Большая вывеска на улице очень велика и наглазна, только сделана не в

пользу вашу: на ней, после верхнего слова *Контора*, в другой строке во всю длину доски огромными словами: *«Литературная газета»*, потом небольшими словами в одну строку ниже и *«Отечественных записок» и «Русского пантеона»*, потом в нижней самой строке: *и всех других российских журналов*. А, по-моему, кажется, следовало бы написать: *Контора «О. записок», «Л. газеты» и «Пантеона»*,— это было бы лучше, и ваш журнал был бы на первом глазе. Кроме этого, о г. Кони слышал я от многих мнение не очень хорошее, что он человек поведения дурного и уж много раз замечен в весьма дурных разного рода делах, и кредиту никакого не имеет. Как у вас и кем все это сделано, я не знаю, и, может, Кони вы знаете лично совсем с другой стороны; мне до этого дела нет, а я пишу вам, что видел и слышал.

Был у Улитина; он сам начал речь о конторе, о Кони, конечно, соболезнуя и жалея вас, и кончил тем, что он у себя бы в лавке согласился на каких вам угодно было бы условиях вести подписку честно и аккуратно,— чего на деле он, может быть, и не исполнит, но все-таки глядите, чтобы и Кони вас не надул. Какие нужно взять меры, возьмите; переводить же в другое место и поздно, и некуда, и неловко. Разве угодно вам сделать только то, чтобы и обеспечить себя, и уладить это дело как-нибудь получше. Так можно сделать вот как: я говорил Василью Петровичу Боткину, и он соглашается в этом деле принять участие: через две недели приходить в контору, делать счет, брать деньги от Кони и посылать их к вам. Если это вам сделать будет угодно, то вы пришлите на имя В. П. Боткина доверенность, а насчет вывески распорядитесь, как знаете. Если можно переменить квартиру и сочтете надобным в другое, лучшее место, чтобы хоть быть прямо с улицы,— то это ваше дело.

Извините, что пишу как-то неловко, нескладно и на гадкой бумаге: приехал недавно, дела много, а написать к вам хоть как-нибудь, а хочется поскорей. Будете говорить об этом деле с Ф. А. Кони, обо мне, пожалуйста, не говорите, а то он будет сердиться. Я проживу в Москве две недели. Захотите писать ко мне, пишите на имя Боткина. Искренне любящий и уважающий вас

Алексей Кольцов.

51. В. Г. БЕЛИНСКОМУ

15 декабря 1840 г. Москва

Милый Виссарион Григорьевич! Вам до последней степени кажется невероятным мое долгое молчание. Восемнадцать дней я живу в Москве, и к вам еще ни слова. Да мне самому это уже наконец показалось очень странным; но или так у меня в натуре, или, поехавши из Питера, мне было очень горько. Расстаться с вами прежде было делом обыкновенным; теперь не так. А как долго не мог привыкнуть, что уехал: еду, в Москве,— и вас со мною нет. Питер меня в нынешнее мое житье в нем меньше привязывал: мало я в нем оставил, меньше он во мне. Проигрыш дела также сильно подавил меня, хоть я и молчал, и он-то был больше виною моего молчанья. У меня, вы знаете, было другое дело в Москве. С первых дней приезда я занялся им, оно переменило было свой ход. Надо приложить силы и время,— и десять дней как не было. Теперь оно кончено, и, слава богу, хорошо. Письма князя Вяземского имели полный успех; без них я бы ничего не сделал: и хлопоты и труды пропали бы напрасно[1]. После десяти дней я собирался писать каждый день к вам, но так пришло ко мне время хорошо, такая полная жизнь вдруг посетила мою грудь, что я подобной не видал давно, давно... Мне не хотелось упустить эту пору,— за карандаш и начал кропать стишонки. Их все посылаю с этим письмом к вам;[2] прочтете,— увидите, что время шло у меня не даром. Но, кроме этого всего, я к вам теперь писать часто как-то не могу, сделалось тяжельше; все собираешься, хочешь написать и больше, и лучше, и оставлялось до завтра; завтра — опять то же; и я уверен, что и теперь пишу к вам так же, как бы написал вчера и третьего дни. Но что ж делать? — Я человек, подвержен общей слабости подобных мне людей.

Однако, несмотря на худой ход моего дела сначала, все-таки, как говорили с вами, что во вторник вечером я успел быть у Василия Петровича, и у нас с ним начался разговор о вас и шел за полночь далеко. Говорил ему обо всем: где вы живете, как вы живете, с кем вы живете и проч. и проч. Он обо всем слушал с полным к вам участием,— да иначе и нельзя было,—

и со всем согласен с вами. А как он, любит вас? Этот вопрос совсем лишний. Из прежней апатии своей он почти вышел; остаются в ней и еще кой-какие части прежних впечатлений, да уж действуют легко и, кажется, скоро совсем улетучатся в ничто,— и хорошо будет. Я прежде не знал этого, и потому он казался мне иногда странен. Но, впрочем, он ко мне гораздо лучше. Я подозреваю, что виною этого вы. Вы что-то мне об этом, помню, намекнули; за что вас благодарю, и вместе, если бы вы мне об этом сказали тогда, я бы попросил вас не говорить ни слова. Подобные вещи не очень удобны: или мы можем отяготить человека противу его желаний, или вовсе оттолкнуть рекомендованного человека. И я сначала бывал у него не очень часто, несмотря на то что он был ко мне всегда хорош; но потом увидел, что, кроме всего сказанного и переданного, есть у него свое для меня местечко, особенное; тут мне стало легче, и я бывать начал чаще. Красов у него живет в доме, и они сжилися,— и Красову очень хорошо.

Ваша статья о театре [3] ему, т. е. Боткину, очень понравилась. Он ее прочел пожирая. За критику о Ломоносове [4] в Москве все люди старого времени вас бранят на чем свет стоит, и даже Константин Аксаков пишет об нем диссертацию в опровержение вашего мнения, в которой именно — он говорит — он будет разбирать Ломоносова как поэта сначала, что и докажет, а потом уж — как ученого. Он имеет кой о чем довольно странные мнения. У него Шекспир, Гомер и Гоголь — поэты пластические,— и больше их нет поэтов в свете; а все другие поэты романтические, и проч. А старый Аксаков кой-где говорил об вас как о человеке самом негодном,— хуже даже, чем об Александре Анфимовиче Орлове сказал бы какой-нибудь добрый человек,— такова, знать, нынче дружба!

Ваш брат [5], однако ж, бывает у Аксаковых раз в неделю по середам, и он его охотно учит по-английски.— Константин [6] все ждет от вас письма. У меня спрашивал, не забыли ли вы его; я говорю: нет, и так же любите; да я иначе и сказать не могу. Брату вашему посылку отдал. Он живет не очень хорошо, Дмитрий Иванович [7] немножко к нему переменился, у них была уже несколько раз ссора. Денег не дает ни ко-

пейки, только не отказывает в столе и комнате; конечно, спасибо и за это. Платья у него весьма немного, и если бы не дал ему Боткин своей шинели, то бы и не в чем было ходить. И теперь, кажется, нуждается кое в чем крепко; особенно ему надо кое-какие книги, и я взял у него на них записку, посылаю к вам. Если вам можно их будет взять и прислать, то чем скорее, тем будет лучше. Дарья Титовна[8] ждет денег и больно нуждается, и ей приходило тесно очень; но как-то перевернулось, и теперь живет опять у своих господ. Этим я вас, конечно, не утешаю, но надо было ж, однако, вам сказать все, что я узнал, и передать вам, как оно есть. С братом вашим говорил, о чем вам хотелось, и много; и он сам жалеет, да не возвратишь, что утратил время понапрасну, да воротить его уж нельзя. Он даже хочет взять переводить с немецкого работу для Погодина, что Аксаков взялся устроить. Он уж пробовал,— что-то прозою переводил из Гете, и говорит, что дается. Что я ему советовал,— сделал. Оно, конечно, и не надо бы для Погодина, но тут дело как-нибудь забить копейку. И мне кажется, что из него путь будет. Натура была его изгажена, однако ж поправляется, и в нем много застенчивости и конфузу. Я ему советовал все эти гадости оставлять и смотреть на вещи иначе. Он у меня кой-когда бывает.

Я у Дмитрия Ивановича был раз,— да больше и быть, кажется, не за чем, и его доброта к вам основана на том, что вы ему сделали много добра, а сам в себе он гораздо меньше. Клюшников давно приехал; на Кавказе, говорит, ничего не писал, а начал какую-то длинную повесть в прозе. Поздоровел, потолстел там, и личико теперь у него сделалось полно и пухло и кругло, что к нему не очень идет. Кудрявцев от критики московских книг хочет отказаться[9], а взять ее хочет Красов с жадностью. О конторе «Отечественных записок» я давно к Андрею Александровичу писал; и Василий Петрович с охотою берется в ней хозяйничать, считать, брать деньги и посылать к Андрею Александровичу; но для этого от него нужна доверенность. Я писал и об этом; но доверенности еще нет, и, верно, этого или сделать нельзя, или не хочет, а было бы лучше. Но это дело не мое; что сумел я, сказал и сделал, а что по этому сделают,— дело [не мое].

Боткин перевел с английского критику какой-то женщины об Юлии и об Офелии; скоро пошлет [10]. Кудрявцев пишет новую повесть [11], начало читал Боткину, еще не кончил; какую,— не знаю. Он живет хорошо, имеет много мест. «Ромео» Мочалову отдал; он взял с радостью и тотчас закутил. Орлова учит роль с большой охотою [12]. А денег еще Мочалов не платил, верно, нет, и об этом не было речи; хотел приехать к Боткину и не был. Сатин напечатал «Бурю» Шекспира. Перевод — Боткин говорит — вылощен, сглажен и слаб, хоть довольно верен; а Каткова «Ромео» сравнивал, и выходит очень не верен: и мелкие цветы, и тени — все упущено. Был я у Улитина, Николая Николаевича, и у Ксенофонта Алексеевича Полевого. Говорят, что подписка на журналы идет весьма дурно, и почти ничего нет; что будет дальше? Будете у Полякова в лавке, пожалуйста, скажите, чтоб он послал «Кота Мурра», который я взял у Песоцкого; отдал ему послать их Боткину — а их нет до сих пор. Благородный малый! сам вызвался — и не посылает [13].

Был у Щепкина; он принял очень ласково, спрашивал много о вас, с такою заботой и искренностью. Я говорил, как вы живете, где, и что много лучше, чем жили в Москве, и чем дальше, то все у вас будет лучше, и еще кое-что прибавил,— в вашу пользу, конечно. Он живет один; семейство все его уехало в Казань. Говорят, что денежные дела его не так хороши, но он все одинаков: человек умный, добрый, теплый и милый. До моего приезда на маленьком театре в первый раз играл он «Ревизора». Боткин видел и говорит, что был он так хорош, как никогда не был. Красов ту работу, которую взял выбрать и сделать статью, кажется, не сделает, и Андрей Александрович был прав. Каткова мать получила из-за границы от Каткова письмо. Что пишет, не знаю. «Отечественные записки» здесь почитывают, и тоже кое-кто бранит, больше за то, что все, по их разумению, много в них есть для них непонятного.

Я проживу в Москве до пятого генваря нового года. Если захотите написать ко мне письмо вскоре, то оно еще меня застанет здесь. Пишите лучше на имя Боткина; а если не захотите скоро, то пишите уже в Воронеж. Я ведь в этом насильно сделать вовсе не

думаю, хоть ваши письма и рад от души получать тысячу раз в год. Что вам не понравится в этих моих пьесках, пожалуйста, заметьте и пришлите; я поправлю. А если все понравятся, то мне бы хотелось, чтобы вы одну из них отдали Плетневу в «Современник»; но это, как вам будет угодно, так и делайте: они в полном вашем владении. А что до их посвящений, то я и князя Вяземского и Одоевского спрашивал, и они свое согласие изъявили [14].

Объявление на «Москвитянина» объявлено, и с нового года будет пущен в ход [15]. Аксаков, кажется, в нем будет участвовать. Гоголь обещал прислать Погодину повесть, но еще не прислал. А Боткина брат пишет, что он начал писать драму; интерес взят из малороссийской истории, и что много написал и скоро кончит. Для кого написал он? Кому отдаст? Неизвестно. Ну вот вам подробный и длинный рапорт обо всем, что я знаю и что по должности службы могу вам передать без прибавления и утайки.

Теперь конец кислой истории.— Как вы поживаете? Что у вас нового? Ваши дела? Житье-бытье? Что Марья Ивановна? Не побранились еще? Дурачитесь? Работаете, и много? У вас теперь, я думаю, самая головоломная работа и много неприятностей; это я особенно представляю. И дай бог, чтобы обманулся. Как ни вспомню я о вас, все мне что-то делается грустно, и на что ни смотрю, все темно, кроме если сладили с Плетневым; да я думаю, еще нет: время мало, а для этого его надо больше. Но если уж имеете где-нибудь урок — и то в половину уж хорошо. Мне как-то теперь всё вы сделались ближе, и, кажется, ваша боль больна и мне. Когда ж прояснится ваш горизонт? или он чист и теперь? Напишите, вы меня обрадуете, а мое долгое молчание простите. Я все причины рассказал, и они точно те, как были. С этих пор буду писать чаще. Скажете, одни обещанья; нет, будет исполнение. Ах, если б к вам скорей!

Если б знали, как не хочется мне ехать домой,— так холодом и обдает при мысли ехать туда. А надо ехать. Необходимость — железный закон. О мелочах как ни говорил вам много, а о чем собирался говорить, сказал на страничке, и совсем не так сказал, как хотел. А если б вы знали, сколько было сборов

писать к вам: сперва бумаги купил, перо час чинил, комнату запер, чтоб никто не помешал, и вот чем кончаются эти сборы — пустяками. Хоть врать бы что-нибудь еще — и того не умею. О музы! дайте хоть вы своих небесных слов и мыслей, чтобы кончить это начатое с такой заботою письмо и так веденное печально кончить не смехом, а чем-нибудь другим: возвышенным, выспренним и важным. Не стыдитесь, музы, прилететь в вонючее Зарядье: теперь ночь, и никто из людей солидных вас не увидит... И вас нет, дорогие мои гости! Ну, что делать? — до следующей поры подожду. Видите ли, вот моя штука — пакость чистая. В этом роде я все хуже,— и не хвалюсь.

Александру Александровичу [16] искреннее почтение; я его полюбил всей душой, и сам не знаю за что. Михаилу Александровичу [17], Ивану Ивановичу [18] и Авдотье Яковлевне [19] низкий поклон, Кирюше [20] также, Андрею Александровичу с Анной Яковлевной [21] на особицу посылаю челобитье от души. Смертельно вас любящий, ваш

Алексей Кольцов.

52. В. Г. БЕЛИНСКОМУ

[*Декабрь 1840 г. Москва*]

«Грусть девушки», шестой куплет я отчеркнул, он кажется мне лишним; если и вы найдете то же, то его вон, и тогда уже будет надо в последнем куплете вместо: «Нет, не в радости» поставить: «Ах, не в радости». Эдак будет она полнее. «Жалобу» я посвятил вам потому, что в ней много сказано от души и про вас, и про меня. В этой стороне нашего жития у меня с вами много схожего. Конечно, если напечатать ее в журнале, то посвящение можно будет замарать. Я вовсе не думал посвятить вам печатно, а лишь положить ее на ваше чувство. «Шекспир, дума» если хороша, то мне бы весьма хотелось ее напечатать с посвящением князю Вяземскому, и об этом я у него спрашивал; он с охотой согласился. «Ночь»—эта песня пахнет какою-то русскою балладой. Пожалуй, если я не ошибаюсь, то поставьте и «баллада». И тоже, если она вам

понравится, то напечатайте с посвящением князю Одоевскому. Согласие и от него тоже взято. «Поминки»—название не хорошо. Как хотите, так и назовите. В ней я сначала чертовски хвалю всю нашу братию, но все-таки в ней чистая правда. А о Станкевиче, конечно, надо бы говорить больше, но я этого сделать не сумел. По крайней мере я сделал, что мог, и сказал, как сумел; другие пусть скажут лучше. Но у меня спала тяжесть с души, а то все укоряла меня его безвременная смерть. И эта прекрасная, чистая душа как будто говорила мне все на ухо: «Схоронили,—позабыли». «Ночь» и песня «Много есть у меня» страшно понравились Рабусу. Последнюю он тотчас же перевел по-немецки.

Каково, Виссарион Григорьевич! нежданно-негаданно я написал такую пропасть! И еще, кажется, напишу, и что выйдет, прямо к вам. Мое маранье теперь исключительно делается больше для одних вас; так уж у меня давно решено.

Я писал вам о вашем брате [1], но забыл еще сказать одно слово. Если вы захотели бы его взять к себе в Питер, то я этого делать не советую, по крайней мере до экзамена. Да и он сам ехать не хочет; сегодня я с ним говорил об этом. Осталось время немного—доживет и здесь. Аксаков дал ему переводить повесть из Гофмана для «Москвитянина» и сказал, если она не напечатается в нем, то тогда отошлет в «Записки». Я ему растолковал, что это значит.

Еще раз прощайте, милый мой Виссарион Григорьевич.

Ваш *Кольцов.*

53. А. А. КРАЕВСКОМУ

23 декабря 1840 г. Москва

Добрый и любезнейший Андрей Александрович! Николай Христофорович г. Кетчер покорнейше вас просит принять участие в переведенной им из Шекспира комедии «Ошибки», которую он для бенефиса Михайла Семеновича Щепкина перевел на скорую руку; потому что он прежде перевел было для него же

первую часть «Генрих IV». И она с другой еще, не знаю какой, была послана через театральную московскую контору в петербургскую цензуру; но они обе цензурою играть на театре не позволены. Теперь на бенефис у Михайла Семеновича играть и нечего. Ну, вот Кетчер этому горю опять помог: взялся и в одну неделю перевел целую комедию. Послать же ее опять если через контору,— пройдет много времени. Без вашего ж пособия как бы и эту не остановили, хотя в ней предосудительного ничего нету; но уж тращенная птичка — ветки боится. Бенефис же Щепкина назначен 24 генваря: время не много, а дела много, и дорога длинна.

Вся надежда на вас, и, кроме вас, уладить подобное дело никто не может. Вас же Кетчер, Михайло Семенович и я покорнейше просим передать ее в цензуру и попросить в ней г. цензора, чтоб процензуровал ее поскорей, и послать, хоть через контору, если можно, к Щепкину. Если она получится и 20 генваря, то еще ничего. Теперь вопросы: почему, скажете, пишешь ко мне ты, а не Кетчер? — Он готов к вам написать двадцать раз, да с вами лично незнаком. Еще: из чего я хлопочу? — Из того, что я поддерживаю честь вашей фамилии.

По приезде в Москву я послал к вам письмо [1] — извините, спешил — на чем попало: хотелось поскорее, лишь бы написать, о чем было вам угодно знать. Получили вы его? Подписка здесь на все журналы идет весьма тихо; что будет дальше? Василий Петрович Боткин на днях посылает к вам славную статью, которую перевел он с английского, из какой-то мисс... мисс... [2] ей-богу, позабыл.

Анне Яковлевне низкое почтение. Искренне уважающий и любящий вас,

Ваш *Алексей Кольцов.*

54. А. В. КОЛЬЦОВОЙ

10 генваря 1841 г. Москва

Милая сестра моя, Анисья Васильевна! Благодарю тебя душевно за письмо; оно так полно души и чувства любви и искренности, что я прочел его несколько

раз. Такие письма не всегда у нас выходят из души. Это была у тебя прекрасная минута, в которую жила жизнь чудесная, непостижимая тайна души человеческой. В ней в одной сколько жизни, сколько сторон различных, сколько углов и тайников добрых и злых. Порою именно святая благодать неба осеняет ее и веет упоительно на все такою магическою силою, и в ту пору к чему она ни прикасается, все освещает своим божественным светом, самую ледяную душу согревает теплотою своего чувства, и все помыслы исчезают, как дым от лица огня. Но бывает другая пора, пора тяжелая, полная грязных мыслей и грустных дум и замирающей тоски; и весь свет нам кажется печален и мрачен, и злой дух невидимо преследует нас и шепчет нам какие-то страшные речи и силою тянет нас на грех, на зло, на муку и на гибель. И если в чьей груди не лежит нравственного сознания о самом себе,— беда. Он в одну минуту погубит нас навсегда, и уж никогда из-под его влияния не освободится человек; каждую минуту он из одной крайности начнет иттить в другую, пока бездна погибели не поглотит и его доброго имени, и его существования.

Эта-то минута, этот-то злой дух погубил бедную Варю [1], и она, не имевши в груди нравственного долга, погибла навсегда. Теперь у ней один остался выход из этого состояния, и этот выход — смерть. Потому-то она бессознательно и призывает ее прежде времени. Какие страшные драмы разыгрываются в жизни, и разыгрываются в наших глазах! Бедная Варя — если не вспомнила, то скоро вспомнит мои слова! Я говорил ей еще их вовремя; но, видно, не было у ней в душе чувства понять их. Да, есть натуры, которые видят свою гибель — и идут на нее, и никакая посторонняя сила не властна их остановить. И потому, что они лишены, может быть, от самой природы этого благородного сознания в собственное свое «я», их жизнь — любить вещи, находить — вне самих себя. Бедные люди! жаль их, а помочь нечем. Другой гибнет тоже; но он знает прежде, что он гибнет, и идет твердо по избранной дороге; и час паденья — час его торжества, потому что он все стремление своей жизни сосредоточил давно уж в одной минуте. И благословенна его гибель.

Но будет об этом. Закроем молчанием эту печальную страницу несчастных людей; перейдем к другому. Но к чему же? Прежде всего: странно для меня, что ты получила в одно время три письма? Они посланы из разных мест, в разное время. Где ж они были? кто их держал и для чего? — не знаю. Все ли получили посылки? Я послал с Карпом Петровичем Капканщиковым: «Герой нашего времени», две книги; Пушкина, 3 часть; «Ламермурскую невесту» Вальтер Скотта; «Гец» Гете [2], драму; писанную драму Шекспира — «Ричард Второй» [3]. Боткин послал ноты: тетрадь, музыка Шуберта; мой «Соловей»; [4] из Питера кое-какие разные, не помню, сколько нот, трубкою сверток. Ноты посланы, обе посылки, на имя Андронова. Теперь еще для тебя купил песни Пушкина, «С богом в дальнюю дорогу», и «Лесной царь» Гете, музыка Шуберта, и еще кой-какие пустяки. Хотел купить школу для пения Варламова, да дорога: 28 руб. просят, а денег нет; выпишу из Воронежа.

В письме ты наконец мне уж много слишком льстишь, насказавши так много похвал; а не написала, поняла ли думу «Лес». Прочти в 11 нумере «Отечественных записок», в отделении наук, статью о четырех драмах Шекспира [5],— там увидишь в ней, что значит нравственный долг человека.

Боткин со мной теперь очень хорош, а тогда были у него сердечные дела, но только я не знал; они-то и мешали всему. Белинский со мной был так хорош [6], что писать об этом недостанет дести бумаги; приеду—расскажу. Я скоро теперь приеду. Еще дело задерживает меня немного, но на днях, кажется, всему будет конец. Ты, друг мой, ужасно меня обидела, говоря, что я куда-то определился и тебе не сказал. Отцу и матери извинительно так судить,— я им сам много подал примеров так думать; но тебе грех, сестра, думать, чтобы я от тебя скрывался... Что же я от тебя сокрыл? — скажи. Сколько помню, кажется, я всегда с тобой был откровенен. Глупые люди выдумали и разнесли пустой слух, а вы и поверили [7]. Ужели чужой народ больше имеет для тебя веры, чем родной брат? Жаль, что так вы ошиблись все во мне.

Фамусов выдает свою Софью Павловну за «Пряника» [8],— час добрый, пора костям на место. Славная

парочка: гора со спичкой, бочка с иголкой, масло с водою... А как ни смешно, но мне все-таки Тимофеева жаль: он добрый человек, как бы она его не завербовала. Но судьба решила,— с богом; они обои не малолетки и вещи уж понимают хорошо.

Недавно был я на концерте. Пела Паста, итальянка, женщина 48 лет; но боже мой! — что за голос, что за музыка, что за звуки, за грация, что за искусство; что за сила, за энергия в этом голосе роскошного Запада! Если б ты слышала! чудеса! диво дивное, чудо чудное. Я весь был очарован, упоен ее звуками; кровь вся в жилах кипела кипятком. Еще был я с Красовым в дворянском собрании, в маскараде, где было людей две тысячи человек, много замаскированных женщин, мужчин. Огромная зала полна людей, богато, разнообразно одетых, танцующих; и музыка с высоких хор, как с дальнего неба, волнами разливаясь во все стороны, падала вниз, на нас, людей наземных.

Я написал еще несколько пьесок[9], и довольно удачно; послал их к Белинскому. Он просто от них в восторге. Несколько дней было так удачных, что я написал весьма хорошо. Одну из них, не лучшую, я послал к тебе давно, в батенькином письме.

Батеньке, маменьке, сестрам, зятьям от меня кланяйся. Скажи батеньке, что я скоро буду домой, жив, здоров, только постарел; ты едва ли узнаешь; в эти четыре месяца я пережил больше чем в четыре года[10]. Желаю тебе больше в тысячу раз, чем желаю самому себе. Живи, пой и стучи на фортепьянах, и да господь сохранит тебя от всякого зла и горя. Целую тебя горячо и крепко. Прощай.

Любящий тебя брат твой

Алексей Кольцов.

55. В. Г. БЕЛИНСКОМУ

10 генваря 1841 г. Москва

Милый мой Виссарион Григорьевич! Вот когда наконец собрался я к вам писать. Некогда было, скажете, недосуг, занят; ничего не бывало: ничего почти не делал, ничем не был занят, время все проходило как-то глупо, сквозь руки. Какая-то лень холодная,

пустая, убийственная овладела мной. Скука, пустота, грусть и черт знает что еще не лежит во мне. Какое-то состояние самое несносное, самое гадкое, ничего не делаешь — и делать ничего не хочется. Движешься, ходишь, бродишь, смотришь на все равнодушно, спокойно,— и только ищешь двери, чтоб скорей вон. Куда? — и сам не знаешь. Хочешь забыться — и не можешь, о чем-то думаешь — и ничего не думаешь в то же время. Собираешься писать, сядешь, возьмешь перо и держишь его в руках, как дурак палку. Не то чтобы хотел письмо написать получше, нет, хоть бы как-нибудь и слова с пера нейдет; до чего это доведет, не знаю, а только жить приходит невыносимо тяжело. Прежде пилось, а теперь и пить не хочется: гадко, все потеряло интерес, и самый порок потерял свою обольстительную силу. Приходит день, приходит ночь—ровно будь их или не будь...

Как вы живете? Не дай бог, если так же. Благодарю вас за письмо, тысячу раз благодарю, и на коленах стою перед вами, и прошу вас простить за мое невежество. Да — это чисто невежество. Теперь отвечу вам на все по силе мочи. С прискорбием прочел я первое ваше письмо . . . .

От души благодарю Комарова, Панаева и Языкова и Авдотью Яковлевну, что они меня помнят и полюбили; это чрезвычайно польстило моему самолюбию. Да, милый Виссарион Григорьевич, где вы,— там для меня жизнь всегда теплее, а где вас нет,— другое дело. Чем больше проходит время, тем больше эта истина доказывается опытом. Я теперь ясней начал чувствовать, как целый мир иногда сосредоточивается в одном человеке. Кажется, скоро придет пора, что вы для меня замените всех и вся. Моя душа часто начинает говорить про это, и никуда не просится жить, как к вам. Когда-то придет это время, когда-то можно это будет мне сделать не словами, а делом? Боже сохрани, если Воронеж почему-нибудь меня удержит у себя еще надолго,— я тогда пропал.

Аксаков приехал из Питера и говорит, что подписка на «Отечественные записки» идет хорошо и равняется подписке на «Библиотеку». Дай-то бог! Я был третьего дни у Аксакова. Он мне говорил, что Павлов, Николай Филиппович, получил от кого-то письмо из

Питера, в котором пишут к нему, что вы от сотрудничества в «Отечественных записках» отказались; почему — неизвестно[1]. Я был у него для этого нарочно; не застал дома: уехал на две недели в деревню. Кажется, это сказки; но для чего они выдуманы, не знаю.— Аксаков это сказал мне с какой-то тайной радостью. Друзья, друзья! сердечные друзья!..

Он учить вашего брата по-английски отказался, а учит его Петров[2], и занимается с ним с охотою и искренне. Ну, о переводе его для «Москвитянина»: Аксаков дал ему какую-то повесть Гофмана; он ее начал переводить, а Аксаков все говорил: «Не годится для «Москвитянина», то можно тогда напечатать в «Записках». Я это повернул иначе. Сегодня был у меня ваш брат и сказал, что Аксаков ему решительно просил перевесть и что Погодин даст ему тридцать рублей с листа. Переводы вам не нравятся; но что же делать? Ему деньги кой на что нужны необходимо скоро, а вы, может, пришлете не скоро. Да если они и будут, то вам их платить, кроме этого, есть куда, а он ее может перевести в две недели и получить сто или сто пятьдесят рублей. Это пока ему годится.

Он с Дмитрием Петровичем теперь ладит. Здоровье его лучше, хоть он этому и не верит; он даже немножко было начал и трусить; да этому была причина не его здоровье, а мои слова, которых я ему насказал большую кучу. А письмо ваше я ему не читал: вы слишком воспламенились гневом, он и так убит положением обстоятельств. Я ему на словах кое-что говорил и почти все то же, но все иначе; думаю, что теперь он будет работать хорошо и кой-какие вещи сознает иначе и начнет глядеть кой на что попрямее,— или уж ничего никогда из него не выработается. Однако я этого не думаю: в его натуре много лежит неразгаданного, и оно запало в ней глубоко, потому что он был заброшен, да и такие натуры развиваются поздно. А что до ваших угроз и до корпуса, это, кажется, совсем лишнее; если он не выдержит экзамена на следующий год, тогда уж будет и эта мера необходима. Только этого никогда не будет, а все пойдет по своей дороге, как должно.

Книги ему нужны; да если Поляков их пошлет, то наперед вам скажу: он вас обманет, а будет надобно

книги у него взять и самому по почте отправить.— «Кота Мурра» он еще до сих пор не прислал, и я слышал, что он его переплел и продает: такой добрый человек! А я перед Кетчером остался дурак дураком. У вас, кажется, два экземпляра; если можно, пришлите мне один в Воронеж, а то купить денег нет, а иметь хочется; от Полякова присылки, видно, уж не дождешься.

Дарья Титовна больно нуждается в деньгах и просит вас прислать ей хоть двадцать пять рублей. Я бы ей дал свои, да теперь у меня денег нет; я живу кой-как займом, а отец не шлет ни копейки. Я в Москве открыл секрет за дешевую цену на толкучем рынке покупать белье, и купил штук десять — рублей за двадцать — славных полотняных рубашек, что бы советовал сделать и вам; у вас рубашки все пестрые, а нужно непременно иметь всякому порядочному человеку белье полотняное. Новые они дороги, а поношенные на толкучке нипочем. Жаль, что я не знал этого в Питере, а то там бы купил и себе и вам.

Кто-то И. Е. Великопольский в Петербурге на следующий год будет издавать альманах, и Аксаков свою трагедию «Олег под Константинополем» отдал ему напечатать [3] и говорит, что Великопольский дал бы ему за нее, если б только он захотел, тысячу рублей. Я взял ее у Аксакова, и в ней интересны суждения Великопольского и Аксакова объяснения. Особенно два места, которые вам и сообщаю.

Великопольский: «Я бы не желал выставлять имени Эврипидина: оно и звучит как-то семинарски, и, несмотря на это, прекрасное создание не имеет известности, и не выгодно ни для автора, ни для альманаха. Если же автор не захочет выставить собственного, то лучше напечатать без имени. А о том, что отрывки были помещены в «Молве» под псевдонимом Эврипидина, я скажу в предисловии. Впрочем, как угодно». Аксаков: «Я совершенно согласен. Прошу, Иван Ермолаевич, напечатать без имени и сделать какие угодно примечания. Сделанная в конце тетрадки выписка из «Молвы» помещена здесь только для памяти и соображения, а не для того, чтобы быть перепечатанною при пьесе». Великопольский: «Я прошу Константина Сергеевича места, которые, по моему мнению, не бу-

дут пропущены цензурою, или окончательно переменить, или дать мне перемены на особом листочке в запас, на случай, если не пропустят. Невписанные слова прошу его вписать разборчиво, и для этого вернее употребить не свою ручку». Наконец выписана ваша гумористическая приписка при отрывке, напечатанном в «Молве». И Великопольский сверху донизу сделал две черты и в середине написал так: «Чепуха». А Аксаков ниже подмахнул еще: «В самом деле, чепуха; я удивляюсь, как я тогда же не заметил, что Белинский накатал дичь». Странны подобные душевные излияния! Другое дело какому-нибудь ослу наговорить об уважаемом человеке того и сего; но делать подобные заметки, и какому-то Великопольскому!..

Накануне Рождества были мы с Боткиным у Ксенофонта Алексеевича Полевого; у него застали только что приехавшего Николая Алексеевича. Был разговор об вас. Ксенофонт вас не любит и побранивает, а Николай Алексеевич, заметно с большим усилием, но отзывается с уважением, и что много находит он у вас мнений весьма хороших.

На днях был я у Чаадаева; он говорил как-то к речи слово, что у вас в «Наблюдателе» или «Телескопе» была напечатана ваша статья о Пушкине и что он ее показывал ему. Пушкин прочел с большой охотой и после прислал ему номер «Современника», просил передать вам, не сказывая, что он его прислал нарочито для вас.

В Москве «Отечественные записки» везде почитывают противу других журналов с большим уважением, и порой побранивают. Красов написал две славные пьески (с его письмом при сем посылаю), и, кажется, у «Соседей» последний куплет оторвать лучше, я его отчеркнул. Как лучше, так и сделайте. Клюшников пишет какие-то октавы и написал пропасть; в них много соли, юмору и остроты; и кое-какие он читал нам,— очень хороши. Кудрявцева давно не видал, на святках пропал из глаз. «Москвитянин» 1 № вышел — и шибко подгулял. А Шевырев и Погодин — на славу[4]. Я ничего не писал, и писать не хочется: лень и скука совсем овладели, и в голове какой-то налит студень. Самому на себя смотреть гадко.

Накануне нового года Василий Петрович придумал дать вечер [5]— встретить новый год и день его ангела. Людей собрались к нему довольно. Вот вам полный реестр: Грановский, Крылов, Крюков, Кетчер, Красов, Клюшников, Щепкин, Боткин, Сатин, Клыков, Лангер, Иван Иванович [6], Иван Петрович и я грешный. И как ударило двенадцать часов, так за стол,— и пошло писать: начали есть, пить, и кое-кто перепились мертвецки. Ужин был богатый, вина чудесные: рейнвейн, портвейн, шампанское лилось рекою, и старая мадера Красова сбила с ног. Пили ваше здоровье,— икалось ли вам? Пировали до шести часов утра, а кой-кто начали пение и ударились в пляс, и, знаете, эдак не красиво, но весьма усердно. До смерти жаль, что вас одних не было на этом дружеском, тесном и теплом кружке. Уж встретили новый год по-русски, как лучше встретить уж нельзя. Я думаю, Василий Петрович разорился рублей на пятьсот,— вот как наши начали гулять.

Четвертого генваря Паста в зале дворянского собрания давала концерт. Было в зале тысяча двести человек, на хорах шестьсот; собрали денег, за расходами, двенадцать тысяч. И пела удивительно, чудо как хорошо! Все были упоены ее волшебными песнями; одобрениям и вызовам не было конца. Восьмого генваря я с Красовым был в дворянском собрании в маскараде. Народу было много, женских масок пропасть, и костюмы были прекрасные; мужчин замаскированных было мало, и те весьма дурно; и московская молодежь во многом уступает женщинам,— все какие-то толстяки, коротышки, как я, и лицо без выраженья, нескладица, угловатость в движениях и приемах, а о грациозности и говорить нечего. Разгула жизни и не спрашивай. Если все светские общества так безжизненны, то бог с ними!

Я, кажется, дождусь бенефиса Мочалова [7]. Не выехавши из Москвы, напишу еще вам письмо или два. Вчера был в конторе «Отечественных записок», спрашивал, сколько на них подписки. Немец [8] сказал, что более двух сот и что подписка все еще идет, не прекращаясь. Если нужно будет почему-нибудь знать Андрею Александровичу, то скажите, что Ширяев очень болен и, говорят, едва ли долго проживет.

Князь Шаховской с Верстовским переделывают из Луганского «Ночь на распутье» — оперу [9]. Шаховской пишет русские песни; я думаю, будут зело хороши. Наш воронежский книгопродавец купил два экземпляра 1841 г. «Отечественных записок» по двадцать пять рублей. Какие это билеты продают книгопродавцы так дешево, и во время самой подписки? Это ведь много вредит настоящей подписке. 1 № «Отечественных записок» в Москве еще не получен, ждем с нетерпением посмотреть и почитать.

Василий Петрович пятого генваря с Клыковым уехал в Харьков и будет оттуда к пятнадцатому февраля. Здоровье его начало поправляться. Только как-то опять начал он входить в прежнее тяжелое положение. Перед отъездом он видел сон, который совершенно погрузил его в апатию. Будете к нему писать про меня, прошу об этом не говорить: он мне не говорил про это, а передал мне по секрету Красов; ну, а я — вам, потому что я от вас уж ровно ничего скрыть не могу, и о чем, если и о пустяках сказать забуду, то все в горле так шилом и колет.

До смерти рад, что вам понравилась «Ночь». Забыл, у ней так ли написал конец; вот он на случай:

На полу один
Весь в крови лежит,
А другой — смотри —
Вон в саду стоит.

Пожалуйста, напечатайте ее с посвящением князю Одоевскому. «Жалоба», «Песнь» [10] и «Грусть девушки» вам нравятся, и я этим чертовски доволен: получил ваше письмо, прочел, и подо мной земля загорелась. Слава богу, что они пришли вам по душе. «Поминки по Станкевичу» тоже, кажется, вещь порядочная. Вы пишете, что не поняли, кто это пришел в кружок мрачный гость,— тень Станкевича или другой кто? Нет, это не тень Станкевича, а загадочный гость, что мы называем смертью. Она — не новость, конечно, но в том кружке, который жил такой полной жизнью и так могуче и раздельно, вдруг нечаянно приходит к первому Станкевичу, берет за руку,— и он уснул. А что вам не нравится стих: «Роскошная младость

здоровьем цветет»? Вы говорите: где же между нас здоровье? Я думаю об этом иначе. Мы здоровы если не телом, то, слава богу, здоровы душой. Если ж оно вышло в образе телесном, ну что ж делать? Не всякое лыко в строку. Думаю, «Шекспир» вам не нравится. Да, ваша правда: она не вся вышла; я хотел сказать иначе, но не сказалось. Вы знаете, что этот предмет не по моему мозгу, я его только чуть понимаю, но не совсем переварил; да и переварю ли? — кто знает? Впрочем, это название не то, которое я бы ей дал; я бы назвал ее «Бог» [11], но ведь тогда она никуда не может показаться. Впрочем, я попробую ее поправить и, как сделаю, пришлю к вам. Будете ко мне писать, напишите, пожалуйста: если на нее глядеть с названием «Бог», как она: лучше или нет?

Я получил известие из Воронежа, что о смерти Станкевича к отцу Грановский написал недавно письмо; он его получил в Воронеже и, как прочел, пришел в страшное исступление и ухватил где-то топор и поколотил в доме весь хрусталь, мебель и образа.

Уведомьте, пожалуйста, об распущенном слухе Н. Ф. Павловым об отказе вашем от «Отечественных записок»: откуда вышла эта сказка и кем сочинена? Кирюше поклон. Всей душой любящий вас

Алексей Кольцов

56. К. С. АКСАКОВУ

14 генваря 1841 г. Москва

Любезнейший Константин Сергеевич!

Жалею, очень жалею, что вчера вы были у меня и не застали. Я был в театре. Но моя ли вина, скажите? В Москве я живу один — и вы — отчего бы вам не прислать с утра весточку, и я был бы дома. Ну, а без этого нет во мне мысли предвидеть несделанное. Когда вам угодно быть у меня, то прошу поступить так. Я скоро еду.

Уважающий вас

Алексей Кольцов.

57. В. Г. БЕЛИНСКОМУ

27 генваря 1841 г. Москва

Милый мой Виссарион Григорьевич! вам не шутя, я думаю, наконец странно кажется мое житье-бытье в Москве так долго и безо всякого дела. Да, иногда у нас бывают странные задачи, которых мы сами разрешить не можем. Вот с лишком два месяца я из Питера; шесть недель, как дело мое кончилось,— ну, положим, оно кончилось перед самым Рождеством, и тут уж на носу стояли святки, остался подурачиться, и пока Василий Петрович был в Москве — было и тепло и хорошо, а как он уехал, пошло другое. Теперь отчего ж бы мне вслед за ним не ехать домой? Ну подите ж, разберите, как это случилось,— и сам не знаешь. Не знаю, не хотелось ехать — да и только. Вот пришло время: и дом и родные невзлюбились наконец. И если б была какая-нибудь возможность жить в Питере, я бы прямо марш и остался бы в нем навсегда. Но без средств этого сделать нельзя,— и я еду домой. И эта поездка много похожа на ловлю сурков: их из земли выливают водой, а меня нужда посылает голодом.

Я писал к отцу по окончании дела (которое кончилось, как вы уже знаете, хорошо), чтобы он прислал мне денег. Старик мой говорит: «Денег нет тебе ни копейки, а что дело кончилось хорошо, мне все равно,— хоть бы кончилось и дурно. Мне шестьдесят восемь лет, и жить осталось меньше, чем вам. Я даже слышал, что ты хочешь остаться в Питере: с богом, в святой час, благословение дам, а больше ничего». Я прочел сии радостные строки и сказал: «Вот те, бабушка, и Юрьев день!» Спросите, отчего же это так сделалось? А вот отчего: дело кончилось последнее, и самое гадкое; следственно, его кредит теперь очищен совершенно. Прежде он боялся полиции, и потому любил меня до излишества, а теперь она ему не страшна. И дом его и все у него в руках; так я, выходит, ему стал и не нужен. Да, нынче отец и мать, видно, хороши по расчетам. Однако ж эта новость и особенно эта непризнательность меня срезала глубоко.

Вот причина, отчего я так долго живу в Москве и отчего не еду домой; и ехать не хочется, и не пишу

к вам. Я, признаться, сначала махнуть думал в Питер; но как прохватил меня голод, я и присел,— и хорошо сделал. Теперь кое на что я стал глядеть совсем иначе. Например, грешный человек, иногда-таки я немножко полагался и на литературное значение и думал, что оно со временем будет лучше. По справке оказалось, что это такой вздор, что мочи нет. Конечно, есть люди, с которыми я сошелся и у которых порою я могу быть свободно. Жить могу с вами и еще кой у кого бывать — и только. Да, и только!.. А другие люди, и их много,— они все, по-своему, добрые люди, их винить нельзя,— и быть у них тоже нельзя. А что порой они ласковы,— это обман, сущая ложь. И человек литературный — человек опальный, его может всякий и всячески оскорблять и, если угодно, наделать с ним — чего угодно, даже выпачкать рожу сажей и повесть по улице; и если этого еще не делают, то будут делать скоро. Разве не пойдут одни только те, которые имеют много сил физических, как Кудрявцев.

Меня особенно обманывало покровительство меценатов, в число которых я никак не поставлю князя Вяземского и Одоевского; а все другие мне помогали не ради того, чтобы что-нибудь во мне видели и хотели из этого человека сделать человека, а так,— из эгоизма, из того, что неловко отказать. В их глазах я был ни больше ни меньше, как нищий. В число их я не ставлю людей, которых я люблю душою и которых вы знаете наперечет, и их у меня есть во всем свете двенадцать. И я говорю здесь никак не о них, а о прочих.

Конечно, и с этими людьми уж можно бы жить припеваючи, и грех бы было желать больше; но главное — меня связывает мое звание. Проклятое звание, как я узнал его короче. Что я? Человек без лица, без слова, безо всего просто. Жалкое создание, несчастная тварь, которая годится лишь на одно: возить воду да таскать дрова,— вот и все. Торгаш, копеечник, жид, цыган, подлец я должен быть; вот мое значение. Вот в каких слоях я могу быть президент. Лишь в этих местах я гражданин. И что еще всего хуже: жить дома, в кругу купцов, решительно я теперь не могу; в других кругах тоже. Торговать как-то охота не идет на ум. Даже жить в Петербурге, быть книгопродав-

цем — значит быть Поляковым;[1] иначе — нельзя. Каковы люди, таков и купец. Он не сам по себе гадок и плут, а его так вам вырабатывают люди, с которыми он имеет сделки. Кто в Питере честен? Кто в Москве честен из них? Никто. Что ж я за звезда, что один между ними буду честен? С кем же буду дела я вести, как не с ними? Они плуты, ну, и я должен быть плут. А мне плутом быть — до смерти не хочется. Безрадостная самая будущность у меня впереди. Я, кажется, собой одно выполню во всей точности: ворону... И, ей-богу, я ужасно похож на нее; остается лишь сказать: она к павам не попала, а от ворон отстала. Больше этого ко мне ничего нейдет.

Первого февраля решительно еду домой, и что будет и как пойдут дела,—сейчас вам напишу без утайки. И прошу об одном: так как я с вами теперь хитрить не буду ни в одном слове, а вы такой человек, что вам чужая боль, как своя, больна, то наперед условие: как бы у меня дела ни пошли дурно и что б впереди гадкого ни случилось,— меня не утешать, надежд не сулить, говорить правду и чужую боль на душу не принимать, считать все, что мое, делом посторонним и до вас вовсе не касающимся. Пусть будет у всякого свое горе, своя печаль,—все равно. Главное: надо жить, дорожить часом, минутой, кратким мгновением; а без этого — я вас буду обманывать.

Москва в литературной жизни совсем устарела, выжилась. Может, и есть кружки молодых людей; но я их не знаю. В ней остается один Василий Петрович; запрись он, и последние обломки старого, талантливого, горячего, вдохновенного кружка — как не бывало: все рассыпется врозь, и едва ли когда опять соберется. Кажется, никогда. Конечно, эти люди все будут работать, всяк у себя; но они будут сами по себе лишь хороши, а все новое в него уж не войдет: оно или соберется особенно, если будет из кого собраться, или не давши плодов, проживет свою жизнь матерьяльной жизнью, что, кажется, в наше время и сделать всего легче.

Вы спросите, зачем, имея крайность, не обратился я к Боткину? Обращался и взял. Но, Виссарион Григорьевич, не надежны чужие деньги, горько душе быть

в долгу. Не с наслаждением берешь их и с грустью тратишь. Отравлены они ядом, и он уничтожает в них всякое значение. О, я выразумел теперь качество чужой монеты, займа, чужого обеда; да, я знаю теперь, отчего он плохо в желудке варится и расстраивает здоровье. А ваше слово «много»? — Помните, мы шли с вами как-то по линии Васильевского острова; с нами встретилась хорошенькая; вы мне сказали: «Да, их здесь *много,* да все они не наши». Молотом по душе стучит это «много» до этих пор, и, кажется, долго будет бить в мою дурацкую голову. Я сказал уж: «много» есть у меня, да все не то, что хотел сказать; скажу еще: я уразумел вполне его значение. Если успею себя обеспечить, то я житель Питера, а не успею, то без средств я никуда не ездок. Суждено чему быть, пусть будет, а назначено сиднем сидеть — сяду: я не виноват — доля. И хотелось, да не смогнулось. Ход обстоятельств один не остановишь, а если и можно, то при условиях. Сидя в болоте, не полетишь орлом; будь и крылья,— да глупая грязь их так сплющит, что и на ногах не устоишь, а уж куда лететь! — хоть бы глупые ребятишки не закидали камнями! Благодарю обстоятельства, что они открыли мне глаза и многое показали, как оно есть в самом деле, а не как я смотрел на вещи. Одно заботит: скорей уплатить долги — и аминь. Приеду домой, стану почитывать, порой пописывать и буду на все смотреть равнодушно; но к черту всю эту дрянь, будь проклята она навек!

Да, ведомость: Никольский болен, писем брату и Щепкину не отдал; а недавно брат к нему ходил, взял их и Щепкину передал. Михаил Семенович живет один, жена и дочери его в Казани; когда будет (в Москве) не знаю. Василий Петрович в Харькове, будет к 10 февраля. Кудрявцева с Рождества не видал. Красов живет у Боткина,— и пока пьет чашу горькую; он написал еще три пьески [2], их при сем письме посылаю.

Жуковский в Москве. Я у него был; говорил мне, что он слышал, что я немного знаю философию, жалеет об этом; советует бросить все к черту. «Философия — жизнь, а немцы — дураки», и проч.

«Ромео и Юлия» на бенефис Мочалова наконец сыграли, и я видел. Мочалов был нестерпимо дурен, из крайности переходил в другую; на бедного Ромео натягивал и Карла Моора, и Гамлета, и бог знает что,— и хоть бы одно место было хорошо. Наконец и роли не знал. Юлия — Орлова — была в кой-каких сценах очень хороша: в окне с няней, в первый раз, и в другой — с Ромео, у Лоренца в склепе. Чудо как хороша! А в других сценах изысканна, неестественна и не хороша. Орлов-Лоренцо был гадок. Няня до подлости гадка. Самарин в Меркуцио очень хорош. Славин в Парисе — дерево. Усачев в Бенволио — пень. Щепкин, отец Юлии, кой-где был хорош, но горячился,— и роль сошла плохо; и он решительно от нее отказался навсегда. И все другие были очень гадки. Театр был полон. Давали после в другой раз; как и каков был успех,— не знаю. До бенефиса он дал брату Каткову денег четыреста рублей; заплатил ли последний,— не знаю.

Кетчер болен горячкою, и весьма опасно. Был у Аксакова; он сказал, что Нащокин одну первую часть Сарры Толстой дал, и то ему, а не вам, и что он, увидя Нащокина, возьмет для вас; обе вам и перешлет [3]. Он, кажется, читал песни из «Олега под Константинополем» [4] Жуковскому, и будто они ему понравились. А что до перевода брату для «Москвитянина» хлопотал Аксаков, вышло все пустое, и он без совести только его бедного проводил два месяца. Он принял на себя какую-то странную роль мецената, но какого — не знаю; и я даже советовал вашему брату оставить его совсем в покое. Аксаков, кажется, только того и ждал, чтобы как-нибудь отвязаться; желание его наконец исполнилось. Брату вашему крепко нужны книги, да если будете их посылать, то возьмите у Полякова и сами пошлите, а то он вас обманет. «Кота Мурра» все еще нет, и он врет, что послал, а, верно, продал [5]. Увидите его, возьмите квитанцию и пришлите Боткину. Если же не отдаст, то потребуйте деньги за восемнадцать экземпляров; расчет по 14 р. = 252 р.; с ним больше делать нечего.

До смерти рад, что «Отечественные записки» идут хорошо. Первый номер хорош, и здесь его читают, и даже кое-кто не говорят, что читают: «мы еще его не

видали», а дальше, смотришь,— и проговорятся, что «это в них ни на что не похоже». А, голубчики, попались! Об вашей статье[6] ходят суждения разные; одни — и весьма немногие — говорят, что первая половина хороша, а вторая уж очень нахальна; а другие удивляются, как ее напечатали, и видят в ней вещи небывалые; ну, а все — критику, биографию и смесь читают исключительно, а другие статьи и повести многие и совсем не читают.

Ксенофонт Алексеевич Полевой говорил: какая ошибка в «Отечественных записках» в критике, что Тимковский ездил по Бухаре; он по ней никогда не ездил и об ней не писал, а был он в Китае, а о Бухаре писал совсем другой; он называл, но кто,— забыл. По крайней мере, все говорят в одно, что «Отечественные записки» лучший журнал, а «Библиотека», «Сын отечества», «Русский вестник», «Москвитянин»— никуда в сравнении не стоят. Может быть, есть и другие суждения; но я их не знаю. Я живу больше в номере и бываю весьма у немногих, или, короче, почти ни у кого. Чаще всего вижусь с Красовым. Василия Петровича нет, а без него мы все похожи на тени. Брату вашему, сколько сил моих было, все говорил, советовал, толковал на все манеры до самого конца дней моих в Москве.

Пишете: получивши деньги, тотчас все долги заплатите в Москве. Я этого делать вам не советую, а прежде бы, кажется, лучше заплатить Комарову и другим в Питере, а тут только нужно дать часть Дарье Титовне, а другие и подождут. А живя в Петербурге, сначала надо одеться порядочно, а потом на всякий случай иметь в запасе сот пяток, и будет на душе полегче. Грех эдак, говорят, делать; но как же быть, когда на деньгах нынче все основано. Без гроша нельзя нигде ничего поделать.

Я добыл «Элегию» Пушкина на смерть Грибоедова[7]. Если бы можно было напечатать, было бы славно, хоть бы с выпуском нескольких стихов в средине. И если вы ее не читали, ну я ее посылаю для вас. Уверяют, что она нигде не была напечатана и немногим известна; так или нет, а я ее вам все-таки посылаю . . . .

У Степанова взял я «Наблюдатель», теперь он у меня весь. Читал в нем ваши статьи; но какие! чудо как хороши! На «Уголино» Полевого — образцовая вещь! [8] Читая их, мне все приходило на ум: со временем кое-что в них поправить и кое-какие, получше, собрать и напечатать отдельною книгой,— было бы хорошо. У нас подобных изданий еще нет; я полагаю, несколько статей прочесть в одной книге разом — для молодых людей было бы полезнее, чем прочесть сто книг. Можно из номеров их вырвать и собрать в одну книгу. Но тут много затруднений: или другие не все номера и годы и журналы получали, где они напечатаны, или другие вовсе их не получали. А то — в одной книге и все вместе: и можно купить всегда, и можно прочесть все вдруг. А у нас, кажется, много еще пройдет времени, пока кто-нибудь начнет [читать] подобные вещи, не как критики, но как отдельно ученые статьи, т. е. разбирая лучшие произведения домашней словесности и образцовые произведения других литератур. Да когда это будет? Мы не доживем. «Москвитянин», кажется, весьма желает услышать суд «Отечественных записок», но я говорил, что «Записки» едва ли об нем что-нибудь скажут и что они войну вести с «Москвитянином» едва ли и будут [9].

Напрасно вы Савельеву говорили, что вы от «Отечественных записок» отказались [10]. Это везде разнеслось: вы человек сделались теперь такой, которого втайне все любят и боятся. Ваши мнения все читают, и они стали приговором; против них скоро никто выйти не захочет, да и не сможет. Ну, а в случае, если вы себе сломите шею, то многие будут очень рады, и в их сожалении будет выражаться душевная радость. На вас глаза всех обращены, и ваше место торжественно и шатко. Одно мне больше всего у вас нравится, особенно теперь, что вы можете беспощадно мстить людям за их эгоизм, особенно гнили старого века. Они все стоят на важных ступенях, а пользы отечеству ни на алтын. Они чужое право присвоили себе. Если человек завладел общим интересом, то и выполняй дело, как оно требует, или откажись, или передай его другим, когда нет сил делать пользу; а кто употребляет для себя одного — тот дрянь!

Нельзя ли Полякову поговорить, чтобы он прислал мне «Пантеон», а за пересылку я бы ему выслал деньги; в нем все-таки будет много хороших статей; особенно мне иметь хочется «Ромео и Юлию» Каткова. Будете писать к Каткову, поклонитесь ему от меня.

А «Примирение» мое напечатано в «Наблюдателе»; я много номеров не читал, потому и думал, что оно не напечатано. Когда увидите Плетнева, пожалуйста, скажите ему, чтоб он его не печатал.

Во втором письме вы назвали меня своим другом; не насмешка ли это? Верю от души, что вы надо мной смеяться не захотите; но, Виссарион Григорьевич, надо быть здесь особенно откровенным. Я этого имени не стою и не заслужил, и не оправдаю, кажется, его перед вами никогда. Друг — дело великое; я только сознаю все значение этого слова, но овладеть и усвоить его у меня в душе сил таких и столько нет. С некоторого времени я сознаю яснее, что душа у меня груба, и если есть в ней чувство, то его не так в ней много, и оно тепло, но не горячо, а для дружбы надо чувство чистое и горячее. Если бог мне даст устроить свои дела, приеду в Петербург, поживу с вами; тогда увидите лучше, и я уж покажусь вам весь нараспашку, с хорошими и дурными сторонами.

Не знаю, что я буду делать в Питере, но все мне почему-то быть книгопродавцем не хочется. Торгаш — мерзкое слово, гадко шумит в ушах. Если б воля,— поехал бы по России, проездил бы хоть год. Вот чего всей душой хотел бы я; но это все впереди. Прощайте. Всего вам желаю больше, чем себе.

Алексей Кольцов.

58. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

1 марта 1841 г. Воронеж.

Ваше сиятельство, князь Петр Андреевич! Дело мое в седьмом департаменте правительствующего сената кончилось, хотя не совсем еще, но все-таки, слава богу, хорошо; по крайней мере, и остановилося

взыскание на время, и дана возможность оправдать себя. Письма ваши мне помогли как нельзя лучше, а без них я ровно бы сам собой ничего не сделал; с ними все меня приняли довольно ласково, выслушали мою просьбу, и все судьи мои вообще захотели помочь мне и помогли. Вам, добрый князь, я обязан снова; вы, как дух-защитник притесненных, даете руку помощи людям беспомощным и помогаете им и словом и делом. Благодарю, коленопреклоненно благодарю вас, за все сделанные вами мне благодеяния. Не подумайте, ваше сиятельство, что я, притворно изгибаясь и подличая вам на одних словах, только льстил бы вам. Нет, вы сделали для меня то, чего не сделал мне никто на свете. Дела моего отца были так дурны, что их поправить без вас никогда б ничем не мог, я бы их вечно б не поправил. Полицией настоятельно требовали деньги, а денег не было, взять было негде, а она и знать этого не хотела, ей вынь да положь. Просил людей помочь беде,— людям чужая нужда смешна, всяк живет для себя, и все заняты своей заботой; а что другим плохо — им дела нет.

Теперь, слава богу, положение наше стало лучше, и я начал дышать свободней. Теперь и в наше семейство стала приходить порою мирная радость, и начало уже в нем показываться небольшое довольство. Часто я по целым часам смотрю на отца, на мать, на сестру; их жизнь как-то идет теперь полнее, лица не омрачены печалью, время проходит незаметно, и я радуюсь, как ребенок. И всем этим обязаны мы вам, ваше сиятельство, одним вам. Благодарю вас, тысячу раз благодарю; вы сделали для меня много, и я никогда этого не забуду. Душою любящий вас, покорнейший слуга

Алексей Кольцов.

Как приехал в Москву, тотчас же поручения ваши выполнил. Доктору Иовскому сказал о положении его дела, книгопродавцу Кузнецову о книге, княгине Щербатовой ваш подарок доставил; она была чрезвычайно рада, искренно благодарит ваше сиятельство за него и за память о ней.

59. В. Г. БЕЛИНСКОМУ

1 марта 1841 г. Воронеж

Тысячу раз, милый мой Виссарион Григорьевич, простите меня за ничем не извинительное молчание, и долгое и неуместное! Что ж делать? — виноват и опять виноват, и только. Положим, в Москве я жил последнее время дурно, грустно, гадко; какая-то дрянь убивала мою душу. Ну, а в Воронеже? — Это другое дело, о Воронеже после... Этот бездушный городишко прислужился мне вдруг чертовски, и он теперь имеет уж для меня другое значение. Но о Воронеже после.

В Москве я прожил до второго дня масленой; насилу выбрался. Писал к старику о деньгах, он не прислал; ехать было не с чем, спасибо одному человеку — вызволил [1], и я давай бог ноги. Дело мое там кончилось весьма порядочно. Дома после меня дела у старика шли дурно, он больше ничего без меня не делает, как расстраивает последнее состояние, и я принялся снова поздорову улаживать дела, которые, сказать по совести, не очень веселы, и, кажется, я с ними провожусь полгода. А о выезде моем в Питер прежде года нечего и думать; дай бог в год управиться! Да и то если поеду,— безо всяких средств, разве можно будет взять тысячу рублей: что было, все убито чисто: нескладно, мелко и тесно.

Однако ж я не горюю, привык, стерпелся, большие горы перешел, маленькие не так стали страшны. По силе мочи тружусь и живу, живу чертовски хорошо; так живу, как никогда не жил. Жизнь переменилась, недоступная дверь блаженства растворилась для меня. Один человек так перестроил весь Воронеж, весь мир, весь свет, всего меня [2]. Откуда и как все это пришло и сделалось, и сам еще хорошенько не знаю. Много лет небосклон мой покрывала черная безрассветная туча пустоты, горя, забот; и не было уж у меня ни одной надежды, ни одного желанья; все и везде одно и одно: ничто. И я привык к этому «ничто», и со всем распрощался, и на все окружающее махнул рукой; все свое считал чужим, и, признаюсь, на смерть и на ничтожество я уже начинал посматривать довольно благосклонно, и уже видел

там, в них, порою часть себя. Но все прошло, как сон перед чудесным сном действительности.

В Воронеже у меня была одна знакомая женщина, знакомая давно; и я ее любил, но молча, но так, как любим мы душою милые создания. Ухаживал за нею года два «безмолвно, безнадежно». Я ей из Москвы и из Питера писал много писем; в ответ ни полстроки. Приезжаю домой, являюсь к ней,— и словом: мы с ней сошлись. Надо вам знать сначала, что это за женщина: чудо! С меня ростом, брюнетка, стройна до невероятности, хороша чертовски, умна, образованна порядочно, много читала, думала, страдала, кипела в страстях. Голубые большие глаза, черные брови, тело — мрамор, темно-русые волосы, коса — шелк, дивная коса, ножки лучшей нет в Воронеже, и — что больше — она меня немножко любит.

. . . .

Всю жизнь мою я не жил такою жизнью: ни дня, ни минуты; а если и жил, то когда-то давно, в огне первой юности[3], и то, может быть, жил тогда так потому, что сама кровь была кипятком. Теперь и эта полуостывшая холодная кровь закипела бывшим огнем, но пламенней, но этот огонь продолжительней. Этому наслаждению конца нет; я весь утонул в блаженстве до самозабвения, до исступления. Она в одну минуту сделала из меня другого человека, и я уж не на шутку боюсь за себя. Теперь буду писать к вам чаще; есть о чем писать. Порадуйтесь моей радости; на томительном полдне моей жизни засветила наконец и для меня звезда блаженства. О другом я писать теперь ничего не могу, и другого, кажется, ничего у нас особенного нет.

«Отечественных записок» номер весьма хорош[4], я видел его еще в Москве, но не читал. Здесь, в Воронеже, еще не видал. Второй у нас еще не получен. Андрей Александрович что-то поскупился: нынче год не присылает мне «Записок» и, вероятно, не пришлет. Я это отношу к тому, что дела журнала, несмотря на ваши уверения к Боткину, все-таки идут дурно. Не знаю, как в других местах, а у нас все в одно слово говорят теперь, что «Отечественные записки» — самый лучший журнал. Самые поклонники «Библиотеки» на стороне «Записок». И ваши мнения о Мар-

линском наконец принимают за святую истину, что меня порадовало.

Скажите, пожалуйста, Андрею Александровичу: отчего так запаздывают «Записки» и не все получают в одно время. Одни получили недавно 1 №, а другие еще не получали до сей поры; а 2 № еще никто не получал. «Пантеон» первый № тоже еще не получали, а недавно пришел прошедший, за прошлый год; а между тем «Библиотеки» и «Сына отечества» получены и другие номера; «Русский вестник» и «Москвитянин» — также. Уж нет ли какой тут с чьей-нибудь стороны штуки? Явно, что их где-нибудь удерживают. Первый № «Современника» я давно получил.

Будете у Полякова, хорошенько побраните за «Кота Мурра» [5],— и если есть у него квитанции, возьмите и пошлите Боткину; он передаст Кетчеру. А буде не отдаст, то возьмите с него за восемнадцать экземпляров деньги, по 14 руб. за экземпляр. Стыдно мне было перед Кетчером; отдался я дураку себя обмануть. Что будешь делать с петербургскими книгопродавцами? Честные люди, честней цыган во сто раз.

Если нынче дурно кончилась подписка на «Отечественные записки», то надо Андрею Александровичу все силы употребить дотащить этот год аккуратно; а на будущий год, я головою ручаюсь, подписка увеличится. Других журналов я еще почти не видал, кроме первых номеров «Библиотеки», «Русского вестника», «Современника», «Сына отечества», «Москвитянина». О них и говорить нечего, кроме «Русского вестника»: первый номер очень хорош; расположены и собраны статьи, каждая на своем месте, и каждая по-своему может заинтересовать; а другой номер, я видел объявление, будет гадость гадостью [6]. Владиславлев прислал мне альманах [7], с надписью и кудрявой и льстивой; но все-таки спасибо за него, картинки прелесть как хороши.

Теперь не читаю ничего, да и некогда — не то в голове, другая книга...

Писать — ничего не писал, как-то не хочется, и если что и напишу, то напишу для вас. Отныне вам одним посвящаю мой досуг, а все другое — какое-то грустное впечатление оставило в душе. Но что напишется, то тотчас к вам пришлю.

Теперь скажите, как вы поживаете? Что у вас нового? Как Марья Ивановна? Как дела матерьяльные? Плохи? Я думаю, теперь они уж поправились. Напишите; они меня больше всего заботят. Что пишет Катков? Будете писать к нему,— поклонитесь от меня низко. Развязались ли как-нибудь с своими служителями? Как живет Кирюша? обещался писать и не пишет. Поклонитесь Языкову, Панаеву, Комарову. Я их люблю все так же. В одном пакете я вложил письмо к Андрею Александровичу и Федору Алексеевичу Кони[8]. Кони прошу прислать мне «Пантеон», если нельзя за сей год, хоть за прошлый; это, я думаю, ему не очень много будет стоить. Уж за одну подлость Полякову стоит взять журнал.

О чем бы вам еще написать, про что спросить? — ей-богу, и сам не знаю. Что придет в голову,— буду писать еще. Еще раз, бога ради, простите за долгое молчание и не сердитесь; право, не могу никак справиться с собой, особенно в ту пору, когда идут дела не так, как хочется. Много прошло, поверьте, дней в сожалении, что не могу ехать в Петербург. Интрижка не удержит, дела держат. Я ей говорил о своей поездке, она сама со мной готова бросить в Воронеже все и ехать в Питер с радостью. Вот бы хорошо: двое нас и хорошая женщина третья — зажили б на славу. А я знаю наперед, что она бы вам понравилась.

Всею душою любящий вас, больше чем любящий,

Алексей Кольцов.

60. А. А. КРАЕВСКОМУ

1 марта 1841 г. Воронеж

Добрый и любезнейший Андрей Александрович! Дела мои через поездку в Москву и Петербург на этот раз нисколько не улучшились, а значительно похужели. Дело, которое было в Питере, я проиграл, и с ним проиграл я все, как оказалось теперь. Дело, которое было в Москве, я выиграл, но оно ничего мне не дало, кроме только улучшило отношения

мои с полицией,— по крайней мере, она меня теперь не будет теснить. Иск был в пять тысяч; он на время сложен. А выиграй я дело в Питере, я бы за него сейчас в Воронеже взял денег десять тысяч: дело мое и деньги были бы у меня.

А старик отец после меня вел дела торговли гораздо хуже прежнего, и я должен, по крайней мере, провозиться с ними год, чтобы привести их опять в порядок. Ты на гору,— черт за ногу. Поэтому я к вам, как говорил, к осени приехать не могу; а если и поеду, то не ближе года,— и то ехать с деньгами не могу; много-много, если удастся взять с собой денег тысячу рублей. Что буду с ними делать,— не знаю! С тысячью рублей будь человек о семи голов — и тот купец не слишком большой величины. Предположение и действительность — две вещи несовместимые, особенно у меня, вечно между ними разлады. Или я не успею справиться с ними, или в таком поставлен я положении,—не знаю. Жаль только, что взял у вас напрасно реестр книгам: лежит без дела; будет оказия, перешлю вам его обратно.

Какова-то на нынешний год кончилась у вас подписка на ваш журнал и как об нем думают в других местах? А у нас в городе общее мнение на стороне «Отечественных записок», и самые закоренелые поклонники «Библиотеки» стали читать «Записки» и предпочитать для них «Библиотеку». О «Сыне отечества» и «Москвитянине» и говорить нечего. Если нынешний год подписка была и не вполне хороша, то вам непременно надобно вести журнал аккуратно. Я головой могу поручиться, что на следующий год она значительно увеличится; это должно быть непременно так; восстановился кредит «Отечественных записок», и до того упало мнение о других журналах.

Только одно странно! У вас номера выходят аккуратно, а у них нет; но вашу первую книжку койкто недавно получили, а кой-кто еще не получали, а о другой и помину еще нет. «Пантеона» недавно тоже последние книжки получены за прошлый год, а первой этого года еще не получили. Другие же журналы все получены в свое время аккуратно; уж

нет ли каких-нибудь, с чьей-нибудь стороны, хитростей? Впрочем, может быть, вам это известно и вы знаете причину; но все-таки,— знаете ли вы, не знаете,— а мой долг сказать вам об этом. В Москве же первая книжка «Отечественных записок» получена была ужасно скоро.

Теперь моя к вам просьба. Если можно вам и не слишком будет затруднительно, то пришлите мне «Отеч. записки» и на сей год. Я потому прошу вас, что думаю: не посылаются ли они ко мне, и не получает ли их кто другой вместо меня [1]. Если вам это сделать почему-нибудь невозможно,— ну, не надо: я уж буду как-нибудь перебиваться около людей.

Анне Яковлевне покорно вас прошу передать низкое почтение. Искренне почитающий, уважающий и любящий вас, ваш покорнейший

Алексей Кольцов.

61. Ф. А. КОНИ

1 марта 1841 г. Воронеж

Милостивый государь Федор Алексеевич! По поручению Николая Христофоровича Кетчера я взял в Петербурге у Песоцкого 18 экземпляров «Кота Мурра», оставил их в лавке Василья Петровича Полякова. Он взялся их переслать в Москву к Кетчеру и до сих пор не посылает; но хочет ли послать, или он их удержал у себя, или продал,— не знаю. Впрочем, и последнее сделать — его достанет. Пусть он ведет себя, как знает: это его дело; но мне-то каково было в Москве перед Кетчером? «Взял?» — «Взял». — «Где ж они?» — «У Полякова». — «Зачем?» — «Он их хотел вам отослать».— «Я не получил».— «Получите».— «Да скоро ли?» — «Скоро». А ее нет. Ужасно гадко. Я писал к Виссариону Григорьевичу. Он говорил Полякову. Поляков сказал: послал и квитанцию имеет. А квитанции не отдал; да, верно, ее и нет у него; а будь, отчего же бы ее не передать? На что ему она? И вот наконец, хоть и неловко, но решился просить вас: пожалуйста, скажите Полякову, если он не послал Кетчеру «Кота Мурра», чтобы послал, а буде продал, чтобы по крайней

мере отослал ему за них деньги. Я знаю, вы с ним умеете управляться и скажете по-своему так, что он тотчас выполнит.

Да другая моя к вам просьба, Федор Алексеевич, вот какая. Нельзя ли мне как-нибудь прислать, если не на сей год «Пантеона», то хоть за прошлый год. Ведь, вероятно, Поляков их печатал лишнее количество экземпляров, сколько было подписчиков. И эти лишние экземпляры, верно, лежат в куче так. Если бы можно было — хоть один первый номер за сей год. В нем, я слышал, напечатано *«Ромео и Юлия», перевод Каткова.* Я эту драму чертовски люблю. Приобрести ее весьма хочется. Я бы и выписал его, но мои средства не совсем на это соглашаются.

За помещение в «Литературной газете» и «Пантеоне» моих пиесок благодарю [1], и если вам угодно, я еще вам несколько пришлю.

Да скажите, пожалуйста, отчего у нас, в Воронеже, «Отечественные записки» и «Пантеон» получаются так дурно. «Отечественные записки» до этих пор кой-кто получил первый номер, а кой-кто еще не получили; а второго еще и слуха нет. «Пантеон» последнюю книжку за прошлый год получили недавно, а первой не получали, и между тем «Библиотека», «Сын отечества», «Русский вестник», «Москвитянин», «Современник» давно получены в свое время аккуратно. Это позднее получание немножко вредит вашим журналам; если бы они опаздывали выходом, а то, по объявлениям, выход их идет весьма аккуратно. Где ж они задерживаются?

С почтением, уважающий вас

Алексей Кольцов.

Адрес мой: в Воронеж, Алексею Васильевичу Кольцову.

62. А. Н. ЧЕРТКОВУ

[*Март 1841 г. Воронеж*]

Любезнейший Алексей Николаевич! Насилу дал бог храбрости одолеть этого гадкого идиота Галича [1]. Следовало бы его и его творения на костер —

да и сожечь. Извините, что долго продержал. Начнешь читать — сон. Не прочтя отослать — стыдно не одолеть дряни. Вы были у меня,— не застали. Я и знал, что вы будете, и ждал вас, да прислали нечаянно за мной из одного дома, для дела, по которому не быть мне никак нельзя. После заходил к вам мимоходом, шляясь по солнечному утру, извиниться. Не застал. Теперь я дома, пока дурна погода. Пошла ростепель, боюсь выходить. Когда будете свободны и иметь желание быть у меня, очень буду рад. Нет ли у вас чего-нибудь почитать из журналов, «Репертуара» или «Пантеона»? Скучно; тяжелого читать нельзя. Есть,— одолжите, пожалуйста.

Уважающий вас

Алексей Кольцов.

Если есть «Москвитянин», дайте и его.

63. В. Ф. ОДОЕВСКОМУ

22 марта 1841 г. Воронеж

Ваше сиятельство, любезный князь Владимир Федорович! Наскучил я вам своими просьбами или нет, угодно ли вам быть моим покровителем или неугодно,— не знаю сам. Имея нужды, лезу с ними к вам, прошу вас. Да и кого ж мне больше просить о них? У меня, кроме вас, князя Вяземского и Василия Андреевича Жуковского, никого нету, кому бы мог передать их так, как вам. Кто, кроме вас, был и будет ко мне так снисходителен, как вы? Не один месяц, а годы,— целые годы подтвердили эту истину. Каковы вы были ко мне в первый, точно таковы же остались и в последний раз: хороши, ласковы и добры. Василий Андреевич Жуковский, бывши у нас в Воронеже, просил обо мне нашего губернатора Лодыгина; по его просьбе Лодыгин был ко мне всегда хорош, делал мне много добра. Кой-какие люди, бог знает из чего, на всяком шагу делали мне неприятности; но под защитою Лодыгина, наконец, делать их мне перестали, и все у нас с ними пошло мирно и покойно.

Теперь Лодыгина нет, а вместо его, как говорят, будет у нас губернатором генерал-майор Молоствов, который был назначен наказным атаманом над оренбургскими казаками. Он теперь еще в Петербурге. Я вас покорнейше прошу, ваше сиятельство, попросить Молоствова, чтобы он меня принял под свою защиту. Если этого вам сделать будет нельзя, то прошу вас пришлите мне к нему письмо. Я прошу вас не ради того, чтобы через губернатора выиграть что-нибудь подлым образом,— я не способен на подобные штуки,— а чтобы, в случае нужды, я имел возможность пойтить к своему начальнику и объяснить ему: что́ и отчего? и чем помочь? Ручаюсь вам наперед, что я вашу рекомендацию собой не очерню; и прежде не имел я буйного характера, а теперь и вовсе стал смотреть на наши дела житейские и холодно и спокойно.

То дело, по которому я ездил в Петербург и которым беспокоил вас много раз, совершенно изгажено. Киселев не захотел сделать ничего, и я потерял с этим делом пять тысяч рублей. Можно было бы его и теперь еще поправить, если б в нашей палате был управляющий [1] хороший человек. А то, вы знаете уж его, что я об нем вам говорил; он таков и есть; и дела идут по-прежнему: не лучше — а хуже. Жаль, что я не выпросил у вас к нему письма; я б сходил бы к нему раз шесть, посмотрел бы этому праведнику в глаза поближе. Но, знать, бог им судья! Кто болен от природы, того вылечить, видно, ничем нельзя.

С истинным моим почтением искренно вас любящий и уважающий, вашего сиятельства покорнейший слуга

Алексей Кольцов.

64. В. Г. БЕЛИНСКОМУ

25 марта 1841 г. Воронеж

Милый Виссарион Григорьевич! Браните вы меня, что долго я к вам не писал. И как не бранить, не сердиться; сколько времени прошло, как я оставил

вас, а сколько писем написал — стыдно сказать. Человек — воздух, мечты, желанья — им нет границ, а действительность — грязная земля, груба и тяжела; и горе,— кто враждует с нею, и счастлив, кто победит ее, и умер тот, кто уступит ей. Давно я начал этот бой, долго бился с ней, и чуть-чуть она меня не срезала; но, видно, еще не судьба моя, не время еще паденья.

Живя в Москве, кончив порядочное дело, писал к отцу об нем, и от него получил письмо — гадкое письмо. Но я бы ему не поверил,— но оно мне лишь объяснило то, что у него было заметно давно. Оно меня убило, до того убило, что я потерялся весь, и больше месяца прожил в Москве без всякого дела; не знал, что делать, на что решиться: нищенствовать ли? оставаться в Москве, или ехать к вам в Питер, или в Воронеж? Но при одной мысли ехать в Воронеж грусть убивала душу; и черт знает уж как собрался и поехал.

Дома отец принял меня холодно; после, дня через два, затеялся у нас с ним разговор, в котором, как сын и человек, я высказал ему все. Но это все мне нисколько не помогло, а только усилило мою к нему ненависть; он так был в эту пору гадок, низок и пошл, что вы гаже его не можете себе представить человека. Подробно всего не хочу вам рассказывать,— долгая история,— и она меня нестерпимо мучит. Я потерял к нему с тех пор всякое уважение; он на меня смотрит как на человека подозрительного и мешающего ему действовать по произволу.

Я молчал и страдал мучительно, убийственно, невыносимо; и силы мои как-то начали мне изменять. В теле оказалась слабость, грудь начала болеть больше, и я думал, что эти неприятности и безнадежность на будущее и своевольное уничтожение собственных своих сил могут скоро и верно действовать разрушительно. И у меня оставалось одно: если силы вынесут это состояние, то хоть пеший, но к вам; и что бы ни случилось со мною впереди,— ничего: решимость каменная напор воды удержит.

И вот в этом-то гадком, болезненном состоянии я писал к вам из Москвы письмо[1], о котором весь-

ма теперь жалею; это сделал я нехорошо. Гадкую пору жизни всегда надо убивать в самом себе, не передавая ее другим, особенно людям тем, которых любишь. В Москве удержался; Василию Петровичу однажды намекнул слегка — и только. Ну, уж черт знает, как хотелось сказать кому-нибудь о себе хоть слово,— и сказал его вам: и дурно сделал — вас оно потревожило; вы человек такой, который или ото всей души презираете, или всей душой принимаете радость и горе. Впредь буду умней; да думаю, что впереди таких горестей со мною и не случится.

Помню, была у меня подобная болезнь во время оно, назад тому десять лет, когда я в первый раз полюбил и бешено и безумно, и кончил историю плохо для нее и в тысячу раз хуже для себя. Но то время прошло, пережилось и забылось; так и теперь: самая дрянь прошла, болезни нет. У меня такая натура: сначала — черт знает как — убьет ее горе; потом пройдет, забудется — и навсегда. Может быть, я бы еще и теперь был в том же состоянии, но нечаянно мне помогла из него выйти одна женщина; об ней я к вам уж писал;[2] я думаю, что письмо уж получили. Я ей много обязан, она встретилась со мной именно в ту пору, когда была она всего нужней. Зато что за женщина — дьявол сущий!..

Кажется, я от этой женщины скоро не откажусь; сам я этого ни за что в свете не сделаю,— скорей готов погибнуть, чем оставить ее,— разве она развяжет этот узел. Не знаю, сумею ли я ей отвечать долго; ее фантазия слишком капризна и прихотлива: каждый день ей нужна пища — увлекай ее фантазию: она ребенок; не увлекай — прощай. Ей нужна вседневная пища, она все живет в идеальном мире. Вещественность для нее вещь ничтожная; она на вещь смотрит сквозь призму своих фантазий; куда желания влекут, туда она следует: к погибели ль — ничего. Но у ней в натуре не лежит глубокое чувство; она все понимает, но понимает одну цветистую внешность. Вдова, не связана никаким условием, свободна как воздух. Вчера был у ней, чудо как она была хороша! Много сторон у ней есть прекрасных, человеческих. Она может обезумить и не меня: неда-

ром весь Воронеж волочился за нею. И не счастье ли принадлежать такой женщине. Если я поеду в Питер и захочу,— она поедет со мной. «Куда хочешь — всюду готова». Как у нас с ней пойдет дальше, буду писать. Но будь что будет, по крайней мере я ей обязан в настоящую пору весьма многим; она возродила меня снова к жизни, и я теперь начал жить лучше. В душе такая полнота.

Одна забота, об одном грущу, что не могу еще ехать в Петербург. Смерть как хочется уехать к вам скорей. Воронеж в глазах моих потерял всякое значение. Что в нем у меня своего? чего жаль? кто есть, о ком бы пожалеть? Никого; свои — чужие, чужие — статуи, без духа и жизни. Отец — человек копеечный, алтынник. Куй я ему денежку — славный сын; подличай — прекрасный человек. Мать — простая женщина, с которой можно жить — и не жаль оставить. Сестра — я любил ее прежде[3], но она как-то переменилась, и я понимаю ее положение. По обстоятельствам ей должно перемениться; она купается в родном болоте и должна в нем утонуть; и все, что я пробудил в ней, по необходимости должно снова заснуть. Женщины — цветочки: поливай их роса и дождь — они цветут, а грей одно солнце — засохнут.— Она, да, она ехать может со мной, куда угодно; весь божий свет для нее один роскошный храм. За будущее не ручаюсь, а теперь по крайней мере так...

Ну, о другом. С отцом моим я пока кончил вот как: жить в Воронеже все лето, заниматься делом, начать новую стройку в доме, кончить ее к осени, привести дом в такое положение, чтобы он платил доходу до семи тысяч рублей, из них он согласен давать мне в год тысячу рублей, и меня отпускает на все на четыре; иначе с ним делать нечего. Деньги вексельные согласился заплатить; они меня мучили всего более. Торговать скотом не хочет — это хорошо. Других условий сделать я с ним не мог, да и нельзя: все у него в руках, а у меня по справке оказалось — шиш. Хорошо бы, если б сдержал хоть это слово; он такой человек, что ему переменить его ничего не значит. Горе, если он меня снова подсечет. Хотел с ним ссориться больше, но, ей-богу, как-

то я для подобных ссор не способен; самому перед собой за него как-то неловко, и не хочется во мнении людей себя уронить; хоть оно ничего почти не значит, а все дурно; уж что принято, заведено — то надобно поддерживать лучше, чем свою же постройку самому же и ломать. Да и что я с ним сделать мог лучшего? Дом записан за матерью, а кроме него у нас почти ничего нет. Одно ужасно тягостно: смотришь — кругом всего много, старик командует, а у тебя нет гривенника в кармане. При посредственном избытке терпеть крайность невыносимо страшно; но делать нечего—потерплю; много времени прошло ни во что, пусть пройдет и еще—так и быть.

Живу теперь, однако, я очень порядочно, занимаю в третьем этаже на мезонине четыре комнаты: две маленькие, небольшую прихожую, приемную, другую гостиную и четвертую кабинет; комнаты без мебели, но свежие и чистые. Получил позволенье нанять мальчика,— и будь денег малую толику, то жить можно по-христиански. Один, свободен, никем не связан, делами торговли занимаюсь мало; много время свободного, хоть его и трачу черт знает как глупо и праздно; но этому я сам виноват, а не кто другой. Что делать? Читать ничего не хочется, писать — и подавно; особенно это писание на ум нейдет, как оно мне опротивело. Почему-то жаль, что так уходит время, и рад, что ничего не делаю.

Вы говорите, что мои занятия отворили мне двери и там и сям; так, это правда — двери отворили, но как? — вот вопрос. Не Христа ради ль? Пусть я ошибаюсь в этом, как сивый мерин, но в этой ошибке нет ли правды? У меня на поверке, на расчете строгом с самим собой выходит все иначе.

Если литература дала мне что-нибудь, то именно вот что: я видел Пушкина, жил долго с Сребрянским, видел Станкевича, много захватил добра от вас и полюбил вас; знаю Щепкина, Мочалова; обязан князю Вяземскому; и много, очень много: не то теперь, что был, не тем буду, чем бы должен быть. Смотрю кое на что иначе, чем другие; понимаю вещи, как понимают их не все. Между своими братьями я чучело, но чучело другого рода; смешон, но только между ними. Конечно, это богатство — вели-

кое богатство. В хорошем отношении теперь с Василием Петровичем. Все это так, всего этого чересчур много; нельзя ни за что купить и сотой доли. Я все это знаю. Но, Виссарион Григорьевич, я человек, а у человека желаньям нет конца, они вечно неистощимы. Положим, увлекаться ими вполне не должно; но и остановить их не в нашей воле, они не удовлетворимы; а нет желаний — не иметь ничего. Я думаю, что ничего несчастнее на свете нет, как судьба бедняка,— и такого бедняка, которому добрые люди еще помогают: ничего не жди он, ни от кого не надейся помочи — и делу конец; он живет и терпит, и помочи не ждет; но кому люди помогли вполовину, тот уж по закону необходимости ждет больше, и его жажды напитать ничем нельзя. Чиновником я никогда не буду,— эта должность не по мне.

Вы ставите в пример мне Полевого. Полевой — спартанец, он живет, как жили они,— наслаждаясь природою, занимаясь искусством, и мучили до смерти и бесчеловечно своих илотов. Он много сделал хорошего, а теперь крадет разные вещи, и хороший друг Булгарина. Вы говорите в письме много от души и искренне, но не сказали всего о моих недостатках; эти заметки всего нужнее, и, пожалуйста, скажите мне их все прямо и откровенно; лучше этого вы ничего мне не скажете. Я теперь самую горькую истину полюбил всей душой. Самый желудок мой переменился,— вместо сладкого варит лучше горькое; маслины прежде я терпеть не мог, с одной рвало меня, а ныне я обжираюсь ими и глотаю по полусотне; и если б попались на эти зубы устрицы, и с ними бы церемониться не стал. Кислое, горькое, соленое, уксусное сделалось моим любимым кушаньем.

Кланяйтесь от меня всем, кому кланяться можно. Всех людей, которых я люблю в Питере, осталось немного, и их в одну минуту можно перечесть по пальцам: вы, Вяземский, Краевский, Панаев, Языков, Одоевский, Комаров — вот и все. Простите, ради бога, за долгое молчание; теперь мое положение немного улучшилось,— буду писать больше. Если вам не наскучит моя история с нею, я готов о ней писать много: кроме ее писать не о ком. Как я

люблю вас — об этом ни в конце, ни в начале нечего больше и подписывать: люблю я вас, как больше любить никого на свете не могу.

Алексей Кольцов.

65. В. Г. БЕЛИНСКОМУ

[2 июля 1841 г. Воронеж]

Милый Виссарион Григорьевич! Вы, я думаю, на меня сердитесь черт знает как жестоко; более трех месяцев прошло, а я к вам ни слова. Долгое молчание досадно и оскорбительно; но выслушайте, как это все случилось, и вы на меня не станете сердиться нисколько.

Я, кажется, писал вам, что из Москвы я домой приехал как чужой. Отец принял другой характер, потому что его дрянные дела все кончены; и какие остались, те ему полицией не грозят, и он очень рад бы был, если бы я никогда не приезжал. В Воронеже разнесся слух, что я остался в Питере приказчиком с десятью тысячами жалованья: «Я, говорит, услышал про это, обрадовался». После этого у нас с ним пошли отношения самые сухие. Он хотел, чтобы я был мальчик, его лошадь, без гривенника в кармане; я не согласился. Наконец решились побыть мне дома год, построить еще дом, и он дает после мне каждый год по тысяче рублей, а жить я буду, где захочу. Я обрадовался; но после подумал: ведь он поступил со мною дурно не раз, так может поступить и теперь. Я стал просить тысячу рублей утвердить за мною актом; куда! — «не хочешь ли, говорит, печеного рака!» Ну, я и остался жить, ничего не делая, да и дела сведены порядочно, так что я ему и не нужен. Вот отношения мои с отцом. Представьте, до чего меня это взбесило и оскорбило; человек работал, работал и уже думал жить свободно, а тут-то его всего и остригли, — и кто же? отец! Вы скажете: ослабел я, как с ним не поправиться? А как поправиться, когда у него все в руках? Я осел, что прежде все к нему направил.

Мать моя,— от которой нечего ни ждать, ни требовать. Сестра, девушка была очень порядочная, и много в ней было прекрасного, грациозного, святого; она кое-как почти выучилась по-французски, играть на фортепьянах, порядочно пела, жила со мною братски. Приезжаю,— она уж не та милая девушка, что была, а девушка мещанка стала. Фортепьяны брошены, французский язык забыт, пение затихло. Вместо этого она начала плесть кружева, вышивать шерстью; и она ужасно не рада моему приезду; думала, решительно я остаюсь в Питере; тогда бы она одна осталась и дом был бы за ней—подлость, которую я не ожидал. Это все вместе меня бесило, мучило. В эту пору встречается эта женщина, о которой я вам писал. . . . . . .

По самый отъезд свой из Воронежа уверяла, что она не чувствует, что она больна. Ужасно горько было мне провожать ее: она поехала к помещику в компаньонки, а все из того, что у меня денег нет ни гроша; будь в год пятьсот рублей — и она б жила в Воронеже сколько мне было б угодно. Она права, что уехала: чем же ей было жить? Не воздухом же питаться. Здесь я вполне почувствовал свое нищенство. Она поехала здоровая, а я остался больной. К лекарю [1],— и все прошло; только вслед за этим открывается боль в груди, потом распадение во всем организме. Убийственная испарина каждую ночь, желудок расстроился, открылся кашель желудочный, и я едва-едва уцелел живой — жизнь висела уж на волоске; но лекарь мой увидел, что худо, послал меня на реку Дон купаться. Я тотчас отправился за двенадцать верст от города к родственнику на дачу, и начал купаться и купался два месяца с половиной; однако же здоровье хотя немного улучшилось, но все еще весьма плохо. Купаться еще не кончил, но уж вода шибко холодна. Поправлюсь ли? Выздоровею ли? — бог знает.

Вот почему я к вам и никому не писал, и ничего не читал и не читаю, и ничего не пишу, и не до писанья. Я только теперь и хлопочу об одной жизни. Придумываю, что бы к обеду вместе сделать по вкусу, пройду в кухню, так ли делают; пью траву, купаюсь, ем, сплю, хожу, лежу, ни о чем не думая,

кроме пищи и жизни. Вот как прошло у меня лето. И это письмо к первым вам.

Не знаю, получили ли вы письмо, посланное мною в посту[2] с одним немцем; адрес на имя конторы «Отечественных записок», а он взял да и отдал его на городскую почту; получили или нет, будете писать, пожалуйста, уведомьте. С ним вместе я послал письмо князю Вяземскому[3], и очень важное. Да, пожалуйста, при письме напишите адрес князя Одоевского. «Отечественные записки» получаю исправно. «Современник» присылает Плетнев, а за что, бог весть. Выздоровею — буду читать; ваши же статьи все до одной прочтены. Вторая статья о Петре Великом урезана вами много. Что это вам вздумалось так ее сократить?[4] Более писать не знаю вам что и о чем. Не сердитесь, пожалуйста, за долгое молчание. Любящий вас телом и душою

Алексей Кольцов.

66. В. Г. БЕЛИНСКОМУ

23 октября 1841 г. Воронеж

Тысячу раз, милый Виссарион Григорьевич, благодарю вас за участие, которое вы так искренно принимаете в моем положении и в котором я никогда не сомневался. Ваша благородная натура или любит всей душой, или ненавидит. Но ваше участие меня не обрадовало, но опечалило. Я писал вам обо всем, что у меня делается и что со мною делают, не для того, чтоб вас этим поразить, убивать и мучить, а потому, что у меня на душе мои дела отяготели и мне их надо было куда-нибудь передать, чтобы хоть на время отвязаться от них, забыться. Передать — кому же? Кроме вас, у меня некому; ну, вот вам я и написал о них. С этих же пор между нами должно положить условие, что я должен к вам писать обо всем откровенно, как это и было до сей поры,— да иначе я не могу и сделать,— но чтобы вам обо мне не беспокоиться, не заботиться, не мучиться. Когда уж придет до последней крайности, тогда я сам к вам напишу и попрошу вас обо мне позаботиться.

Не в первый раз я под тяжестью обстоятельств, не в первый раз я их переживал. Проживши за тридцать, немного видел я светлых дней, а непогожих целые годы,— а жив еще. И будь я хоть немного приготовлен к этому обману, к этой отцовской подлости, я б перенес бы легко, как необходимость, а всякая необходимость есть дело святое: от нее не убежишь. А то нечаянно, вдруг, в одну минуту изложилось то, что строил я много лет так осторожно, осмотрительно, с такими лишениями и времени и сил.

Вот что ошеломило меня; а тут еще эта женщина, эта дьявол-женщина свела с ума. Сойдись она со мной годом раньше, и ничего б, и все бы пошло прекрасно. Но ведь нужно же сойтиться всему в одно время: подлость отца, моя ошибка, погибший десятилетний труд, разрушенные надежды, безденежье,— и в них крайняя необходимость... Они, черт возьми, хотя бы не моим силам не в перенос,— и я упал. Дух изменил, натура распалась, обессилела, в ней давно, может быть, и приготовлялось это распадение, и оно еще бы скрывалось до времени и, открывшись, разом положило б меня наповал. Да и то чуть не положило. Но ее посторонний толчок обнаружил и пробудил до времени.

Начинает болеть грудь чертовски. Лечим. Пошла испарина, всякую ночь обливаюсь потом, как водой, жажда страшная, адская — мочи нет; все идет в испарину, тело слабнет; купаемся в реке — открывается кашель желудочный; что ешь, все вон; мокрота валит. Кашель лечим, желудок расстроился: понос, не варит ничего; во всем теле разлом, мучит скрытый геморрой; внутри из одного места в другое переходит ревматизм. В это время я вижу: дело дурно, гадко, жизнь изменяет; я оставил дела торговые, все занятия, оставил чтение, принудил себя ни о чем не мыслить, сказал: писем мне не отдавать, и даже перестал грезить о Петербурге; из человека я сделался идиот. С утра думаю до вечера, какую пищу, как приготовить; толковать об этом по целым часам с кухаркой; есть насильно, купаться, спать, не спится — лежать в постели зажмуря глаза и уверять самого себя, что спишь.

Так прошло три месяца. Стал выздоравливать, понемногу поправляться, осиливать, начал ходить, проехаться,— бух, воспаление в почках, и я снова чуть-чуть не умер. Но умный мой лекарь[1] начал возиться и с этой болью, и она тоже насилу начала проходить, и я снова начал поправляться здоровьем.

Хоть я и теперь еще сижу в комнате, но мой лекарь уверил меня, что скоро можно будет показываться на воздух, что это был кризис самый опасный и последний, что у меня остается еще ревматизм, что надобно будет принимать содовые порошки — и долго. Я бы ему во всем бы и не поверил,— нет, он такой человек, что ему не верить нельзя. Но в самом деле, я стал чувствовать, что мне лучше: и силы снова стали показываться в теле, и состояние моего духа начало приходить в прежнее положение. Что-то будет дальше, а то уж я октябрь-то стал кое-как почитывать; что было вчерне написано весной, поправил, кое-что поправил из старых пьесок, с пяток написал вновь[2]. Это меня самого обрадовало чертовски, и я начал снова кой о чем мечтать, фантазировать, каждый день беседовать с вами, с Василием Петровичем, волочиться мыслью по Петербургу.

И до того я иногда погружаюсь в мир моих мечтаний, что я предчувствовал впереди, что вы написали и послали мне письмо, и готовился уже отвечать. В воскресенье посылаю на почту: нет ли номера «Записок» и письма; сказали, нет. Досадно, кажется, должно бы быть,— и почтальон приносит письмо. Обрадовался, как ребенок. Читаю: и Василий Петрович тут же; черт возьми, этого я не ждал; я думал, он в Москве, а он в Питере с Белинским,— и мне стало грустно, глубоко грустно. Крыльев нет, расстояние большое. Если бы я приехал теперь в Питер, я бы пришел прямо на вашу квартиру, не спросил бы: «Здесь ли квартирует Белинский?» но — «Дома ли Белинский?» Вот вопрос: и Марья Ивановна вновь у вас, не прежняя, а другая; и эта, вы говорите, лучше? Чего же трусить, робеть? К делу,— осрамился, и квит; по крайней мере, можно будет сказать, как чиновники говорят XIV-го класса: «Она хотела, да я пренебрег».

Видите ли, что мое положение было гадко, очень гадко, а болезнь не шуточная; положим, положение или дела мои с отцом все те же, но здоровье мое стало поправляться, а это не шутка; выйтить из подобной болезни — все равно что родиться вновь. И лекарь у меня,— хоть вы не предполагаете их у нас, да и в самом деле почти нет,— но на мое счастье как-то случайно живет у нас человек очень хороший,— расположен ко мне прежде болезни, я его слишком уважаю; все это питало мою надежду и заставило слепо ему верить,— и я не обманулся.

Вы говорите, что вы пишете ко мне слишком резонабельно, думаете, как чиновник восьмого класса, философствуете пошло; все это лишь слова. Вы говорите не резонабельно, солидно, серьезно, и я с вами во всем совершенно согласен. Ссора с отцом еще не погибель, она необходима, бороться я не прочь; ошеломил он меня, но не навсегда; вот я наконец и очнулся. Будь у меня деньги, конечно, с этой женщиной наделал бы я пустяков и прожился бы весь. И это должно бы быть непременно, и было бы. Но, милый Виссарион Григорьевич, так долго евши горькую гадость, не видавши ничего порядочного давно; уж истомившись до смерти голодом, вдруг попадает сладкий кусок; схватил его, и думаешь обожраться, и в эту-то минуту должен его от себя оттолкнуть; а откушавши немного,— и узнал в нем такую сладость, какой никогда не воображал. Ведь теперь и больно; знаю, что есть лучше этой жизни, знаю прелесть божественных идеалов, и как они человеку необходимы, и как без них человек — скотина. Но в физической жизни есть жизнь не скотская, а человеческая, святая; но пожить ею, конечно, не целую жизнь — это невозможно,— но год, другой в свой век было бы и у вас и у меня дело не лишнее. Готов до гроба всей душой любить я жизнь духовную, готов обожать и благоговеть перед теми образами, которые в горькие минуты нашей жизни являются к нам, как ангелы-утешители, готов любить и долго и свято красоту земную. Но встреться вновь милая женщина, эта живая волшебница земной действительности, несмотря на слабое мое тело, упаду опять весь в ее горячие объятия,— и умереть, когда это будет необходимо. Но уме-

реть насильно — это глупо; жизнь должно тратить и беречь. Смешно вам слышать от больного такие душеспасительные мысли. Что ж делать? — и умираю, а все ищу кого другого.

Вы говорите, что уж у вас для меня есть отдельная комнатка. Благодарю вас, тысячу раз благодарю за нее. В настоящем моем положении это для меня клад. Жить в Петербурге и с вами — венец желаний. Это не лесть, ее у меня к вам не было и нет. Советуете скорее, как можно, перебраться туда на житье, хоть бы это было и без средств и пешком. Эту необходимость давно уж я чувствую душою, давно мне день и ночь шепчет тайный голос об этом, давно я мыслию живу не в Воронеже, а в Питере, и несколько лет одно у меня тайное желание переселиться в Петербург, бросить Воронеж. Да здесь мне и не ужиться, все люди не по мне, и я не по них, мы с ними друг другу не нравимся, друг к другу холодны, разошлись. Теперь во всем городе у меня не только нет милого человека, нет даже и такого, с кем можно убивать время, и кто б пришел ко мне и не был бы мне тяжел. Конечно, это не житье, а каторга, и я, что день, больше начинаю чувствовать это убийственное одиночество, пустоту в людях.

Но за всем тем я решительно вам теперь ничего не скажу — до тех пор, пока совершенно выздоровею,— и больной из двора никуда ни шагу. Характер моей болезни не позволяет мне отваживаться ни на какой свободный резкий шаг, она же притом имеет неожиданные, но смертельные кризисы: в течение шести месяцев три раза я был на пороге гроба. Одна мысль, что подобный случай сделается в дороге, уже делает меня трусом; притом, выздоровевши, мне непременно надобно решительно говорить с стариком о уплате долга, сделанного мной в Петербурге и Москве, и здесь рублей триста, потому что я лечился займом и он на лекарства денег давать отказался. Теперь, однако ж, в этом я не нуждаюсь; у нас в доме половину верха заняла аптека, так я начал лекарства брать у себя, и старик молчит.

Второе: надо же с ним поговорить в последний раз и о моем отъезде, и как он его думает ли, да хочет ли чем поддержать или нет, даст ли что или ничего.

И тогда-то уже я к вам напишу, что я должен делать и как у нас все кончится. Теперь же мне говорить с ним нельзя; иногда дело дойдет, что надо будет погорячиться, а всякое раздражение для меня слишком опасно. Я теперь ни больше, ни меньше, как тело в пеленках, связанный по руки и по ноги: тут средств никаких; сам собою чтобы сделал,— нельзя, сил нет. Опасно выходить, опасно много ездить, опасно быть на сыром воздухе, опасно сердиться, опасно слишком отягощать голову заботами. Черт возьми это состояние, так оно хорошо. Но только я не трушу, проживаю время спокойно, не думая о многом, жду лучшего времени и лучшего ветра; дождусь — хорошо, не дождусь — не надо; ведь не один я прождал его свой век. Глупая мысль! О лучшем — воли нет. Уж меня наконец, сказать прямо, не старик связал, а болезнь, да пострел побери все это, авось пройдет.

Как выздоровею, тотчас я вам напишу. Чем кончу с стариком, тоже зараз напишу. До тех же пор прошу вас обо мне не заботиться, не тревожиться. Какие нужно меры взять — взяты, а в животе-смерти бог волен.

Вы не так поняли о тесном круге моих знакомых. Я писал вам о них, не жалуясь на малое число, а гордясь, что я имею их,— таких людей, которых можно душой любить и которые весьма редки. И их часто сотни не имеют одного, а я один имею несколько.

О пьесках, с этим письмом посылаемых, я вам ничего не скажу, которые хороши — напечатайте, которые дурны — оставьте, которые нужно поправить — заметьте и пришлите.

О вашей статье, ошельмованной цензурой [3], я знал тогда же, что она вами написана была не так, знал, что она была полна и что вы ни за чтоб не выкинули из нее одного слова, но что ее так обасурманила цензура. Но я намекнул вам об этом не так, потому что боялся за вас; я начал подумывать, чего не сделали ли дурного, а ваше долгое молчание каждую неделю более и более эту мысль мою утверждало, и меня до смерти мучила об вас неизвестность. Черт знает чего с нами не могут сделать! Ведь мы люди грешные; особенно теперь, в моей болезни, нужно хоть немножко укорениться мысли, хоть бы

самой нелепой,— ну уж она от меня и не отстанет и начнет разрастаться более и более.

Не в добрый час я начал это письмо! Только я сяду, начну писать, кто-нибудь тотчас явится и перервет. Досадно. Например, вчера является молодой офицер, или хорунжий, с Дона; жил в Питере, учился военному ремеслу, едет домой; в Воронеже у него недостало денег,— пришел просить сто рублей (у меня сто рублей!). Говорю: нет. Не верит,— нужно, да и только. Насилу отвязался, нашел ему человека, который дал. Такие чудные люди эти офицеры: в одну минуту и знакомятся, и просят об одолжении.

Я слышал: начал издаваться тетрадями Гёте;[4] будете писать, напишите, пожалуйста, кто переводит и какая цена? Я выпишу, если перевод хороший. Да напишите, как идут «Отечественные записки»? Как поправляется Андрей Александрович? Развязаны ль долги? И на следующий год будут издаваться, как шли последние два года, или для сведения конца с концами? Это все меня весьма интересует. Но больше всего мне знать хочется, как идут ваши дела, так же ли, как прежде, лучше ли? Хорошая квартира и богатая мебель — знак улучшения. Но отколь она? — Не знаю.

В конце сентября был у нас в Воронеже Глинка Федор Николаевич с женою, проездом из деревни; просили меня шибко, чтобы я что-нибудь, но непременно послал в «Москвитянин». Я сказал: теперь у меня ничего нет; болен — не пишу. Но об вас и «Записках» — ни слова, и я ничего не затевал.

Лермонтова убили до смерти, это старая новость; но она меня так сильно поразила, что до сей поры не выходит из думы. И жаль и досадно: только что покажется, хорошо не успеешь полюбить,— как его и нет. Много мы в нем потеряли, незаменимая потеря! Наш один купец в одно время с ним жил на Кавказе, и он мне, приехавши оттуда, говорил, что у Лермонтова много в портфеле найдено после смерти стихов; одно из них он читал под названием «Чинар».[5]. Скажите-ка Андрею Александровичу, не отыщет ли он этого портфеля.

Андрею Александровичу, Анне Яковлевне, И. И. Панаеву, Авдотье Яковлевне, А. А. Комарову, М. А. Языкову, Прокоповичу душевное почтение и низкий поклон.

Милому Василию Петровичу не пишу теперь письма особенного, первое потому, что не знаю, где он: в Питере ли еще или уже уехал в Москву. Когда услышу, что он в Москве, тотчас напишу; а если еще в Питере это письмо его застанет, то я крепко жму руку и целую его. Жалею, что он скучает . . . . .

Много тысяч раз прошу не сердиться за деньги;[6] при первом удобном случае вышлю, душой благодарю за его «здравствуйте». Люблю его чем дальше — больше.

Ну, теперь, милые мои, пришло сказать: «прощайте»; надолго ли, не знаю; но как-то это слово горько отозвалось в моей душе, но еще: «прощайте», и в третий раз: «прощайте»! Если бы я был женщина,— хорошая бы пора плакать. Минута грустного горя, побудь хоть ты со мной подольше!

Всею душою вас любящий, весь ваш

Алексей Кольцов.

67. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

24 октября 1841 г. Воронеж

Добрый, любезный князь Петр Андреевич! Вы обязали меня давно и недавно, и вновь обязываете до такой степени, что я ничем и никогда не могу ни заслужить вам, ни заплатить и сотой доли. Ваше письмо, давно уже полученное мною, так полно искренности, участия, дышит такою теплотою, что я не мог долго писать к вам ни одного слова: вся душа моя была наполнена им, и я нарочно длил это наслаждение, не хотел нарушить святого очарования. Благодарю вас, добрый князь, тысячу раз благодарю за него, и миллион раз благодарю за спокойствие, которым пользуюсь я и мое семейство. Полиция нас оставила совершенно: дело, производившееся в сенате, хотя им кончено не совсем, но прежнее его определение разрушено, и оно оттолкнуто в низшие инстанции года на два, на три,— и этого пока довольно. Есть еще делишка два самых старых; только они меня не тревожат нисколько.

С этой стороны все идет прекрасно, зато в других не очень хорошо; знать, такова наша жизнь. С апре-

ля до сих пор я нездоров, и было очень дурно, теперь начал понемножку поправляться. Это мне много помешало; целое лето мне нельзя было ничем заниматься, а дни проходят, время летит, а я сижу. Жизнь моя туманная! Доля неудачная! Выздоровею,— начну догонять прожитое.

Пришло поздно к вам письмо мое, по моей ошибке в немце (он у нас содержит пансион) [1]: при отъезде его в Петербург я дал ему письмо в руки, просил доставить вам лично, а он продержал его у себя; наконец отдал на городскую почту. Мой немец в Петербурге растерялся, оплошал.

Глубоко вас почитающий и любящий вас всею силою души, вашего сиятельства покорнейший слуга

Алексей Кольцов.

68. В. Ф. ОДОЕВСКОМУ

24 октября 1841 г. Воронеж

Ваше сиятельство, любезный князь Владимир Федорович! Опять я к вам с тою же просьбою, о которой я вас еще весною просил, когда уехал от нас губернатор Лодыгин. Говорили, вместо его будет (забыл уж кто), и я писал вам об нем письмо [1]; дела изменились, и вместо его приехал на губернаторство его превосходительство генерал-майор фон дер Ховен, человек деятельный и умный. Об нем-то моя опять к вам просьба: нельзя ли меня познакомить с ним. У меня теперь к нему нет дел никаких, но, в случае нужды, я к нему пойти и не могу...

Особенно я боюсь нашего большого барина управляющего, бессребреного Карачинского [2]. Он, приехавши из Петербурга, косится на меня косее прежнего, а у него в палате есть еще кой-какие отца моего старые делишки неоконченны. Они пустые; но есть мастера из ничего сделать гору, и он их все заметно протягивает вдаль. Делайся все как должно,— хорошо. А если не ровен час,— и я один здесь, без поддержки. Как идет управление в палате г[осударственных] и[муществ], сказать вам не могу; по приезде из Москвы, Великим постом, было своих дел мно-

го; и в апреле сделался нездоров и до сих пор. Кроме этого, едва ли подобные вещи вам нужны; ведь в прошлый раз осталось же все безо всего, и слова святой истины не сдунули пылинки с черного дела.

Не знаю, как пойдет настоящий набор, а прошлогодний был самый бесчеловечный. Были жалобы— их никто не слушал. Кто больше обижен, тот больше остался виноват. А кто сие учинил, те все остались людьми благородными.

Ваше сиятельство, если не затруднит вас слишком моя просьба, то прошу вас покорнейше не оставить ее без внимания. Почитающий и любящий вас, вашего сиятельства покорный слуга

Алексей Кольцов.

69. И. А. МАЛЫШЕВУ

[Октябрь 1841 г. Воронеж]

Добрый и любезнейший Иван Андреевич! Я услышал, что у вас был батенька и П—н, старик [1], сегодня поутру: гости не в пору и едва ли по нутру. Не подумайте ж, ради бога, что я их к вам снарядил. Правда, с месяц назад я говорил П — ным обратиться к вам в ту пору; они заняться этим почитали ненужным, лечили больного сам и немец, и залечили до того, что он теперь так плох, что, кажется, и сверхъестественная помочь уж не в помочь. Вчера была у них моя мать по долгу родства; больной спросил: что я? каков? Мать сказала: здоровеет, поправляется, слава богу! Он так взбесился, что начал кричать, метаться, бить в грудь, просить жену, отца — достать денег. К Малышеву, скорее за Малышевым! давайте денег! Просить хватился, голубчик, да поздно! — прежде бы не жалеть денег! Зовут моего старика; условились сегодня быть у вас обоим, и были. Он мне дядя, да это не стоит полушки: у меня чужие — родные, свои — чужие; но мне жаль его, упрямца, не ради его, а ради семейства. И потому, когда я говорил им о вас, в то время помочь еще была возможна, теперь же, кажется, поздно. Но если вы себя обремените в такую, для вас хлопотливую

и без этого, пору поездом к нему, то, ради бога, не подумайте, что тут виновник я: телом и душою я чист, и умываю по этому делу руки. А ваши посещения *без получения вперед* не оказались бы бесплодными!

Мое здоровье поправляется, видимо лучшеет, несмотря на дурное время. Это меня радует: пью, ем, сплю хорошо, порою бываю дома очень весел.

Стыдно, а надобно сознаться, что в том четверостишии [2], которое у вас,— и вы заметили,— стих-то в самом деле неверен: в четверостишии — ошибка! Хороши же мы! Теперь вот как:

И сожаленьем и слезой,
Прощаясь, прах его почтили.

С почтением глубоко уважающий вас

Алексей Кольцов.

70. В. Г. БЕЛИНСКОМУ

18 декабря 1841 г. Воронеж

Милый Виссарион Григорьевич! В Петербурге ли вы теперь или нет,— мне дела нет: я хочу писать к вам, хочу говорить с вами, душа жаждет беседы. Одиночество надоело,—и день один, и ночь один, недели, месяцы идут, а у меня, что было вчера, то непременно будет завтра, а если встретится что-нибудь новое, то уж непременно какая-нибудь дрянь, которая только взбесит,— и конец. Что до досад, у меня в них недостатку нет: слава богу, этим больной богаче здорового. Да так и должно быть. Однако же последние неприятности многое мне открыли, чего я прежде не знал, и обозначили небольшую надежду на будущее. «Обозначили» — слово не у места; ну, да уж написалось,— стой!

С получением вашего письма до этих пор у меня много переменилось. Главное — сестру отец помолвил; на святках сговор, а там и свадьба [1]; только наверное не знаю когда, еще не решено: после ль ново-

го года или на красную горку. Здесь отец, а паче всего сестра сделали со мной удивительную подлость. Отец не пригласил меня и на совет (чему я был очень рад); кроме того, дает за ней деньгами три тысячи рублей. Я ему стал говорить, что обошлось бы без этого, а давать деньги — их у нас нет,— долгов много, а платить нечем. Он мне на это: «Я выдаю дочь последнюю, и дам за ней последнее, что есть. А нечем будет долгов платить, продам дом. Я стар, мне жить немного, а об тебе я и не думаю: ты — голова у меня. После этой свадьбы женись сам, корми меня, мать; а не женишься — прогоню со двора». Взорвало меня страшно. Особенно теперь моя натура еще весьма расстроена; чуть что, я не выдерживаю, взбешусь, как черт, в минуту. Но на этот раз я как-то хладнокровно проглотил эту крепительную пилюлю и сказал: «Как хотите, так и делайте. Я ни в чем вам не мешаю и в этом деле не участвую, а вас прошу оставить меня в покое,— и спасибо». С ним тем у нас и кончилось, и мы держим слово хорошо. Я по этому делу ничего не делаю; раз — не могу, другой — и слаб еще весьма; и после этого всего нет охоты делать; а он, с своей стороны, меня ничем не беспокоит, и начал кормить хорошо, купил много пива, которое мне весьма полезно, и я пью его до-воли.

Сестра сделала другое. Ее будущий муж — малый молодой, красивый и статный довольно собою мужчина, мещанин, без всякого образования, без всех благородных качеств и, кажется, с алтынной и скверной душой. По крайней мере, в минуту радости у него хриповатым, густым басом разрывается голос, не похожий на человеческий; а в обыкновенном разговоре голос порядочный. И что-то, всматриваясь в лицо его глубже, видишь, под красивой личинкой молодости, какую-то невообразимо гадкую образину. Я замечал в людях очень часто, как лет в двадцать личико оживлено жизнию довольно приятно, а в тридцать из этого личика выходит сущий урод. Как бы хорошо лицо ни было, но если натура у человека не хороша от природы, то, всматриваясь в нее хорошенько, где-нибудь, но уж непременно отыщешь, часто едва заметную, черту гадости, и эта гадость со временем обхва-

тит всего человека, без его ведома, как его натуральная идея, и он стоит уже век на этом пьедестале. Если я ошибаюсь, дай бог. Как ни дурно со мной поступили, а я все-таки им и сестре искренне и от души желаю всего доброго.

Сестре он своею наружностью понравился больше года. Я это знал, несколько раз намекал ей об этом. Она ни слова, а всегда уверяла меня, что это одни сплетни говорливых языков. Я и отсторонился и издали глядел лишь, чтобы не пошло в дурную сторону, что иногда с нами, грешными, и бывает. А между тем беседы у них идут чаще, у двух замужних моих сестер, из которых одна — дура, а другая — женщина хитрая и в мелких делах жизни довольно умная. Смотрю — начались шушуканья, переговоры, сватанье; спрашиваю у сестры: правда? «Нет, вздор». Я говорю: сегодня вечером решенье сделают навсегда, подумала ль ты обо всем этом хорошенько? каким он тебе кажется, пожалуйста, сообщи? Ответ: «Не ваше дело; будьте спокойны: все обойдется без вас; о чем нужно, я сама знаю». Я где стоял, тут и сел, как рак на мели.

Не то уж больно, что она, кажется, увлеклась его одной наружностью и что я все силы употреблял хоть немножко очеловечить ее, дать ей кой-какие понятия, пробудить все силы жизни; но больно то, что я в ней в одну минуту глубоко так ошибся. Я был с ней всегда искренен и откровенен, делал для нее, что мог; все, что ни было у меня за душою, ей все было известно: и хорошее и дурное — все, все, без исключения. И вот чем она мне заплатила с своей стороны!

Кроме того, узнаю, что переменился ко мне отец через нее. Говоря с ней откровенно, часто говорил и о своей любимой мечте переселиться в Питер; она это передала отцу с прибавлением, что я хочу обобрать его — и уехать; вот откуда вышла его низкая осторожность. Еще слова два о будущем ее муже. Богатство все его заключено в одном довольно старом доме на хорошей улице, дающем доходу две тысячи рублей в год.

Теперь я живу спокойно, свадьбой не занимаюсь; досады, которые меня мучили недели две, прошли; я положился: что будет, пусть то будет. Мать очень

уважаю; с отцом веду себя прилично и хладнокровно; с замужними сестрами схожусь редко, как чужой; с последнею ничего не говорю, кроме вещей необходимых,— ничем ей не мешаю. С женихом и прочими по силе вежлив,- выдерживаю тон, будто у нас между собой ничего нет. И эдак идет уж с месяц.

Дело свадьбы,— как теперь зависит от одного старика, а он стар и в этих делах большой невежда,— поэтому идет дурно; и в ней заметно сильное началось страдание, и мне ее стало очень жаль. Уж я начинаю бранить себя, что я принял их подлости горячо; жалею, что и не вмешался в это дело сначала и не помогаю ей в самую трудную ее пору жизни. Без меня она оказалась совершенно без характера, а взяла-то на себя много-много, и оно начало ее давить; время ее проходит тяжело. На всем какой-то печальный виден колорит, и я сам не знаю, что мне делать. Пожалуйста, скажите,— я нарочно вам написал обо всем подробно,— так ли я поступил, как должно, или нет, и что от меня в этом случае требуется. Переменить тон,— что ж пользы? Приняться помогать делом? — надо войти в долги и засесть в Воронеже еще года на два, на три. Без меня старик условий не сдержит, это родит худые последствия; сдержать их мне — засесть дома надолго, а изменить их поздно, и они сделаны не мною,— стариком... И ее жаль, ее печаль начинает делаться моею печалью. Как скажете? Ее же замужество ясно улучшает мою будущность.

Болезнь моя понемножку проходит; натура заметно укрепляется, потребность внутренней деятельности еще спит, память самая плохая: что читаю сегодня, через два дня совершенно забываю; но для физического здоровья угрожает один пост; пройдет он,— начнется весна, и ежели я доживу до ней, конечно: я еще жилец на свете. К весне свадьба кончится; последняя сестра будет замужем, останутся дома отец, мать да я. Последняя обязанность упадет с моей шеи; тогда счет покорочает, здоровье будет видно. Сколько долгов, сколько товара, все, что за нами останется,— будет видно, и с стариком говорить я буду иметь причину основательней, а что у отца на уме, то тотчас выйдет наружу. Тогда, собравши все

в одно время, и можно будет определить решительное о себе заключение.

Та женщина[2] для меня все-таки весьма интересна, и я об ней часто провожу целые часы в сладком воспоминании; она много дала мне таких дней, о которых я не скоро забуду.

Ваше последнее письмо меня чрезвычайно успокоило; оно мне указало, как глядеть кой на какие вещи, что они и в какие отношения себя к ним поставить. А за ваш радушный, задушевный привет, за ваше участие ко мне, за готовность поделиться со мною при случае,— за это за все я вас и не благодарю. Здесь всякая благодарность не стоит гроша и все слова — одни слова. Но что я вполне чувствую,—скажу вам безо всякой лести,— чувствую глубоко-глубоко. Одни вы из целых миллионов людей объявили поделиться со мной, чем богаты. Говорите, что вы не можете в других забыться вовсе; да кто забывается до того нынче, до чего забываетесь вы? (Подобные разговоры, как бы ни были от души, а все сейчас сбиваются на *вы*.)

Рад весточке, что «Отечественные записки» будут издаваться и на следующий год. Не знаю, какой они вес имеют в других местах, а у нас изо всех журналов кредит упрочивается преимущественно за одними ими. «Библиотека» у всякого глупца наконец упала в мнении, а печатание бесконечного романа Кукольника[3] в десяти номерах — одна из самых важных ошибок редакции: эта продолжительность не только отбила охоту читать, но и уронила весь журнал. И я слышал от многих жалобы одни: «Беда, если не окончится роман в этом годе и если ухитрятся конец его напечатать в первом номере следующего года, тогда поневоле для его конца принуждены будем выписать еще год».

Стал ваш журнал и особенно вас сильно ненавидеть «Москвитянин». У нас, в Воронеже, живет один его сотрудник, бывший товарищ по университету Погодина, довольно ученый человек, убитый судьбою, чудак, с старыми понятиями, претензиями и похвалами на их молодое время и с бранью на все новое, особенно на философию,— хоть они прежде всего и корчат из себя уродов-философов. При встрече

с ним, он прежде всего об вас ни слова, а теперь только слова о «Записках»; ну и беда — брань без конца. А на вас пуще всего. И знает уж почему-то, что вы выгнанный студент, дурной самой жизни молокосос, неуч, а взялся говорить о людях порядочных, умных, воспитанных, образованных.

Я полагаю, Погодин это все ему сообщил; он с ним ведет переписку. Фамилия чудака нашего Баталин; и убедительно всегда просит меня участвовать в «Москвитянине» и бросить этот дрянной журнал «Отечественные записки». Вот как вы стали посоливать.

Недели две тому назад получил я письмо из Харькова, от какого-то Бецкого, наполненное самой бесстыдной лести о моем, изволите ли видеть, огромнейшем таланте, с изъявлением своей душевной любви, преданности и уважения, и окончивающееся просьбою, чтобы я поскорей прислал в замышленный им издать альманах «Молодик» несколько своих пьес. Я к нему не писал ничего и без совета вашего ничего не напишу.

Критика ваша о «Древних стихотворениях Кирши Данилова» чудо как хороша [4]. Я не читаю, но пожираю ее. А переводы ваши из стихов в прозу — цены им нет. Рассказ о Прометее чрезвычаен; только, кажется, вы весьма много отдаете Гете; у Эсхила он точно таков же, идея та же, разве Гете облек его в лучшую, свою немецкую, форму. А если идея во время Эсхила не была так выяснена, как во время Гете, то здесь, кажется, главное уяснение во времени; человечество — живя и своею жизнью — дало ей такой огромный интерес [5]. Одно нехорошо: ваша эта статья растянулась на четыре номера. Я понимаю эту необходимость, но в другом отношении она вас не оправдывает. Можно еще критическую статью раздвоить на два номера, один месяц еще ничего, но три месяца — другое дело. Критическая статья, какая бы она ни была, но непременно должна занимать читателя в один раз с начала до конца. Это не то, что повесть, роман. То читать легче,— прочел половину, прошел месяц,— другую забыл. Нет нужды, последняя половина с пяти страниц напомнит о прежней, а кто читает с толком, тот или первую половину не

будет читать, или, при получении второй, первую перелистует. С критической статьей, особенно с философской, этого делать нельзя.

«Демона» Лермонтова спишу[6] и к новому году пришлю; едет наш купец в Питер и свезет его.

Стихи на память Станкевича[7] посылаю. Гроб его недавно привезен из-за границы в имение Станкевичей и похоронен с торжеством. И покойникам от отцов детям лучший почет, чем живым. В этом случае они поступают точно, как чужие.

Где Катков? Что он замолчал? Будете писать, напишите, пожалуйста, о нем. Жаль, что недосуг вам было ничего сказать о моих последних пьесках[8]. Может, они все нехороши, и вы пожалели меня, больного, сказать правду. Если эта причина, то, пожалуйста, напишите об них все, что думаете. Я вам верю безусловно, а правда мне всего нужнее; хороши — хороши, дурны — дурны.

Если у вас еще милый и любезный Василий Петрович, то я его целую от души. Люблю как нельзя больше. Писать к нему не пишу особенного письма, потому что не могу. Это письмо к вам и к нему, а будет в Москве — буду писать. А теперь о чем? повторять то же? Вы и Василий Петрович — два существа на земле самые любезнейшие и близкие моему сердцу. И если он еще в Питере, то попросите его сходить к Полякову, взять 18 экземпляров «Кота Мурра». Ведь они были мною адресованы на его имя, я позабыл написать прежде[9].

Да если не в тяжесть вам будет, напишите мне о своей «Истории словесности»; кончили вы ее или нет[10], и скоро ль издаст ее Поляков? Или это дело разошлось? Берегитесь его: мошенник. И как Андрея Александровича денежные дела журнала — поправляются ли хоть немного? При издании журнала это главное.

Я ничего не пишу. Голова что лукошко. А к вам опять буду писать скоро. . . . .

Прощайте. Весь ваш и всякий день беседующий с вами

Алексей Кольцов.

71. В. Г. БЕЛИНСКОМУ

27 февраля 1842 г. Воронеж

Милый мой Виссарион Григорьевич! Давно я к вам не писал; давно не получал от вас ни слова; но я от вас и не жду письма, вам теперь не до меня. Я и свободен и ничего не делаю, да и то, видите ль, когда наконец собрался, через сколько времени,— стыдно сказать. А между тем каждый день думаю об вас, беседую с вами по нескольку часов.

В декабре послал я вам письмо[1], в котором писал вам обо всем, что у нас делалось в семействе и что делалось со мной.

После его вскорости у нас был девишник, на котором я шибко простудился и снова заболел. Сначала воспаление не очень большое было выше правого костреца; потом образовалось довольно опасное в правом боку противу сердца. Ну, это воспаление, мало того что было чрезвычайно мучительно, а больше опасно, и я ужасно трусил за жизнь, и дух мой был в самом тревожном состоянии; и как-то он не только упал, но эдак странно как-то возмущался. И в эту пору у нас была свадьба, пиры, вечеринки почти каждый день. Комната моя была на самом проходе, через нее с утра до полночи все ходило, бегало, суетилось, шумело... А добрая сестра моя, соединившись с другими замужними, общими силами овладели стариками, одурачили их, расположили ко мне отца еще дурнее, чем он был прежде. Делали без всякого стыда все мне назло — до того, что однажды, когда меня жар убийственно томил, они в другой комнате положили девушку, накрыли ее простыней и начали отпевать покойника. Это, по их, называлась шутка!!! В другой раз добрая сестра моя, девушка-невеста, бранила мать; я за нее вступился; она мне говорит: «Пожалуйста, выйдите из комнаты: ваше дело молчать, без вас все обойдется». Ну что ж, после этого я и вышел молча. Еще как-то она меня оскорбляла, мать за меня вступилась; она ей говорит: «Что вы! за него? погодите, он вам нос-то скусит».

Но, слава богу, все я стерпел, пережил, только они меня так озлили, что я начал сплетничать. Эта сплетня открыла много дурных их сторон перед лицом других людей, сдернула маску с ее суженого, и он оказался скотина дворник, без совести, без души. Теперь я и жалею о этой сплетне, но тогда не утерпел,— был очень слаб и раздражителен,— а лучше б следовало терпеть до конца. В отомщение ж мне за нее доброй сестре моей хотелось свадьбу протянуть до Троицы; этим бы они меня дорезали решительно. Весной-таки еще ничего, можно б уходить куда-нибудь, но до Святой погода дурная,— выходить можно только в хорошие дни. Беда б мне была, да и только. Да, к счастью, сплетня моя так на них подействовала, что они сами начали спешить кончить свадьбу, и вот десять дней, как их обвенчали.

Но после сейчас же встретилась новая беда. На третий день после свадьбы отец поутру приходит ко мне и велит мне переходить жить в другую комнату, в сырую до смерти. Я заупрямился, он сказал: «Решительно не хочешь — так со двора долой! живи, где хочешь». И подобных утешений наговорил кучу. После обеда уехал в гости. Я, пользуясь его отсутствием, сам перешел в сухую, покойную комнату и никому не нужную, лег в постель и стал приготовляться к решительной последней ссоре. Однако ж дело обошлось без нее. Он приехал — не сказал ничего. Я, с своей стороны, увидел его снисхождение, пошел к нему поутру, рассказал причину моего переселения, что оно делалось не из каприза и упрямства, а по необходимости. Дело тем и кончилось. Комната осталась за мной.

В ней я живу теперь тихо, покойно, дышу свободно; а отдыхаю, сколько угодно; ем хорошо, обед готовят хороший, сплю довольно; и это так меня успокоило, что здоровье мое стало лучше. Я бросил все сплетни и даже нарочно ездил к моей доброй сестре и к двум другим с извинением, и просил прощения в нанесенном мною им, может быть, оскорблении. Помирился, просил их, чтоб и они меня не беспокоили и не сердили. Бог с ними! Им как ни жить —

все равно, они здоровы; да им даже моя сплетня дала жизнь, движение. Да мне-то что из этого? Мне надо думать о себе и о здоровье, а всякое огорчение меня расстраивает.

Итак, теперь, милый мой Виссарион Григорьевич, я живу, слава богу, хорошо пока. Горе упало с плеч. Черное время пережил; силы моей жизни и в самые горькие убийственные минуты поддерживали меня, и я еще живу и пишу к вам, и силы мои лучшают,— не говорю: духовные, их еще нет, но я рад пока и физическим. Они мне необходимы. С отцом редко вижусь, дел он мне не наваливает. Оскорблять — пока не оскорбляет. Необходимое, кроме денег, дают, но я рад уж и последнему. Вот почему я так долго к вам не писал. Теперь у меня все положено ждать весны. Пост своею ростепелью страшит; однако лекарь мой говорил, чтобы я за себя не боялся. Болезнь продолжится, но за жизнь он ручается, и я ему вполне верю. Конечно, о себе, о болезни и делах семейных я сказал вам все. Мир им.

Мое последнее письмо, как я и думал, вас уж в Питере не застанет [2]. Эту пору вы были в Москве, и я думал, оно к вам не дойдет; но вчера, получивши второй номер «Записок», увидел «Поминки» [3] и успокоился: значит, вы его получили. «Демон» Лермонтова переписан и готов, и я бы его уж послал, да в первом номере увидал, что его не напечатают [4], и потому теперь не пошлю,— он вам не нужен.

Журнал ваш «Отечественные записки» ужасно поздно у нас получается, после всех журналов: 1 № получен 2 февраля, 2 № — 25 февраля. В Курске же 1-й получен десятью днями раньше. Меня ужасно опечалило, когда я услышал, что губернатор получил от внутреннего министра номера на «Отечественные записки» и раздает через думу [5]. Это значит, что подписка была пустая и Андрей Александрович прибег к этой мере по необходимости. Плохо. Издавай у нас после этого хорошие, умные журналы! Не знаю, как в других местах, а у нас большая часть голосов в пользу «Записок». А другие побранивают: они не по их мозгу. «Библиотеку» все бранят, но ее кредит так утвердился, что бранят, бранят,

а все-таки выписывают. Они не хотят прямо сознаться в своем тупоумии, а внутри всякий идиот чувствует, что «Библиотека» ему по плечу, а с «Записками» горе: их надо читать с толком. «Библиотеку» можно читать без толку. А о других журналах у нас почти не говорят, их как будто нет на свете.

Первый номер «Записок» чрезвычайно хорош, все отделы полны интересом. «Актеона», повесть Панаева, весьма хороша [6], и ее все читают и хвалят, кроме помещиков, особенно молодых; тем она не по нутру. Жаль, кой-где в ней Иван Иванович хочет смешить и силою натягивает комизм. Его у него нет, а у него очень много светской, тонкой, язвительной иронии. Эта сторона ему далась — и недавно; важное приобретение, владеть иронией — великое дело. Ольга Павловна у него тоже натура новая, удивительная натура и поставлена художественно — в эти мерзкие характеры, между низкими подлыми душонками. Она погибла между ними без воплей, без страданий, но зато какие задушены внутри ее души вопли и страдания, и как они громко раздаются в каждом чувствующем человеке, и какая к ней возбуждается в душе любовь и сожаление, и как готов торжественно проклясть ее палачей и губителей!

А «Письмо учителя»! [7] Его не читаешь, а пожираешь, и не в один раз, а в несколько. Статья Сабурова о сельском хозяйстве дельная, умная статья [8], за которую многие, многие скажут спасибо. Это не то, что писалось из иностранных теорий статьи в «Библиотеке». Здесь видишь человека чисто русского, образованного, умного, наблюдательного, с тактом, который не простыми, а вооруженными глазами смотрит и в воздух и в землю. Подобные вещи для журнала сокровище. Письма Анненкова — чудо как хороши; [9] он пишет прямо и просто,— как, что видел, думал, подслушал, не мудрствуя лукаво,— и живой интерес в них так и трепещет.

Вашу критику [10] прочел с остервенением, прочел и перечел. В ней много уж вами сказанного, но тут оно получило новый интерес, там было отрывочно, здесь исторически, в порядке от начального интереса

следует до последней строки с такою ясностью, определенностью и убеждением. Одно мне не понравилось: напрасно вы ее расположили в разговорную форму. Разговорная форма необходима в драме, на сцене, в драматических отрывках; но, кажется, уж никак не в критике и ученой статье. Как-то второе лицо останавливает всегда и охлаждает внимание. Видишь каждую минуту в нем миф, который, по приказу первого лица, иногда затеет новый интерес, потом либо сейчас же откажется, или согласится с первым; тогда как первое ежеминутно все ползет вперед, как жизнь в человечестве. По-моему, критика должна высказываться прямо от одного лица и действовать повелительно и державно. Во втором номере критика хороша, умна, тактично умна; в ней на многое указано метко и искусно; но она толпе не понравится, она ее не поймет [11]. При разборе драмы Неелова [12] — указан матерьял для драмы глубоко провидящего человека в историю человеческой жизни; именно на этом моменте могла бы быть образцовая драма.

Лермонтова «На украинские степи» чудо как хорошо [13], из рук вон хорошо! «Беснующийся» Одоевского повесть [14] глубокая, превосходная и мастерски рассказанная.

Вы смеетесь, может быть, что я пустился в такие рассуждения; но я имею причину говорить об них. Болезнь так меня ошеломила, что у меня до сей поры нет ни памяти, ни мыслей, и я как-то живу дураком... И мне бы хотелось услышать от вас, хорошо или глупо понимаю вещи, о которых сейчас говорил, и о тех пьесках, которые я вам послал. Хорошо — ладно, дурно — говорите не жалея, и чем о дурном скажете горче, тем для меня будет лучше, полезней.

Как вы живете? Здоровье ваше? дела? Как живут И. И. Панаев, А. А. Краевский, Комаров, Языков? За морем Катков? Мне бы весьма хотелось знать.

Месяца три назад А. А. Краевский писал к моему знакомому Черткову, чтоб он его уведомил, как я живу, что делаю, в каком здоровье. Не знаю, по какому случаю и зачем не ко мне прямо. Правда, больше года я не пишу к нему, но не потому, чтобы

не хотел или забыл, а о чем я буду писать, и как я буду писать, когда я знаю, что у него гора дел без меня, а я еще собой буду время отнимать. Чертков же, хотя мне и знаком, но он моих домашних дел не знает, как и все чужие. К чему я буду о них рассказывать, помогут ли мне они? Сам о них говори,— это другое дело. Следственно, что Чертков обо мне ни написал, все не так. Если что нужно, то сообщите Андрею Александровичу обо мне.

Люди, которые подписались на «Отечественные записки» в думе, не получили еще до сей поры ни первого, ни второго номера! За это сердятся.

Новая беда грозит мне впереди: после Святой опять в Воронеж приедет та женщина [15]... Если в самом деле приедет и я с ней встречусь, то чувствую вперед, что от этой встречи добра будет мало. А я уж с охотой жду, и в моей душе к ней злобы нет.

Кому можно, поклонитесь от меня, всем, кого я люблю,— вы всех сами знаете. Вас вижу сию же минуту у себя живого и крепко обнимаю и целую.

Ваш *Алексей Кольцов.*

72. В. П. БОТКИНУ

27 февраля 1842 г. Воронеж

Вот, милый мой Василий Петрович, вы так извинялись передо мною весною в письме, что долго не писали ко мне, что много раз сбирались и откладывали до завтра. А лучше ли теперь сделал я, исправней ли поступил? Писал ли даже на ваше письмо,— не помню. А сколько с той поры прошло время,— ужас! Вы уж заняты, и у вас больше рассеяния, больше людей, которых любите, а у меня и время свободно, и ничего не делаю, и людей в целом Воронеже ни одной души; не только некому сказать двух слов, но и не у кого пожать руки... И кажется, надо будет писать письмо без извинений. Но не думайте, однако ж, чтобы я не хотел к вам писать или не имел желания; но были причины, и теперь есть, и их много, и причины уважительные. И сколько мо-

гу, рады ль вы будете, не рады, а я вам их сообщу — нельзя не передать, хочется. Больше некому,— Виссариону Григорьевичу и вам. Ему я их все передал, теперь — вам.

Живя в Москве, вы всё знали, что я делал, думаю, какие были мои и семейные обстоятельства, и что уж там меня начали тревожить темные предчувствия, которые после разрешились — и много хуже, чем я думал.

С первого приезда домой отец мой обошелся весьма холодно. Дело, которое я выиграл, его нисколько, при рассказе о нем, не порадовало. Это меня поставило в тупик. Я не жил никогда в одних комнатах с ними. Притом, в доме нашем есть мезонин, я одну зиму в нем зимовал; без меня его не топили. Я хочу перейти в него,— мне говорят: живи с нами. Живу неделю: скучно, беспокойно. Топлю мезонин, перехожу силой; мне не дают дров. Берем ночью, крадучи. Не дают свечей, чаю, сахару. Плохо. Я к отцу,— говорю об этом. Он: «Я говорил,— живи с нами, и я писал тебе: хочешь остаться в Москве,— останься; я и не ждал тебя; думал, ты там останешься». Кой-как пробился до весны. Весной дров не надо, и я стал жить покойней; но отец меня шибко огорчил. Это на меня шибко подействовало. Я начал шляться кой-куда и без дела; дела мне опротивели.

В эту пору встречаюсь с женщиной, о которой я вам писал [1], и два месяца убил с нею так, как никогда не жил с женщинами сроду. Ну, конечно, об этом дошли слухи и до отца. Подобное мое поведение ему не понравилось. Я всегда в глазах его и целого города вел себя святошей, и вдруг он увидал во мне человека распутного.

И это, конечно, не обошлось бы мне даром, да я заболел. Боль сначала заключалась в трех опухолях, и лекарь [2] мой их в две недели прогнал. За ними новая боль: распадение во всей натуре. Вдруг я упал и телом и духом; вдобавок отец не дает денег ни гроша ни лекарю, ни на лекарство. Я занимаю; лечусь. Меня плохо кормят, и то тихонько от отца готовили обед мне. Я это узнал, сказал лекарю. Он присоветовал мне удалиться из дома, купаться

в реке. К счастью, у родственника[3] над самым Доном, в двенадцати верстах от Воронежа, есть дача. Я к нему; он велел с охотой переехать и дал мне все средства, и я жил на даче три месяца так покойно,— пил, ел, спал, купался.

Здоровье мое немножко поправилось, но только поправилось, а не исправилось. В августе я домой, с месяц шло лучше, и я начал прохаживаться. В конце сентября у меня сделалось воспаление в почках, и я чуть не отправился на он-пол[4]. Но пьявки, припарки, прохладительное — возвратили к жизни.

Отец, несмотря ни на что, мучить меня не переставал и очень равнодушно сказал мне, что, если я умру, он будет рад, а если буду жить, то он предуведомляет меня вперед, чтоб я ничего не ждал и не надеялся; что он дома и ничего мне никогда не предоставит; что если не успеет при жизни прожить, то сожжет. И это говорил он тогда, когда я ни слова ему ни о чем подобном не сказал и ничего от него не требовал. Мать моя простая, но добрая женщина; хотела мне помогать, но я ее отклонил и поддерживал себя займом.

Воспаление прошло, и я немножко опять начал поправляться. Осень. Мезонин холоден, по необходимости поместился вместе. Комнату занял на проходе: удобней не было; была,— да в ней жили старики, ее не дали. Ну, ничего, живу.

За сестру сватаются. Завязалась свадьба, все начало ходить, бегать через мою комнату; полы моют то и дело, а сырость для меня убийственна. Трубки благовония курят каждый день; для моих расстроенных легких все это плохо. У меня опять образовалось воспаление, сначала в правом боку, потом в левом противу сердца, довольно опасное и мучительное. И здесь-то я струсил не на шутку. Несколько дней жизнь висела на волоске. Лекарь мой, несмотря на то что я ему мало очень платил, приезжал три раза в день. А в эту же пору у нас вечеринки каждый день,— шум, крики, беготня; двери до полночи в моей комнате минуты не стоят на петлях. Прошу не курить — курят больше; прошу не благовонить — больше; прошу не мыть полов,—моют. Я начал бе-

ситься, злиться и даже, стыдно сказать, сплетничать. Но эта сплетня помогла и наконец кое-что, чего я не знал, открыла. Но об этом после.

Несмотря ни на что, старания лекаря и моя натура все превозмогла. Оказалось, что я очень живуч, как кошка. Мне стало лучше.

На пестрой свадьба кончилась. Шум с плеч долой. На третий день после конца свадьбы отец ко мне приходит. Говорит, чтобы я перешел в его комнату. Я отказался: она зимой сыра, а это мне вредней всего. Он сказал: «Не хочешь? Ну, переходи, куда хочешь, иди со двора». И много наговорил в этом роде. После обеда уехал в гости. Я без него перебрался в комнату сестры моей, теплую, сухую, с прекрасным воздухом, и приготовился со стариком поспорить за нее. Но дело обошлось, слава богу, без шума. Ему сказали, [что] я было перешел в его, но сделался нездоров — и перебрался в сестрину. Я точно было и перешел, но у меня разболелись грудь и голова, я и тягу из нее до него. Он молчал. Я поутру пошел к нему, объяснил причину, просил не сердиться за комнату, какую занял, и дело тем кончилось.

Да во время болезни и свадьбы за мою сплетню на меня сестра озлилась так, что начала ругать всячески и уверять мать, что я ей «нос скушу». И даже однажды подле меня поставила стол на средину комнаты, положила девушку и начала отпевать меня, а я лежу и слушаю. И это та сестра, которую я весьма любил, о которой я много хлопотал учить на фортепьянах, петь, по-французски... И за фортепьяны мне досталось от старика порядочно. Но как еще приехал я из Москвы, удивился: пение брошено, фортепьяны забыты, язык тоже. Ноты, которые ей прислал, не разыгрывались. Это меня удивило. После узнаю,— она влюблена. Я и сложил все на это, раз намекнул об этом слухе; она меня отклонила так сухо, будто я это сам выдумал. Я и замолчал. Конец.

Но вы спросите, отчего ко мне сделался так дурен отец и сестра? Отец мой от природы с сильною физическою природою человек, жил в приказчиках, приобрел кое-что, сделался хозяином, наживал капиталу до семидесяти тысяч рублей три раза, и прожи-

вал их вновь; в последний раз прожился,— и осталось у него много дел. Он их кое-как затушил, а окончить было нечем. Они пали на меня; в восемь лет я их поуладил, и это дело, за которым я жил в Москве, было последнее. Оно кончилось на время хорошо, теперь у него нет их, он покоен. Выстроил дом, приносит доходу до шести тысяч в год, да еще у нас девять комнат за собой. Кроме того, у него осталось до двадцати [тысяч]. Он самолюбив, хвастун, упрям, хвастун без совести. Не любит жить с другими в доме человечески, а любит, чтобы все перед ним трепетало, боялось, почитало и рабствовало. И я все это переносил и терпел, но как у меня была особая комнатка, уйду в нее и отдохну. Не думал о себе, а только о делах. Но, приняв дела, уладил их. И как был Жуковский [5], он дал мне большой вес, и старик ради дел, по необходимости, дал мне свободы более, чем желал. Это ему наскучило. Ему хотелось одолеть меня прежде, настаивая жениться. Я не хотел. Это его взбесило. Женись,— он бы тогда надо мной разговелся. Сестра же после меня его пуще возбудила. Она все мои фантазии, которые я ей рассказывал, перетолковала по-своему и кончила, что я приехал за тем, чтобы обобрать старика, да и в Питер. Она же так сбывала с рук меня, чтобы выйти замуж и войти во двор и овладеть всем. И в кого она влюблена была и вышла замуж? Человек видный, красивый собой, но пустой, недалекий, ограниченный, без совести и пошлый. И теперь оказалось, что она была влюблена, а он и не думал. Но если б я и умер, все бы они ошиблись в расчете. Отец по смерти может и отказать за ними дом, но при жизни, когда гонит последнего сына со двора, чтобы деспотически властвовать одному, то примет ли к себе чужого человека — зятя. Кажется, нет.

Устроившись в комнате, я поехал к сестре, просил извинения и прощения у ней и у двух других, буде я их чем оскорбил. И скажу вам откровенно: сплетня мне наскучила, и я был ими часто огорчен, встревожен, взбешен. Чтобы успокоить себя, чем продолжать ссоры,— кончить миром.

И я теперь, слава богу, живу покойно, смирно; они меня не беспокоят. В комнате тишина; сам большой, сам старшой; с отцом вижусь редко. Он меня не оскорбляет пока, и я доволен им. Обед готовят порядочный; чай есть, сахар тоже; а мне пока больше ничего не нужно. Здоровье мое стало лучше, начал прохаживаться и два раза был в театре. Лекарь уверяет, что я в пост не умру, а весной меня вылечит. Но сил,— не говоря: духовных,— и физических еще нет; памяти тоже. Волоса начали расти, на лице зелень сошла, глаза чисты. Пока,— слава богу.

Еще одно. Вы не знаете, какая у меня была сплетня? И подумаете, гадкая? Нет, а в подобном роде: «Сестра моя зла, желает моей смерти, отпела заживо; другая — дура; третья зла и ехидна и скряга; старик меня не любит, не дает денег лечиться, жених недалек, бессовестен» и т. д. Оно все правда, да и правды-то не любят. А чтобы я что-нибудь делал отцу или сестрам во вред,— боже сохрани! Ничего.

Вот, милый Василий Петрович, история моей болезни и моих обстоятельств с той поры, как я расстался с вами, до сих пор.

Я подробно рассказал вам и для того, что, кроме вас и Виссариона Григорьевича, мне некому передать о себе ничего, а во-вторых, и для того, что вы мне посоветуете делать. Пока я болен, конечно,— ничего; умру— также. Но — выздоровею? Как вы скажете: удерживаться ли в Воронеже дома, бросать ли все,— ехать в Петербург? Удерживаться дома,— житье мне будет плохое. Но все старик меня, как ни говори, а с двора не сгонит. У меня много знакомых здесь людей хороших, которым я еще ни слова. Про это знают лекарь и у кого я жил на даче; скажи им,— они помогут; но расположить человека силою, конечно, не могут; этого нельзя. Уладить с ним можно легко: жениться, и он будет ко мне хорош; но за то надо будет взять там, где ему будет угодно. Это значит: пожертвовать собой, сгубить женщину и себя. Ехать в Питер,— он не даст ни гроша. Ну, положим, я найдусь туда приехать, у меня есть вещей рублей на триста — этого достаточно; но приехавши туда, что я буду делать? Наняться в приказчики? не

могу. От себя заниматься? не на что. Положить надежду на мои стишонки,— что за них дадут? и что буду за них получать в год? — пустяки: на сапоги, на чай — и только. Талант мой, надо говорить правду в решительное время,— талант мой пустой; несколько песенок в год — дрянь. За них много не дадут. Писать в прозе не умею, а мне тридцать три года — четвертый, пока то да се — тридцать четыре. Вот мое положение.

Пожалуйста, напишите мне ваше мнение, я им дорожу больше всего. Виссарион Григорьевич пишет: ехать; да боюсь, страшно. Я, живя на свете, хорошего не видал или видел, да немного, да и то живя в Москве и в Питере, а в Воронеже не помню когда. Вы знаете жизнь и людей больше, опытней в этом деле, и я вам больше всех поверю. Что если в сорок [лет] придется нищенствовать? — Плохо, особенно на чужой стороне; жить же на чужой счет — век не проживешь. Я теперь должен вам и другим. Вы их не просите, а если б... Как они меня мучают! По делам торговли затянуть туда-сюда — нехорошо, но при нужде еще таки; но эти займы — другое дело. Есть [и другие долги]: я занял у таких людей, которые сами для меня заняли. Небольшая сумма, да в тысячу раз хуже большой! Здесь занимал — уж так с условием: когда будут — тогда отдать. Это еще легче, да легче при крайности, а то отведи, господи, от моего врага такую легкость. Ради бога, напишите на все это искренне и откровенно.

Писать — ничего не пишу, не в состоянии. «На новый год» написал больной в минуту горькой скуки и вам их посылаю [6]. Гадость, но они вам напомнят чудесную ночь, проведенную у вас многими. Если вам подобные вещи не интересны, то для меня это воспоминание весьма дорого. Читать — мало читаю, не могу: слаб, и памяти нет. Если читаю два часа, то делаюсь, как лед. Убиваю время так, кое-как. Наслаждаюсь спокойствием, важничаю один в светлой, сухой комнате, сплю до десяти. Необходимое есть — и довольно. Забочусь о здоровье...

Благодарю вас за письмо, присланное ко мне, за приписку к письму Виссариона Григорьевича из Пе-

тербурга, за совет, которого я пока и придерживаюсь. Извините меня, что я не пишу вам ничего о литературе, которую и больной люблю душою. Но писать о ней ничего не могу. Нет памяти, нет мыслей. Я пока сделался чисто животное существо и, видите ль, пишу к вам о всяких мелочах; в другую пору о них бы, может быть, постыдился намекнуть. Что, если и выздоровею, таким останусь? Тогда простите, Василий Петрович, Виссарион Григорьевич, Москва, Петербург! Нет, дай, господи, умереть, а не дожить до этого паралитического состояния. Или жить для жизни, или марш на покой.

Есть еще пьески три новых[7], хотел бы сообщить их вам, да устал; писать мочи нет. После когда-нибудь. От души посмеялся я, читая ваше письмо. Павловы и Бакунины меня бранят за Языкова,— это хорошо. Беда у меня новая, Василий Петрович, готовится впереди; вчера услышал: та моя женщина[8] будет в Воронеже после Святой. Я как-то боюсь ее увидеть... и хочется видеть. И если к той поре поздоровею и если пойдет по-старому, тогда уж мне мат; а лучше пусть приезжает; жду. Братцам вашим мое почтение, Ивану Петровичу — глубокое. Вас целую крепко. До свидания.

Ваш *Алексей Кольцов.*

Теперь спросите у меня, для чего я десять лет улаживал дела отца, торговал, хлопотал, строил дом, обманывал людей и иногда подличал? Сестре на свадьбу отец нашел десять тысяч рублей, а больному сыну нет двести — дать лекарю. Чудны дела на свете!

Пропустил: зачем я снял ту маску, что прежде? Наскучило носить ее, стало в тягость наряжать себя, обманывать людей и себя. У вас я был — я; в Воронеже и в делах — другой я, не — я. И старик начал всюду говорить, что он меня кормит, что я все у него завел дела, которые он насилу кончил, и что живу — воздух копчу, даром хлеб ем. И это меня огорчило. Отчего моя сестра переменилась? Вот отчего: без меня она и две другие, одна с дурью и живет богато, и ее голос был важен (стали говорить): «Станкевич помер, Сребрянский тоже. Пушкин за-

стрелился, Марлинского убили; да и нашему молодцу несдобровать. И кто этих людей слушает и держится, тот человек пустой. Главное — был бы хлеб, а для хлеба извинительно сделать всякую подлость. Люди побранят — да перестанут, а мы наживемся». Из этого письма увидите, если я сам не виноват. Сделался глуп, гадок, зол. Пожалуйста, скажите правду. Я за себя теперь не ручаюсь, может, мое болезненное состояние меня и перестроило иначе, и, может, я делаю не так, как должно.

73. В. Г. БЕЛИНСКОМУ и В. П. БОТКИНУ

[*Май 1842 г. Воронеж*]

Любезнейшие, добрые мои Виссарион Григорьевич, Василий Петрович! У меня нет сил писать к вам двух писем, а из последнего письма Василия Петровича я знаю, что вы оба живете вместе в Петербурге.

Благодарю вас, Виссарион Григорьевич, за последнее ваше письмо: оно меня много успокоило; со многим здесь дома помирило, и я стал на окружающие меня вещи смотреть еще равнодушнее. Живу, не думая о многом; стараюсь забыть, что со мной сделали и делают; становлю себя между своими человеком посторонним. Ваш зов в Питер совершенно воскрешает мою душу, но никак еще не справлюсь с телом: оно изменяет. Правда, и физических сил я чувствую небольшой в себе избыток; но все они есть, и больше — чем в теле; тело сколько раз падало, хотело разрушиться, уничтожиться, а я все живу... Кто же пересиливает болезнь тела, как не сила духа? Лекарь, лекарство — они много значат, но если бы упала физическая сила, тогда бы и средства были бесплодны.

Весь пост я был здоров как нельзя лучше. Сначала это меня радовало, потом я стал на себя смотреть подозрительно; и подозренье оправдалось: в половине Страстной болезнь моя опять меня схватила, да как! как никогда. Пять суток не было сна, аппетита, шибкий понос, ночью жар, бред без сна, кашель

всю ночь и ужас мокроты; да так — с неделю (пока мой лекарь[1] справился с этим кризисом). Меня боль [так] измучила, что жизнь висела на волоске. И вот три недели прошло — все еще не в очень хорошем состоянии. Однако мне лучше с каждым днем: теперь ем, сплю, хожу, выезжаю за город, только сил нет.

Вы говорите в письме, что я слепо отдался людям мерзким обмануть себя. Так, это правда. Но, Виссарион Григорьевич, эти люди не хороши, но ведь они — отец, сестры. Как же мне было остерегаться отца, где я жил, от него начал действовать и вместе с ним? У кого же должно было быть тогда все в руках: у сына ль, молодого человека, или у старика отца? Да, дела наши так были темны, что я целый год топ в них по самые уши, и еще не дома, всегда на стороне; дома был гостем, и был всегда отец ко мне хорош. Я думал, что он меня любит как порядочного сына, который старается дать ему и семейству лучшее значение, усилить отношение людей с хорошей стороны, увеличить честь в обществе. Ай нет: он ласкал меня, оказалось, не ради этого, а ради того, что я у него хорошая рабочая лошадь, которая хорошо и ловко делает дела, очищает его от судебных дел. Пришло почти это все к концу, он и показал, за что он меня любил; начни я делать по-прежнему, он опять меня полюбит. Я буду приобретать — и из этого не должен сметь истратить гроша; а он их будет проживать глупо,—и надо его хвалить! Что не проживает, а все сам один приобретает. О себе ни слова: вози и молчи. Ошибка моя состояла в необходимости. Теперь мы редко с ним видимся, в неделю раз, два, и то как-нибудь встретимся нечаянно. Во время самой сильной болезни был у меня в неделю на минуту раз: и то, я заметил, радостно глядел на меня, отходящего к смерти. Мать одна оказала мне искреннее участие.

Теперь к вам, Василий Петрович! Я писал вам письмо большое, подробное, все, что было со мной и есть[2]. В нем я вам писал все, что у меня за душою было и жило долго: про мои намерения, и про мои опасения, и про себя самого. Такое письмо я только и мог написать вам или Виссариону Григорьевичу,

никому больше на свете: ни брату, ни жене. Горькое было у меня время, горько,— вам во всем и сознался. Но вы, милый Василий Петрович, поскупились ответить мне на все, на что я просил ответа. Слова нет, тяжело вам о многом сказать прямо,— щекотливо: я вас поставил в самое затруднительное положение. Но я к вам-то об этом и писал, от вас-то и требовал, и от вас-то я и могу все выслушать и легко снести неприятное; что бы вы дурно про меня ни сказали, это все бы только значило, что вы сказали мне не в укор, а в похвалу, а чем бы прямей и решительней, тем бы было для меня приятнее и легче. Видите ли, у меня сделалась нечаянная перемена во всем, и я, так сказать, оторопел. Мне сделалось нужно броситься в другую сферу; но прежде нужно же сознать свои силы и свои недостатки. Упавши раз, и то никак не поднимусь, но упавши другой раз,— значит наповал. Вот почему мне нужно знать о самом себе именно от вас, и потому от вас, что я к вам обоим неограниченную имею любовь и доверие, а между своими чиниться в крайности нечего: что плохо, то и наружу прежде всего. От всего сердца благодарю вас за ваше письмо [3].

Переселиться в Питер—последнее средство; что будет то будет — другого выхода нет. За приглашение жить с вами на даче, за вопрос: есть ли у меня на проезд деньги,— за это за все так я вам благодарен, что не умею вам и высказать. Ваше письмо благодатью повеяло на меня, в нем столько любви, участия, внимания, теплоты, души, искренности; читая его, так и рвешься к вам душою, милые мои, да крыльев нет.

Положение моего состояния здоровья лучше опять. Лекарь говорит, что боль продолжительна, но не опасна и что он за жизнь ручается. Он же и лечит год, получив безделицу, и знает, если и вылечит, то тоже получит безделицу: много, если я могу передать ему триста рублей. Но он меня немножко любит, и потому всегда ко мне усерден. Во время этой самой схватки болезни я даже говорил ему: доктор, если моя болезнь неизлечима, если вы только протягиваете жизнь, то прошу вас не тянуть ее необходи-

мо; чем скорей, тем лучше, и вам меньше хлопот. Он сказал, что у него есть уверенность справиться с моей болезнью. Когда так,— будем лечиться.

Я сказал, что у меня, чтобы жить, выход один — в Питер; я это сам сознаю душою; но пока я болен, пока не вылечусь, пока силы и тело не укрепнут, пока я не буду годен снести длинный путь — до тех пор я из Воронежа ни ногою. Выгонит отец со двора больного,— есть родственник, готовый меня взять к себе и безо всякого счета доставить мне все нужное. Это — Башкирцев. Он человек чисто математический и лет пятидесяти; да он меня издавна любит, и он больше всех в городе, после матери, обо мне заботится. Как скоро выздоровею, тогда тот же час письмо к вам и Виссариону Григорьевичу. Вчера проехал за город, за десять верст, сбирал с час траву. Поездка была восемь часов; приехал — уморился на смерть, насилу отдохнул.

Если вы взяли у Ширяева последние три тома Пушкина, пришлите, пожалуйста, ко мне. Здесь их мало, трудно достать прочесть, а деньги, которые я у вас взял — триста сорок пять рублей ассигнациями — пождите, пожалуйста. Бог даст поправлюсь,— буду говорить о них с отцом. Теперь не говорю, потому — иногда надобно рассердиться, поговорить с ним круто, а мне это до смерти вредно. И я с приезда подал счет; раза два напоминал. «Будут деньги,— вышлем»,— был ответ. А больной, ни слова уж ни о чем интересном: боюсь ссоры.

В прошедший раз писали вы, где я дел 18 экземпляров «Кота Мурра». Взявши в конторе Песоцкого в тюке непереплетенные, принес положить в лавку к Василию Петровичу Полякову. Он был в лавке, спрашивает: «Что это?» — «Кот Мурр».— «Куда?» — «К переводчику Кетчеру послать в Москву, взял у Песоцкого по поручению Кетчера».— «Как же вы пошлете?» — «Через почту».— «Вам дорого это будет стоить; а не угодно ли я вам пошлю их при дилижансе, и это стоит безделица, у нас уж заведена с ним годовая корреспонденция». Я пишу адрес: «В Москве, В. П. Боткину, купцу такому-то», и оставил у него. Через неделю зашел. «Послали?» — «Давно-с». Приехал в Москву, спросил у вас,— вы не по-

лучили. Я писал к Полякову из Москвы и из Воронежа писем семь. Ответа нет. Так, пожалуйста, зайдите к нему, побраните его за подлость и возьмите их или на эту сумму других. Жаль: ни за что бедного Кетчера завладел подлец восемнадцати экземплярами.

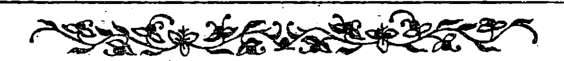
Кланяйтесь от меня Андрею Александровичу, И. И. Панаеву, Языкову, Авдотье Яковлевне. До свиданья. Обнимаю и целую вас, милый мой Виссарион Григорьевич и Василий Петрович!

Ваш *Алексей Кольцов.*

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИН 83

НАРОДНЫЕ РУССКИЕ ПЕСНИ,
ЗАПИСАННЫЕ А.В.КОЛЬЦОВЫМ



№ 1

Как у князя было, князя,
У князя Волконского,
Собиралася беседа,
Беседа веселая;
Они пили и гуляли,
Прохлаждалися,
Молодыми женами
Князья выхвалялися.
Выхвалялся князь Волконский
Молодой княгинею.
— Не хвались, Волконский князь,
Ты своей княгиней.
Как твоя ли та княгиня
Живет с Ваней клюшничком.
Живет-поживает
Ровно три годочка.
На четвертый на годочик
Князечик доведался,
Как взошел Волконский князь
На свой на высок балкон
Закричал Волконский князь
Своим громким голосом:
— Уж вы, слуги мои, слуги,
Слуги мои верныя!
Вы послы мои, послочки,
Послы мои скорыя!
Вы пойдите приведите
Ко мне Ваню клюшника.

Уж как стану я Ваню,
Ванюшку допрашивать:
Ты скажи-скажи, Ванюша,
Скажи, варвар мой,
Со которой поры-времени
Ты живешь с княгинею?
— Уж я знать тово не знаю,
Ведать, князь, не ведаю,
Со которой поры-времени
Живу я с княгинею.
Закричал Волконский князь
Своим громким голосом:
— Уж вы, слуги мои, слуги,
Слуги мои верныя!
Вы послы мои, послочки,
Послы мои скорыя!
Вы берите лопатки,
Лопатки железныя,
(Вы берите веревки,
Веревки куровыя),
Ройте вы, копайте
Ямочки глубокия,
Становите столбики,
Столбики точеныя,
Да кладите переклады,
Перекладины дубовыя,
Берите-вяжите
Петелку куровую.
Вешайте-цепляйте
Ванюшку за шеюшку.
Как возговорит Ванюша
Своим тихим голосом:
— Прикажи ж ты мне,
Волконский князь,
При смертной кончине
Заиграть в последний раз
Любимую песню:
«Во саду ли, во садочке,
В садику зеленом
С молодой княгиней
Было там погуляно,
И во сахарны уста
Было поцеловано».

Как со вечера Ванюшу,
Ванюшку повесили,
Сы полуночи Ванюша,
Ванюшка качается.
Молодая же княгиня
В постели кончается.

№ 2

Ой Иван, ой Иван,
Иван — девичий обман!
    Ой що ж, ну да що ж,
    Говори, милай, що хошь.
Ох, што ж ты, Иван,
Вчера в гости не бывал?
    Ой що ж и прочее.

Под каждым куплетом писать все припевы.

Сударушка ты моя,
Мне времечко заняла,
Мне времечко заняла:
Жена сына родила.
Я сам банюшку топил,
Сам за бабушкой ходил,
Сам за бабушкой ходил,
Попа в дом приводил.
Поп молитву прочитал,
Сыну имя нарекал,
Сыну имя нарекал,
Пантелюхой называл.
Мой Пантюха невелик —
Во всю лавочку лежит.
Во всю лавочку лежит,
Под ним лавочка дрожит.
Он на дыбки встал,
Потолок достал,
Потолочина упала.
Попу в голову попала.
    Ой що ж, ну да що ж,
    Говори, милай, що хошь.

№ 3

Попляшите, девушки,
Да попляшите, молодушки.
Ой, лёль, лёли, лёли, лели;
Лёль, лели, лели, лёль, лели, ле.
Молодушки, попляшите,
Меня, младу, повеселите.
И прочие у каждого куплета припев писать весь.

У меня ли муж ревнивой,
Муж ревнивой, кропотливой.

Долго с вечера гуляет,
Поздно дома не бывает.

Поздно вечером приходит,
В страх меня, младу, приводит.

Заставляет разувати,
Постелюшку стлати.

На кроватушку ложится,
На край носом воротится.

Пойду, млада, за водою,
Сунусь в пролубь головою.

Оставайся, чёрт с тобою,
Не ломайся надо мною.
Ой, лёль, лели, лёли, лели;
Лёль, лели, лели, лёль, лели, ле.

№ 4

Приехали купчики с-под Москвы,
Приехали купчики с-под Москвы.
Ох, люли, с-под Москвы,
Люли-люли, с-под Москвы.
Привели коника под ковром,
Привели коника под ковром.

Ох, люли, под ковром,
Люли-люли, под ковром.
Да повели его до воды,
Да повели его до воды.
Ох люли, до воды,
Люли-люли, до воды.
Конь стоит, воды не пьет,
Конь стоит, воды не пьет.
Ох люли, он не пьет,
Люли-люли, он не пьет.
Он копытом камень бьет,
Он копытом камень бьет.
Ох люли, камень бьет,
Люли-люли, камень бьет.
С тово камня огня нет,
С тово камня огня нет.
Ох люли, огня нет,
Люли-люли, огня нет.
В моем милом правды нет,
В моем милом правды нет.
Ох люли, правды нет,
Люли-люли, правды нет.

№ 5

Как на сосне, на елине,
На самой вершине,
Как на самой вершине
Стоял нов домик.
Во том ли во домике
Высокой балконик.
Как на том ли на балконе
Капитан гуляет,
Капитан гуляет,
В гитару играет,
Он в гитару-то играет,
Себя забавляет.
Степанида приходи<ла>,
Речи говорила:
— Ты послушай, капитан,
Рассуди, пожалуй,

Твоей роты подпоручик
Мою дочь обидел.

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

№ 6

Матушка, матушка, головка болит,
Сергун-моргун, моргунчики,
Головка болит.
Дитятко милое, свяжи хоть платком,
Сергун-моргун, моргунчики,
Свяжи хоть платком.
Матушка, матушка, платок короток,
Сергун-моргун, моргунчики,
Платок короток.
Дитятко милое, возьми хоть другой,
Сергун-моргун, моргунчики,
Возьми хоть другой.
Матушка, матушка, головка болит,
Сергун-моргун, моргунчики,
Головка болит.
Дитятко милое, на печку полезь.
Сергун-моргун, моргунчики,
На печку полезь.
Матушка, матушка, сноха на печи,
Сергун-моргун, моргунчики,
Сноха на печи.
Дитятко милое, сноха там одна.
Сергун-моргун, моргунчики,
Сноха там одна.
Матушка, матушка, ведь я родила,
Сергун-моргун, моргунчики,
Ведь я родила.

. . . .
Сергун-моргун, моргунчики,
. . . .

Матушка, матушка, сходи за попом,

---

* Точки поставлены Кольцовым.— *Ред.*

Сергун-моргун, моргунчики,
Сходи за попом.
. . . ведь поп не пойдет.
Сергун-моргун, моргунчики,
Ведь поп не пойдет.
Матушка, матушка, сули пять холстов,
Сергун-моргун, моргунчики,
Сули пять холстов.
. . . да он не возмет.
Сергун-моргун, моргунчики,
Да он не возмет.

№ 7

Ты взойди, ты взойди, красно солнушко,
Взойди над горою,
Взойди над высокой.
Обогрей нас, добрых молодцов,
Добрых молодцов,
Удалых бурлак,
Удалых бурлак, бездомовников.
Мы не воры ведь,
Не разбойнички,
Атаманы все мы, охотнички,
Уж мы души, души
Мы не губливали.
Через три поля, на синем море
Плывут два кораблика,
Два кораблика,
Третья лоточка.
Хорошо лоточка изукрашена,
Кругом гребцами
Лотка остановлена,
Белым парусом наряжена,
Царскою казною
Сресь насыпана.
На корме сидит есаул с веслом,
На носу сидит
Атаман с ружьем,
На казне сидит красна девушка,
Атаманова
Полюбовница.

Слезно девушка, слезно плакала,
На духу попу
Она каилась:
— Я зарезала своево брата роднова,
На ножу его
Сердце вынула.
На ножу сердце встрепенулося,
Альни девица
Усмехнулася.

№ 8

Милые дружки-целовальнички,
Они пьют-едят чужое,
Носят краденое.
Они день сидят толкают,
Вечер денежки щитают,
Вечер денежки щитают,
Ночь по девушкам гуляют.
Ой, нет таких воров,
Что портных мастеров.
Они платьеце кроят
И лоскутики таят.
По подворью девушка идет
И водицу несет.
Коромыслицы кипаресовые,
Ведерцы дубовые,
Коромыслица гнется,
Свежа-свежа, свежа вода льется,
Девушка смеется.
Молодой детинка
В окошичко смотрит,
Тяжело вздыхает,
Сам плачет-рыдает.
Ты б, моя милая,
Пореже ходила,
Иных не любила.
Сушит-крушит молодца
Чужа дальня сторона.
За рекою слободка стоит,
В слободушке домик,
Во домике вдовушка,

У вдовушки девушка,
Зовут ее Аннушка,
Белая лебедушка.
Она меня иссушила,
Она сокрушила,
Вынула румянец
Из белова из лица
Удалова молодца.
Уж не милы мне без ней
Ни болоты, ни луга.
Веселила лишь одна
Сударушка моя
На питейные дома.

№ 9

Ты воспой, ты воспой, душа соловьюшек,
Весной при долине,
И-и — при долине.
Взвеселишь меня, раздоброва молодца,
При горе-кручине,
И-и — при кручине.
Да я сам тебе, душа соловьюшек,
Я сам пригожуся,
И-и — пригожуся.
Я срублю тебе, душа соловьюшек,
Клетку кленовую,
И-и — кленовую.
Я поделаю тебе, душа соловьюшек,
Снасти золотыя,
И-и — золотыя.
Я сплету тебе, душа соловьюшек,
Сетку шелковую,
И-и — шелковую.
Я насыплю тебе, душа соловьюшек,
Яровой пшеницы,
И-и — пшеницы.
Рассычу я тебе, душа соловьюшек,
Сахарной сытицы,
И-и — сытицы.
— Не мила твоя, раздобрыя-т молодец,

Клетка кленовая,
И-и — кленовая.
Не милы твои, раздобрыя-т молодец,
Снасти золотыя,
И-и — золотыя.
Не светлы твои, раздобрыя-т молодец,
Сетки шелковыя,
И-и — шелковыя.
Не скусна твоя, раздобрыя-т молодец,
Ярова пшеница,
И-и — пшеница.
Не сладка твоя, раздобрыя-т молодец,
Сахарна сытица,
И-и — сытица.
Уж ты выпусти меня, раздобрыя-т молодец,
Соловья, на волю,
И-и — на волю.
Я тогда тебе, раздобрыя молодец,
Тогда заиграю,
И-и — заиграю.
Я тогда твою, раздобрыя-т молодец,
Тоску разгуляю,
И-и — разгуляю.

№ 10

Никому так не досталось,
Как мне, горькой сироте,
Съела рыбушку живую —
Трепещится в животе.
Мне морковки захотелось,
Я на рыночик пошла;
Хороши у нас ребяты,
Только улица грязна,
Хороши у нас ребяты,
Только славушка худа.
Называют их ворами
И разбойниками.
— Мы не воры ведь,
Ни разбойнички.
Удальцы-молодцы,
Рыболовнички.

Уж мы рыбушку ловили
По сухим бережкам,
Закидали невода
Под богатыя дома,
По анбарам, по клетям,
По конюшинкам.
Мы поймали осетра
У дядюшки у Петра,
Сивую кобылу
Да гнедова жеребца.
Вот как матушка старинка
Нас научивала:
— Если по лесу пойдете,
Вы не бойтеся,
Вы не каркайте,
Не шумархайте.
Ко двору ли подойдете,
Вы не бойтеся,
А заборы разбирайте,
Мало стукайте;
А в конюшенку взойдите,
Хозяина вспомяните:
— Уж ты здравствуй, хозяин,
Со хозяюшкою!
У них черная собачка
Побрехивает,
Сам хозяин со женою
Покряхтывает.

№ 11

По лужочку гуляла,
По лужочку девушка гуляла;
Злы коренья девушка
Рвала-вырывала.
Накопавши злы коренья,
На Дунай-реку пошла,
На Дунае на реке
Чисто-начисто их мыла;
Перемывши злы коренья,
Мелко-намелко крошила;
Искрошивши злы коренья,

Мелко-намелко толкла;
Истолокши злы коренья,
В меду-патоке варила;
Разваривши злы коренья,
В темном погребе томила;
Потомивши злы коренья,
К себе друга позвала,
Друга в гости зазвала,
Во спаленку повела,
На кроватку посадила,
Стакан меду поднесла,
Стала милости просить:
— Уж ты выпей, друг мой, выпей,
Выпей, доброй молодец,
Ты почу<в>ствуешь, дружочик,
Какова моя любовь.
— Ах ты, девушка злодейка,
Твою вижу я любовь,
В мое сердце ретивое
Словно камушек упал.
Ты сулилася, злодейка,
С света белова известь,
Так сумей же ты, каналья,
Куда тело схоронить.
Схорони мое ты тело
Между трех больших дорог:
Между Тульской, между Курской
И Тамбовскою большой.
Положи ты с моим телом
Сбрую ратную мою,
Положи ты, не забудь,
Золот перстень с вензелём;
Закопай мою могилу
Мелким жолтеньким песком.

№ 12

Уж мне нынешний день скука,
Еще скука — что разлука,
Разлучает нас неволька,
Чужа дальния сторонка,
Питербурская дорожка,
Московская широкая.

Сколько раз по ней езжала,
Много горя принимала.
В слезах письма я писала.
Пишу письма, не доходят,
Слуги верны не доносят,
К буйным ветрам относят.
Уж вы, ветры-ветерочки,
Осенние вихорочки!
Не бушуйте вы, буйныя,
Не мутите синя моря,
Не пужайте белу рыбу.
Сине море всколыхалось,
Бела рыба испугалась,
Знать, поехал миленький жениться
На душе красной девице,
На названой на сестрице.
Она тем ли ему лутче,
Что живет поближе.
Взойду на гору крутую,
Сломлю травушку-крапиву,
Брошу в быстры реку.
Тонит ли крапивка-травка?
Тужит ли по мне друг милой?
Ох, не тонит травушка-крапива,
Знать, не тужит по мне милой.
Нет, нас с милым не разлучит
Матушка родная.
Разве в те поры разлучит,
Когда в гроб меня положут,
Гробовой доской накроют,
И в могилушку поставют,
И желтым песком засыпют,
Резвыми ножками притопчут,
Зарастай, моя могила,
Ты травою-муравою,
Полынь горькою крапивой.

№ 13

Ты корчма моя, корчма,
Корчма польская,
Королевская!

Как во той ли во корчме
Шинкарочка сидит,
Шинкует шинкарка
Пивом и вином
И сладким медком.
Как и шли прошли
Чумак да бурлак,
Да третий казак.
Как бурлак-ат пьет,
Серебро кладет;
А чумак-ат пьет,
Червонцы кладет;
А казак-ат пьет,
Нечево не кладет,
Не кладет, не дает,
Шинкарочку манит:
— Шинкарочка, шинкарочка,
Пойдем со мной на Дон,
На тихой Дунай.
Как у нас ли на Дону
Да не ткут, не прядут
И не ткут, не прядут,
Хорошо живут,
Горилочку пьют.

№ 14

Зеленая роща
Всю ночь прошумела,
А я, молоденка,
Всю ночку не спала,
Всю ночку не спала,
Сидела все пряла.
Пряди ж, моя пряха,
Пряди, раскурваха,
Да пряди ж, моя пряха,
Пряди не ленися.
Я бы рада пряла,
Да льну не достала,
Купить опоздала.
Да меня, младу-младешенку,

Меня в гости звали
Ко соседу в беседу.
Сосед свою дочку,
Сосед свою дочку
Замуж выдавает.
Приехали к соседу,
Приехали двое,
Да приехали двое
На вороных конях
В белых балахонах,
В белых балахонах,
Шапочки с углами,
Молодцы с усами,
Молодцы с усами,
Они стоят перед нами,
Словно пред князьями,
Один парень холост,
Холост-нежонатой,
Белой кудреватой.
То-то мой милой,
То-то мой любезной.

№ 15

Ни по горам я ходила,
Ни во трубы я трубила,
Всё бы с милым говори<ла>.
Друг мой милый чернобровой,
Не садись против меня,
Люди скажут: любишь меня,
Если любишь, мил скажися,
А не любишь — откажися.
Закладайте лёхки санки,
Я поеду к другу в гости.
Сашинка навстречу выходила,
Милая навстречу выходила,
Ваня с саночек слезает,
Со здоровьем поздравляет:
— Здравствуй, мила<я>, как живеши?
— Я живу ли поживаю,
Все с купцами пребываю,
Все с купцами молодцами.

№ 16

Во сыром-та бору брала Маша ягодки,
Она, бравши ягодки, заблудилася,
Заблудившись, приаукнулась:
— Ты ау, ты ау, мил сердечной друг...
— Не аукайся, моя Машинка,
За мной ходят здесь три сторожа:
Первой сторож — тесть мой батюшка,
Другой сторож — теща матушка,
Третий сторож — молода жена.
Ты взойди-ка взойди, туча грозная,
Ты убей-ка громом тестя-батюшку,
Молоньей ты сожги тещу-матушку,
Лишь не бей ты, не жги молодой жены.
С молодой женой сам я справлюся,
Я слезами ее — слезьми вымочу,
Я кручинушкой жену высушу,
Во сыру землю положу ее,
А тебя, Машинка, за себя возму.

№ 17

. . . .
А подруженки ожидать,
Будет миленкой пенять.
Пойду с горя за водою,
Возму перстень я с собою,
Пущу перстень по воде,
Он не мокнет, не плывет,
Прочь от девушки нейдет.

№ 18

Поп ты чудила, поп буян
Безобразно всегда пьян,
Разбессовес<т>ны глаза,
Куда дел ты образа?
Образов ты не нашел,
Так домой поп пришел,
Попадью послал искать.

Попадья не нашла,
Так домой опять пришла,
К попу грубо приступила,
Попа за косы рвала.
Поп с досады побежал
Ко Танюшки во терем.
Как увидели попа
Три сержанта из окна,
Они хлопнули окно,
Побежали за попом.
Три сержанта приходили,
С Таней грубо говорили.
Учливо Таня отвечала:
— Вы, сержанты молодцы,
Вы зачем ко мне пришли?
— Нам не надобно тебя,
А нам выдай лишь попа,
За молебен денег дать,
За молебен заплачу,
С попа рясу сколочу.
Поп увидел, что беда,
Он кидается с окна
Из третьего этажа.
Поп по улице бежал,
Никто попа не держал.
Поп увидел, что не время,
Ухватил портки в беремя,
Ко заставе подбежал,
Солдат ружьем удержал,
Три оплеухи попу дал.

№ 19

Танюшка, Татьяна,
Соседка моя!
Почему же, Татьянушка,
По мыслям пришла,
По моему разуму
Молодецкому?
По горенке Таня ходит,
Головку чешет,

Чешет Таня головушку
И косу плетет,
Букетову алу ленту
В косу вплетает,
А другую, голубую,
На шею кладет,
Третью, разноцветну,
Подпоясывает.
Иванушка Танюшку
Стал спрашивати:
— Скажи, скажи, Танюша,
Кто ленты купил?
— Букетову алу ленту
Мой батюшка купил,
А другую, голубую,
Милой подарил,
Третью, разноцветну,
Сама нажила.
Иванушка Танюшку
Зовет в темный лес:
— Пойдем, пойдем, Танюша,
В темной лес гулять.
Вырыем черемушку
Что молодинкую,
Посадим черемушку
У себя во саду,
У себя в саду-садочке
Под красным окном,
Будем мы черемушку
Чаще поливать.
Нельзя черемушку
Зелену ломать,
Не выбравши красну девку,
Нельзя замуж брать.
Я выберу-повысмотрю,
Возьму за себя.
Поил-кормил сударышку,
Все прочил себе,
Досталась любезная
Иному, не мне,
Иному, немилому,
Злодею моему.

№ 20

От еды младу отбило
Бражка в горлушко нейдет,
    Ай люли, ай люли,
    Бражка в горлушко нейдет,
Все мерещится детинка
Наяву мне и во сне,
Где не встретится со мною,
Взбудоражится все во мне.
Как мил пройдит да не взглянит,
То морозом подерет.
Вдоль спины он перпояшит
Хворостиной аль кнутом,
А мне за чисть* и не больно,
Хоть малиной не корми.
Одно слово милой скажит:
— Окаянна лихорадка,
Привязалася, отстань!
Захотелось мне марковки,
Я на рыночик пошла.
Все Петровки исходила,
Я марковки не нашла
Ни в Тихинки, ни в Полянки,
Ни в Охотном ряду нет.
Я дождуся той поры,
Как наедут торгаши,
Молодчики хороши,
Накуплю шелку белова,
Я краснова кумачу,
Шириночек настрочу.
Я дождуся тово парня,
Как овин пойдет сушить.
Он подарочик примёт,
Он погуторит со мной.
Если хочешь разгуляти,
Были б денежки с тобой.
Когда пьян будешь валяться,
Возьми Губкина с собой.
Играл Губкин на гитаре,
А Тритон белой плясал,

* Честь.— *Ред.*

А Петрушка косолапой
Наливал пива стакан,
Павел с рыжей бородою,
Взявши скрыпку, заиграл,
Развернулся, топнул он ногою,
Себя за бороду рвал.
Что такое за собранье
Появилось ныне здесь,
Все народное гулянье,
Без цыганок негде сесть,
Торбанисты с торбанами,
Будто черти с кистенями,
Подойти к ним не велят.
А цыганки, рожи сморщив,
На них издали глядят.

№ 21

Пойду выйду на крыльцо,
Не увижу ль милую в лицо.
Перед молодцом девчонка
Призадумавшись стоит.
Не ты ль меня, сударушка,
Повысушила,
Без лютова мороза
Сердце вызнобила.
Пустила сухоту
По белому животу,
Рассыпала печаль
По моим по очам,
Заставила знать
И чужую сто́рону.
Приневолила любить
Чужу-мужнию жену.

№ 22

Чтой-то за сердце
Все во мне изныло.
Ляли, лёли, лели,
Все во мне изныло.

Сердечново друга
Верно полюбила.
Чтой-то за милой,
Что за любезной:
Не дает покою
Ночною порою,
Принуждает милой
Всегда быть с собою.
Не смутить бы очи,
Сидеть до полночи.
Видишь, я страдаю,
А ты лицемеришь,
Милой, лицемеришь,
Сушишь, не жалеешь.
Али позабыл,
Как прежде-та любил,
А ныниче, радость,
Любовь перменил,
Любовь перменил,
Других полюбил.
А иная-то милая,
Чем меня полутче?
Лицом не белее,
Бровью не чернее.
Разве тем полутче,
Что живет поближе,
Что живет поближе,
Ходит поснарядней,
Ходит поснарядней
Да глядит почище,
Да глядит почище,
Да целует послаще.

№ 23

Мучаюсь, мальчик, я страдаю,
Что далеко милая живет,
Живет, радость, за горами
Между двух гор высоких.
Между двух гор высоких
Там слободушка стоит,

В этой новой во слободке
Там сударушка живет.
Как бы знал я про нещастье,
Сам бы в гости к ней сходил,
Всеё правду *ой* расспросил:
— Скажи, радость ты *ой* моя,
Верно любишь ли меня?
Если, радость, верно любишь,
Возьму замуж за себя, *ой*,
Если, радость, ты не любишь,
Убью, мальчик, сам *а* себя *ой*.
Подпишу я свое *аа* имя,
Что я, мальчик, верен был,
Одноё тебя любил.
Со восточной со сторонки
Воздух повеваит,
Знать, моя любезная
Под окошечком *ай* сидит,
Таки речи говорит:
— Как и что это за годы
За тяжелыя пришли,
Что это за люди
Неразгадливыя.
Будто эти сами люди
Молоды не бывливали *ии*
Никакой они любов<и>
Аль не важивали?

№ 24

Не могу я разгуляться,
Тоски-горя разогнать.
Слышит мое сердце,
Долго мне уж не видаться
Со любезным со своим.
Пойду с горя на быструю речку,
Сяду я, сяду на крутой бережок,
Я сидела, девушка, глядела,
Увидала тень свою в воде,
Тень сухая, тень моя холодна,
Со мной нету никаво, *оо*.

Из лесочка было полегонку
Выезжает мой милой,
Он на вороном на коне,
На черкасском на седле:
— Здравствуй, милая моя забава,
Я прощаюся с тобой,
Я теперя отъезжаю
В славен город Питербург.
Я недолго там пробуду,
Назад скоро ворочусь,
Подарочков тебе привезу.
А первой ли подарок —
На голову алинкой платок,
А другой тебе подарок —
На шеюшку жемчушку,
Третий ли подарок —
На руку золот перстенек.
Как на этом перстенечки
Вся написана наша любовь.

№ 25

Ни под свет заря занималася,
Ай люли, люли, занималася.
Ни красно солнце выкаталося,
Мой распостылой муж во постелю слёх,
Во постелю слёх, постель мяхкую,
На перинушку на пуховую.
На кроватушку на тесовую.
Захотел пострел ключевой воды,
Ключевой воды со Дунай-реки,
Приказал постыл в три часа сходить,
В три часа сходить в три минуточки.
В первой час я туда дошла,
А в другой час воду черпала,
А во третий час ко двору пришла.
Мой высок терем растворен стоит,
Все окошечки прираскрытыя,
Разнегодный муж во гробу лежит,
Отец с матерью в головах стоят,
Молода жена во ногах стоит,
Во ногах стоит, думу думает,

Думу думает, думу крепкую:
— Как не плакати — вся исплачуся,
А не плакати — от людей стыдно.
Как одна слеза покатилася,
Да и та назад воротилася.
Мой негодный муж из мертвых востал,
Из мертвых востал, целовать начал.

В хороводе молодой парень ложится наземь. В головах стоят вместо отца и матери парень с девушкой, а в ногах вместо жены — девушка. Хоровод поет песню. Девушка, заменяющая жену, в конце песни плачет. Мертвый встает, целуется с ней. Весь хоровод грохочет наповал.

№ 26

Я сажу-сажу капустку,
Сажу белинкую — ай ли-ли-люли,
Сажу белинкую,
У кого нет капусты,
Иди к нам в огород,
Иди к нам в огород
Да капустку полоть.
Ваня взял тычину,
Пришел к нам в огород,
Пришел к нам в огород
Да капустку полоть.
Он капусты не ломал,
Красных девок выбирал,
Выбирал он, выбирал,
За белыя руки брал,
За белыя руки брал,
За себя становил,
За себя становил,
С собой спать положил.
В небе белая заря,
Пора, милой, со двора,
На улице белой свет,
Погляжу за милым вслед:
Куда ж миленкой пошел,
Куда скоро побежал?
Он зашел, пострел, зашел
Ко Дуняше вдовиной.

№ 27

Как под лесом под темныим
Шелкова трава,
  Ай люли, ай люшинки,
  Шелкова трава.
По травушки по муравушки
Девок хоровод.
Ходил-гулял донской казак,
В гудочик играл,
Играл-играл, выигрывал,
Невест выбирал.
Выходила девчоночка
Тонка, высока,
Танёшинка, равнешинка,
Собой высока.
— Хорошая-пригожая,
Поди за меня!
А не пойдешь, вспокаешься,
Вспомянешь меня.
— Пойти сперва к соседушкам
Спросить про тебя:
Соседушки-шабровушки,
Каков человек?
Соседушки-шабровушки
Не хвалят тебя.
Ой, под лесом под темныим
Шелкова трава,
По травушки по муравушки
Девок хоровод.
Ходил-гулял донской казак,
В гудочик играл,
Играл-играл, выигрывал,
Невест выбирал.
Выходила девчоночка
Тонка, высока,
Танёшинка, равнешинка,
Собой хороша.
— Хорошая-пригожая,
Поди за меня!
А не пойдешь, вспокаешься,
Вспомнишь меня.
— Пойду сперва к соседушкам

Спрошу про тебя:
Соседушки-шабровушки,
Каков человек?
Соседушки-шабровушки
Не хвалят тебя:
— Он пьяница-пропоица,
Пропьет и тебя.
Ой, под лесом под темныим
Шелкова трава,
По травушки, муравушки
Девок хоровод.
Ходил-гулял донской казак,
В гудочик играл,
Играл-играл, выигрывал,
Невест выбирал.
Выходила девчоночка
Тонка, высока,
Танёшинка, равнёшинка,
Собой хороша.
— Хорошая-пригожая,
Пойди за меня!
А не пойдешь, вспокаешься,
Вспомянишь меня.
— Пойтить сперва к соседушкам
Спросить про тебя:
Соседушки-шабровушки,
Каков человек?
Соседушки-шабровушки
Все хвалят тебя,
Соседушки-шабровушки:
Доброй сосед.

№ 28

В селе, селе Измайлове,
Калина, малина,
В приселочке Черкесове,
У дуба ли у сырова
Сидит девушка красавица.
Не так сидит —
Тачот пояс,
Тачот пояс

Разных шелков
Семи цветов,
Семи цветов
Рассыпчатых.
Она тачот,
Слезно плачит:
— Кому ж я достануся?
Достанусь ли я старому,
Как старой муж —
Неровня мне,
Не под ровню, не по росту.
Он спать идет —
Кахи, кахи!
Вставаючи, перхаючи.
Меня, младу, горе берет,
Кручинушка великая.
В селе, селе Измайлове,
В приселочке Черкесове,
У дуба ли у сырова
Сидит девка красавица.
Не так сидит —
Тачот пояс,
Тачот пояс
Разных шелков,
Разных шелков,
Семи цветов,
Семи цветов
Рассыпчатых.
Сама тачот,
Слезно плачит:
— Кому же я достануся?
Достанусь ли я малому,
Как малой муж —
Неровня мне,
Не под ровню не по росту.
Он спать идет,
Сам слезы льет,
Вставаючи, рыдаючи.
Меня, младу, горе берет,
Кручинушка великая.
В селе, селе Измайлове,
В приселочки Черкизове,
У дуба ли у сырова

Сидит девка, что ягода.
Не так сидит —
Тачот пояс,
Тачот пояс
Разных шелков,
Разных шелков
Семи цветов,
Семи цветов
Рассыпчатых.
Она тачот,
Песни поет:
— Кому же я достануся?
Достанусь я ровнюшки.
Он спать идет,
Песни поет,
Вставаючи, играючи.

№ 29

Винной мой колодесь,
Винной мой; глубокой,
А что в тебе воды нет?
— Конь воду выпивал,
Копытами выбивал.
Нашева Ивана
Дома не случилось,
Поехал наш Иван
В Казань-город погулять.
Приехал наш Иван
Из Казани-города́,
Привез наш Иван
Казанскую умницу.
— Казанская умница,
Стели ты постелюшку.
Винной мой колодесь,
Винной мой глубокой,
А что в тебе воды нет?
— Конь воду выпивал.
Копытами выбивал.
Нашева Ивана
Дома не случилось,
Поехал наш Иван

В Каширу погулять.
Приехал наш Иван
Из Каширы-города́,
Привез наш Иван
Каширскую умницу.
— Каширская умница,
Клади изголовьеце.
Винной наш колодесь,
Винной наш глубокой,
А что в тебе воды нет?
— Конь воду выпивал.
Копытами выливал,
Нашева Ивана
Дома не случилось,
Поехал наш Иван
В Москву-город погулять.
Привез наш Иван
Московскую умницу.
— Московская умница,
Ложись со мной спать.

№ 30

Течет речка
Вниз по камушкам,
  Ай люли-люли
  Вниз по камушкам.
По новым сеням,
По чистым ступеням
Кто охоч гулять,
Передайся к нам,
У нас молодцы
Есть хорошие:
Пёрвой молодец —
Алексей сударь,
Другой молодец —
Ларион сударь,
Третий молодец —
Что Иван сударь.
Течет речка
Вниз по камушкам.
По новым сеням,

По чистым ступеням
Кто охоч гулять,
Передайся к нам,
У нас девушки
Есть хорошие:
Перва девушка
У нас Аннушка,
Друга девушка
Есть Агафьюшка,
Третья девушка —
Что Авдотьюшка.
Кто охоч гулять,
Передайся к нам.

№ 31

Что за диво за такое,
Офицер молодой,
Офицер молодой,
Под ним конь вороной,
Офицер молодой,
Под ним конь вороной.
Черна шляпа со пером,
Под ним конь вороной,
Черна шляпа со пером,
Аполеты с серебром,
Черна шляпа со пером,
Аполеты с серебром.
На нем шляпа-та смеется,
Аполеты говорят,
На нем шляпа-та смеется,
Аполеты говорят,
Золотая портупея
Улыбается на нем,
Золотая портупея
Улыбается на нем.
Черну шляпу скидаёт
Саши честь отдает:
— Здраствуй, Сашинка моя,
Дома ль матушка твоя?
Здраствуй, Сашинка моя,
Дома ль матушка твоя?

— Ни батюшки, ни матушки
Ни бывало никово,
Ни батюшки, ни матушки
Ни бывало никово,
Полезай ко мне в окно!
Ни бывало никово,
Полезай, сударь, в окно!
Офицер молодой
В окно руку протянул,
Казак плеткою стегнул,
Он лишь руку протянул,
Казак плеткою стегнул:
— Не боярска, сударь, честь
В окно к девушке лезть,
Не боярска, сударь, честь
В окно к девушке лезть.

№ 32

Как и я, молода,
И бела и румяна.
    Ай що ж, ну да що ж,
    Ну що ж, ягодка моя!
И бела и румяна,
Черноброва хороша,
Черноброва хороша
Чернобыль-траву рвала,
Гусей-лебедей гнала,
Гусей-лебедей гнала
Приговаривала:
— Привыкайте, мои гуси,
Ко студеной ко воде,
Ко студеной ко воде,
Ко Воронежу-реке,
Как и я молода —
Ко чужой семье,
Ко чужой ко семье,
Ко свёкрову ко двору,
Ко свёкрову ко двору,
Ходит свёкор во двору
Ходит свёкор по двору,
Расчесавши голову,

Расчесавши голову,
Разбумашавши бороду́,
А свекровья на пече,
Как борзая на чепе,
Что борзая на чепе,
Держит гребень на плече.
А деверья, что кобелья,
По залавочью лежать,
По залавочью лежать,
По-собачьи говорять.
А золовки-колотовки
Под окошечком сидят,
Под окошечком сидят
Перешептывают,
Перешептывают,
Перговаривают.
— Вы, золовки-колотовки,
Не кутите, не мутите,
Не ку<ти>те, не мутите,
Сами в людях будете,
Сами в людях будете
И мне разумеете,
И мне разумеете,
Про меня вспомя<не>те.
Ой що ж, ну да що ж,
Ну що ж, ягодка моя!

№ 33

Весенняя песня

Ты стой, моя роща,
Ты стой, моя роща,
Стой, не расцветай,
Стой, не расцветай!
Стой, мил хороводец,
Стой, мил хороводец,
Стой, не расходись,
Стой, не расходись!
Я в том хороводи,
Я в том хороводи,
Молодчик, плясал,

Молодчик, плясал.
Плясал я, молодчик,
Плясал я, молодчик,
Водил я таночик,
Водил я таночик;
Водил я таночик,
Водил я таночик,
Сронил я веночик,
Сронил я веночик,
Сронил я веночик;
Против батюшки,
Против батюшки.
Ты, батюшка, поди,
Родимый, поди
Венок подыми,
Венок подыми!
Батюшка нейдет,
Родимый нейдет,
Венка не несет,
Венка не несет.
То горе мое,
То горе мое,
Гореваньице,
Гореваньице.
Головка моя,
Головка моя,
Победненькая,
Победненькая,
Сердечко мое,
Сердечко мое
Занывчатое,
Занывчатое,
Занывчатое,
Занывчатое,
Надрывчатое,
Надрывчатое.

Ты стой, моя роща,
Ты стой, моя роща,
Стой, не расцветай,
Стой, не расцветай!
Стой, мил хараводец,

Стой, мил хараводец,
Стой, не расходись,
Стой, не расходись!
Я в том хараводе,
Я в том хараводе
Скакал я, плясал,
Скакал я, плясал;
Скакал я, плясал,
Таночик водил,
Таночик водил,
Таночик водил.
Водил я таночик,
Сронил я веночик,
Сронил я веночик,
Сронил я веночик
Против матушки,
Против матушки.
Матушка, поди,
Родимая, поди,
Венок подыми,
Венок подыми.
Матушка нейдет,
Родима нейдет,
Венка не несет,
Венка не несет.
То горе мое,
То горе мое,
Гореваньеце!
Головка моя,
Головка моя
Победненькая,
Победненькая,
Сердечко мое,
Сердечко мое
Занывчатое,
Занывчатое;
Занывчатое,
Надрывчатое,
Надрывчатое.

Стой, ты моя роща,
Стой, ты моя роща,

Стой, не расцветай,
Стой, не расцветай,
Стой, мил хараводец,
Стой, мил хараводец,
Стой, не расходись,
Стой, не расходись!
Я в том хараводе,
Я в том хараводе
Скакал я, плясал,
Скакал я, плясал,
Скакал я, плясал,
Скакал я, плясал;
Скакал и плясал,
Таночик водил,
Таночик водил,
Таночик водил.
Водил я таночик,
Водил я таночик,
Сронил я веночик,
Сронил я веночик,
Сронил я веночик,
Сронил я веночик
Против девушки.
Ты, девушка, поди,
Красная, поди
Венок подыми.
Девушка идет,
Красная идет,
Веночек несет,
Веночек несет,
Веночек несет.
То радость моя
И весельице,
И весельице.

№ 34

Та же

Ты стой, моя роща,
Стой, не расцветай,
Стой, мил хараводец,

Стой, не расходись.
Я в том хараводе,
Молодчик, плясал,
Плясал я, молодчик,
Водил я таночик,
Сронил я веночик
Против батюшки,
Против роднова.
Ой ты, батюшка, поди,
Родимой, поди,
Венок подыми!
Батюшка нейдет,
Родимой нейдет,
Венка не несет.
То горе мое,
Гореваньеце,
Головка моя
Победнинкая,
Сердечко мое
Занывчатое,
Занывчатое,
Надрывчатое!
Ты стой, моя роща,
Стой, не расцветай,
Стой, мил хараводец,
Стой, не расходись.
Я в том хараводе,
Молодчик плясал,
Таночик водил.
Плясал я молодчик,
Водил я таночик,
Сронил я веночик
Против матушки,
Против роднинкой.
— Ой ты, матушка, поди,
Родима, поди
Венок подыми!
Матушка нейдет,
Родима нейдет,
Венка не несет.
То горе мое,
Гореваньеце,
Головка моя

Победнинкая,
Сердечко мое
Занывчатое,
Занывчатое,
Надрывчатое!
Ты стой, моя роща,
Стой, не расцветай,
Стой, мил хараводиц,
Стой, не расходись.
Я в том хараводе,
Молодчик, плясал,
Таночик водил.
Скакал я, молодчик,
Скакал я, плясал,
Водил я таночик,
Сронил я веночик
Против девушки,
Против краснинкой.
Ой ты, девушка, поди,
Красная, поди
Венок подыми!
Девушка идет,
Красная идет,
Веночик несет.
То радость моя
И весельеце.

№ 35

Ай Дуняшка Фомина, Фомина
По бережку ходила, ходила.
Правой ручкой махнула, махнула.
Сердечушком вздохнула, вздохнула:
— Ах свет моя сторона, сторона
Немецкая слобода, слобода,
Знать, мне там не бывать, не бывать,
Вина-пива не пивать, не пивать,
Калачиков не едать, не едать.
Вдоль улицы, вдоль улицы, улицы
Мимо кузницы, мимо кузницы
Кует кузнец, приговаривает,
Меня, младу, подговаривает:

— Пойдем, Дуня, в огород, в огород.
Сорвем, Дуня, лопушок, лопушок.
Сошьем, Дуня, сарафан, сарафан.
А пуговки — а рипей, а рипей *,
А петилки — павитель, павитель.
Носи, Дуня, не жалей, не жалей.
Износишь, Дуня, наживем, наживем.

№ 36

Как у славнова заводчика
У Титова на дворе
Собиралися набойчики
На Яузу погулять.
Они речи говорят,
Все Матюшина бранят:
— Пропадай ты, Матюшин,
Со заводом со своим,
Со заводом со своим,
Со товаром со гнилым,
И с приказчиком лихим,
Со товаром со гнилым
И с приказчиком лихим.
Как дай, боже, пожить,
Нам Титову послужить,
Как и дай, боже, пожить,
Нам Титову послужить.
На работу посылает,
Вперед денежки дает,
На работу посылает,
Вперед денежки дает.
Обделяет молодцов
Он по сотни по рублей,
Обделяет молодцов
Он по сотни по рублей.
Как мы день-то работали,
Ночь по улицам гуляли,
Красных девок забавляли,
Ночь по улицам гуляли,
Красных девок забавляли.

* репей.— *Ред.*

Как пропился *моторной*,
Прогулялся удалой,
Как пропился *моторной*,
Прогулялся удалой.
Спонадеялся *моторной*
На добычу на свою,
Спонадеялся моторной
На добычу на свою.
Как большая-то добыча
Хуже маленкой,
Как большая-то добыча
Хуже маленкой,
А с болшим барышом
Находишься-находишься.
А с болшим молодцом
Находишься нагишом.

В Москве поют на фабрике фабришные на Семик.

№ 37

Об чем мальчик сумневался,
Век об девушки страдал,
Век об девушки страдал
По нещасной воздыхал,
Дён веселых не видал.
За твою красу прелестну
Уродилась хороша,
Будто краль, душа моя.
Не от жару цветы вянут,
Не с прохладныя росы,
Не узрил твоей красы.
Я не для красы страдал —
Для мученья своего.
— Что твое ли я мученье
Почитала ни за што.
Я за то дружка любила,
Не занялся ни с какой,
Ни с Сашиной красотой.
Уж ты, Сашинка-Сашутка,
Саша милая моя,
Не ходи мимо сада,

Саша милая моя,
Не ходи мимо сада,
Не прокладывай следа,
Дороженки не тори,
Молодчика не суши,
Худой славы не клади;
Худа славушка пройдет,—
Никто замуж не возмет.

Не ходи мимо сада,
Саша милая моя,
Не ходи мимо сада,
Не прокладывай следа,
Дороженку не тори,
Молодчика не суши,
Худой славы не клади.
Худа славушка пройдет,—
Никто замуж не возмет,
Худа славушка пройдет,—
Никто замуж не возмет.

№ 38

По морю, по морю, по тихому озеру
Ехал пан, ехал пан, ехал пан,
Ехал пан со князем.
Увидал-усмотрел
Красных девок во кругу.
Всех дарил, всех дарил, всех дарил,
Дарил девок лентами,
Красных алыми.
Сронил пан, сронил пан, сронил пан
Черную шляпу со пером,
Черную шляпу со пером,
Со пером, со пером, со пером
Павлиныим
Против двух, против двух, против двух,
Против двух красных девушек.
— Девушки красныя, девушки красныя,
Подай шляпы черныя!

— Панушка батюшка, мы твои
не служанки,
Мы твои не верныя.
Служанки мы, служанки
Родимому батюшки.
По морю, по морю, по тихому озеру
Ехал пан, ехал пан, ехал пан,
Ехал пан со князем
Увидал-усмотрел
Красных девок, красных девок во кругу,
Красных девок во кругу.
Всех дарил, всех дарил, всех дарил,
Дарил девок лентами,
Дарил красных алыми.
Сронил пан, сронил пан, сронил пан
Черную шляпу со пером
Против двух, против двух, против двух
Красных девушек.
— Девушки красныя,
Подай шляпы черныя!
— Панушка батюшка,
Мы ваши не служенки,
Мы ваши не верныя.
Служенки, служенки
Родимой матушки.
По морю, по морю, по тихому озеру
Ехал пан, ехал пан, ехал пан,
Ехал пан со князем пьян,
Увидал-усмотрел
Красных девок во кругу.
Всех дарил, всех дарил,
Дарил девок лентами,
Дарил красных алыми.
Сронил пан, сронил пан
Черную шляпу со пером,
Со пером павлиныим
Против двух, против двух,
Против двух красных девушек.
— Девушки красныя,
Подай шляпы черныя,
Подай шляпы черныя,
Черныя, черныя
Со пером павлиныим!

— Панушка батюшка,
Мы твои все служанки,
Мы твои все верныи.

Один парень становится на одном месте. Все пары <I нрзбр.> друг дружку беря <I нрзбр.> за руки. Начинают ходить кругом парня и поют песню. «Сронил ленту» — в то время бросит шляпу парень. Хоровод останавливается и поет до «панушки, батюшки». Парень сам поднимает шляпу, ходит среди хоровода и подпевает до «сронил пан шляпу со пером». Он снимает шляпу, бросает на землю и стоит над ней. Хоровод себя останавливает до «панушки, батюшки, мы твои не служанки». Потом хоровод <I нрзбр.> Парень поднимает шляпу, в третий <раз>; в то же время бросит шляпу и в конце песни: «мы твои служанки». Две девушки входят в середину хоровода, поднимают шляпу, надевают на парня, он их целует.

№ 39

Как по сеням, сеням, сенюшкам,
По новым сеням решотчатым
Тут ходила красна девица душа,
Пробужала удалова молодца:
— Уж ты встань-проснись, удалой молодец,
Пробудись, душа отецкой сын,
Отвязался твой удалой конь
От столба, столба дубовова,
От колечка полужонова;
Поломал он весь железной тын,
Прищипал весь зеленый сад
Со калиною, малиною,
С черной ягодой смородиной.
— Не тужи ты, красна девица душа,
Не печаль ты удалова молодца,
Наживем с тобой железный тын,
Разведем с тобой зеленой сад,
С калиною, малиною,
С черной ягодой смородиной.

№ 40

Вейся, вейся, хмелинушка,
Через тын на улицу.
Во моем ли во садику
Раздолье широкое,

Приволье хорошее.
По том по раздольицу
Ходил-гулял молодец,
Связал свою головушку
Фатою зеленою.
Увидала матушка
Из высока терема.
— Дитя ль мое, дитятко,
Дитя-чадо милое,
Что ходишь не весело,
Гуляешь не радостно?
— Родимая матушка,
К чему веселиться мне?
Друзья, братцы женются,
А я неженат хожу.
— Дитя ль мое, дитятко,
Дитя-чадо милое,
Иди в хоровод девичий,
Возьми что ни лутчую
Дочерю соседскую.

№ 41

Чернецкое пиво
Разымчиво было.
    Чернечик, чернечик,
    Чернечик ты мой,
    Горюн молодой.
Вступила хмелина
В буйну голову.
    Чернечик, чернечик,
    Чернечик ты мой,
    Горюн молодой.
Березки я резал,
Метелки вязал.
    Березки, березки,
    Березки я резал,
    Метелки, метелки,
    Метелки вязал.
Метелки вязал,
Я возок наклал.

Я возок, я возок,
Я возок, возок наклал.
Я возок наклал.
Буренку впрягал.
Буренку, буренку,
Буренку впрягал.
Буренку впрягал,
В Москву отправлял.
В Москву, в Москву,
В Москву отправлял,
В Москву отправлял
По метлы кричал,
По метлы, по метлы,
По метлы кричал.
Случилося ехать
Немецкой слободой.
Чернечик ты мой,
Горюн молодой.
Увидел он девчонку,
Сидит под окном,
Сидит, сидит,
Сидит под окном.
Сидит под окном,
Играет цветком.
Играет, играет,
Играет цветком.
Лягонко подкрался,
Тихонко сказал.
Тихонко, тихонко,
Тихонко сказал.
Тихонко сказал:
— Я тебя люблю,
Люблю, люблю,
Люблю, люблю.

№ 42

Как за лесом, за лесочком,
Как за темным за зеленым
Долинка была широкинькая.
Как на этой на долине,

Как на этой на широкой
Осока растет, зеленó цветет.
Как на этой на осоке,
Как на этой на зеленой
Пастушок овец пасет,
Стадо стережет.
Из тово ли из лесочка,
Из тово ли из темнова
Девушка идет,
Красная идет,
В руках несет два платочка,
В руках несет два веночка:
Себе да ему — милому своему.
— Пастух, пастух, пастушочик
Пастух миленкой дружочик,
Скотинку паси, ночевать ходи.
— Уж, девка красавица,
Дай со стадóм управиться,
Стадо соберу, домой погоню
Через то село Покровски,
Через то село большое,
К жене забегу, про все расскажу:
— Жена ль моя, боярыня,
Московская сударыня,
Не жди ночевать
На стару кровать:
Вечор меня девки звали,
Вечор красны позывали
К себе ночевать
На нову кровать.
Я пошел на ту долину,
Где вечор гонял скотину,
Там девушки нет,
Молоденкой нет.
Знать, девчонка запропала,
За часты кусты запала.
Девчонка услыхала,
Громким голосом вскричала:
— Я, миленкой, здесь, хорошинкой, здесь!
Парень девки взрадовался,
На белы груди бросался,
Начал целовать, целовать,
Начал миловать.

— Отойди ты, пастух мерзкой,
Мужик деревенской!
— Полно, не шути со мной, не дури.
Чем ты мною недовольна,
Чем ты, красна, недовольна?
Позволь говорить,
Я буду дарить
На шеюшку платочик,
На ручку перстенечик,
Аршин кумачу.
Люблю, что хочу.

№ 43

Сохнит в поле травка
И завянит корешок,
Долго-долго дожидался
Тучи грозной со дождем.
Полно, сердце, сокрушатся,
Мил не слышит обо мне.
Было время тосковала,
Когда мил меня любил.
Нынче милой перменился,
Он иную полюбил.
Сколько писем не писала,
Ни'дново* он не слыхал;
Ручьем слезы проливала,
А тово он не видал.
Сколько вздохов испущала,
Ни'дново* он не слыхал;
Я пойду в леса дремучи,
Там скончаю жизнь мою.
Ничего в лесах не слышно,
Лишь дубровушка шумит,
Ничего в лугах не видно,
Только стадо лебедей.
Все лебедушки попарно
Ходют по лугу они,
А я, горькая, нещасна,
Живу в горе и одна.

---

* ни одного.— *Ред.*

№ 44

Чей это садочик
Зеленёшинек стоит?
Чей во садике терем?
Побывал бы я в нем.
Чья во тереме
Кроватушка тесовая?
На кроватушки лежит
Перина пуховая,
На перине одеяло
Соболиное лежит,
Соболиное, тафтяное,
Лежит девушка Татьяна,
Хороша-пригожа,
Взял бы, взял бы за себя.
Приукрасил для себя.
Снаряжу свою сударушку
Полутчее всех,
И полутче, и почище,
И повежливее.
Я состроил бы сударушки
Червончатой корабль,
Нанял своей сударушки
Гребцов молодцов,
Славных песенников.
Вниз по речинки гребут,
Песни весело поют.
Как один молодец
Он гресть не гребет,
Он и песен не поет,
Только с ножки на ножку
Поскакивает,
Да сапог о сапог
Поколачивает,
Приговаривает:
— Как и эти сапоги
Издалече везены
Из матушки из Москвы,
Из Немецкой слободы,
Полтора рубля даны.

№ 45

Ох ли, пропала пропажа
У богатова купца,
Да не сто рублей пропало,
Да не тысяча его,
Да не сто рублей пропало,
Да не тысяча его.
Ох ли, пропала пропажа —
Чадо милое, дитя.
Ох ли, искали пропажу
По болотам, по лесам,
Ох ли, нашли эту пропажу
У соседа на саду,
У соседа на дворе,
В новой бани под полком.
Ох ли, буйная головушка
Испробитая лежит,
Ее русая коса —
Растрепаны волоса,
А ее цветное платье
На жёрдочки висит,
Миткалитная рубашка
В кровь измаранная.
Ох, вот рассукин сын Гришутка
Под окошечком сидит,
Сам в окошечко глядит:
— Ох, не за мною ль, молодцом, едут,
Не меня ли в гости звать
Ох, на тройки лошадях
Да на новых на санях?
Посадили Гришутку
В новы сани на задок,
Повезли Гришутку
К губернатору на двор.
Вот стал губернатор
Его спрашивать:
— Ты скажи, скажи, Гришутка,
Не утай свово греха,
С кем же ты девицу,
С кем ее убил?
Кто товарищ тебе был?
— Ох, да не один я был

И товарищ со мной был:
Вот мой первой товарищ —
То моя темная ночь,
Другой мой товарищ —
То булатной нож,
А как третий-то товарищ —
То мой добрый конь,
А четвертый товарищ —
Востра сабля наголо.
Потом губернатор Гришу
И домой пустил.
Пошел наш Гришутка
Да и песенку запел.

№ 46

Зимовая стужа
Нам, солдатушкам, служба,
Гонют на ученье,
Очень холодно.
Ножинки озябли
От белова снега,
Ручинки простыли
От светлова ружья.
Сума да патроны
Плечи обломили,
Тесак, остра сабля
Ножинки отбили,
Бела портупея
Сердце переела.
Господа гуляют,
Ничего не знают.
Капитан наш Разин
Вышел на крылечко,
Он молвил словечко,
Вышел на крутое,
Промолвил другое:
— А што ж вы, ребяты,
А што ж приуныли?
Водочки не пили?
— Мы водочки не пили:
В карауле были.

№ 47

Жил я у пана первое лето,
Дали мне у пана курочку за это.
Моя курка <...> по двору ходит,
Ай, курочка, курочка, черной хохолок.
Жил я у пана во второе лето,
Дали мне у пана утюшку за это.
Моя утка <...>
По двору ходит, хохол раздувает.
Жил я у пана третие лето,
Дали мне у пана гусака за это.
Мой гусак черноус.
Жил я у пана четвертое лето,
Дали мне у пана зайца за это.
Мой заяц о трех <...>.
Жил я у пана и пятое лето,
Дали мне у пана теленка за это.
Мой теленок <...>.
Жил я у пана на шестое лето,
Дали мне у пана жеребца за это.

№ 48

В гостях Дуня гостила,
Во беседушке сидела.
Я немного посидела,
Много дела сделала:
Что ни лутчива молодчика
Ко любови призвала
И любовником назвала.
Хорош, пригож уродился,
До девушек ласков,
На речах-то говорлив.
Вечор с милым танцевали,
Милый ручку крепко жал,
Проявился в лице жар.
Пойду-выйду на крылечко,
Простужу белое лицо.
Неужели лица простудить?

Мил по улице идет,
Он подарочик несет,
Подарок дорогой —
С руки перстень золотой.
Мне куда его девать?
Как самой его носить,
Будет матушка бранить.

РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ, СОБРАННЫЕ А. В. КОЛЬЦОВЫМ

А.

1. Атальются волку коровьи слёзки.
2. . . . .
3. Ат казла — не молоко.

Б.

1. Были и наши рога в торгу.
2. Борода с ворота, а ум с прикалиток.
3. Без ума голова — что лукошка.
4. Без имяни овца — боран.
5. Быть бычку на обрывочки.
6. Береги денешку про чорный день.
7. Бог даст день, бог даст пищу.
8. Бедность — не порок.
9. Бодливой корови бог рог не дает.
10. Белой свет на волю дан.
11. Белой свет ни углом сведён.
12. Брань в боку не лежит.
13. Богу молись, а к берегу гребись.
14. Борыш с накладом на одном полозу ездит.
15. Без хозяина дом — сирота.
16. Без чужой вши чесатся не будет.
17. Беден бес, богат бог милостью.
18. Бог дал, бог взял.

19. Бедлив, как кошка; труслив, как заяц.
20. Будь пьян, да не будь упрям.
21. Беда придет, ум за разум зайдет.
22. Бог не выдаст, злодей не съист.
23. Бей сороку и ворону, добьешся до ясна́ сокола́.
24. Бей в куст, виноватого бог выдаст.
25. Бранится — бранись; рукам воли не давай.
26. Бельмо б те на глас.
27. Была бы шея, хомут будет.
28. Бог не попустит — собака не съист.

В.

1. Всяк пляшит, да не как скоморох.
2. Видишь в поли погоду — не езди.
3. Вытяни язык, вылупи глаза (Употребляется за столом при кушанье лабши.)
4. В старину живали двор обо-двор и калитка на двор.
5. Ворон ворону глас не выколит.
6. Выстрел в воздух, а чорт в воду.
7. Воин трус — вооруженный мундир.
8. В гостях хорошо, а дома лутче.
9. В головах кулак, под боком так.
10. Всего не переймешь, что по морю плывет.
11. Всякой молодец на свой образец.
12. Видна птица по полету.
13. Всем девка, да нога.
14. Весна говорит: уклочу, а осень говорит: как захочу.
15. В леси жить — пенкам богу молится.
16. Вольному воля, спасеному — рай.
17. Волк из щотнова берет.
18. Взялся за гуж, не говори: не дюж.
19. Всем сестрам по сергам.
20. В надежде конь копытом бьет; видно, подкован.
21. Век живи, век учись.
22. Век протянится, всему достанится.

23. В дугу согнуть.
24. В бараний рог скручу.
25. В лесу бирюка не блюдут.
26. Видно по кулю, что четверт.
27. В одну пору сено косют.
28. Всякая лисица на свой хвост не наступит.
29. В своей семье не велик ращот.
30. В добрую голову сто рук.
31. В нашей могиле кости гремят.

Г.

1. Гляди в оба.
2. Говори, говори: да и мол.
3. Горбатова могила справит.
4. Гордому бог противится.
5. Грех да беда на ком не лежит.
6. Грех сладок: кусает и в синим.
7. Гром не грянет, мужик не перекстится.
8. Гинь на лес, и лес ломится.
9. Глаза страшат, руки делают.
10. Горькому горькая песенка поется.
11. Голод не свой брат.
12. Голо — голо да и синя.
13. Горшок с горшком стыкается.
14. Где поведется, там и петух понесется.

Д.

1. Дулась гора родами, а родила мышь.
2. Думала я так, передумала инак; ну-ка, бабушка, на новой лад.
3. Дурной глас на осину взглянит, осина завянит.
4. Дурак камень бросит в воду, умной не достанит.
5. Десять раз смерей, однажды отрежь.
6. Добрая слава при дорошки лежит, а худая слава по дорошки бежит.

7. Далече куцаму за зайцем гнатся.
8. Денешка рубля бережот.
9. Дуракам закон не писан.
10. Дитя не плачет, мать не разумеет.
11. Дурака в алтаре бьют.
12. Деньги — черви, а без денег — люди черти.
13. Дареному коню в зубы не глядят.
14. Дальше положишь, ближе возмешь.
15. Для глухова две обедни не служат.
16. Дело мастера боится.
17. Дело делу — рось, другое — хоть брось.
18. Девушка пей, да дельцо разумей.
19. Дорогá борозднa к загону.
20. Далеко свинье на небо смотреть.
21. Делá — как лутошки.
22. Два бела, третье — как снег.
23. Дать себе волю, спустишь и отцовскую долю.
24. Дай бог сидню ноги.
25. Доброй жернов всё мелит.

Е.

1. Едешь на день, бери хлеба на ниделю.
2. Ежь, конь, сено; поминай, конь, лето.
3. Ерёма, Ерёма! сидел бы ты дома, точил веретёны.
4. Ешь, собака, да неведомая.

Ж.

1. Жизнь протянится, всему достанится.
2. Жизнь пережить — не поле перейти.
3. Жила правду выведет.
4. Жены стыдится, детей не видать.
5. Жив живое говорит.
6. Жена не коза, дети не пчелы.

З.

1. Запрос в карман не лазит.
2. Залетела ворона в высокия хоромы.
3. За чем пойдешь, то и найдешь.
4. За морем телушка по полушки, да рубль перевозу.
5. Зашол Макар в кут, игде телят пасут.
6. Знай больше, говори меньше.
7. Знай честь, утирай бороду.
8. Золотые руки, да рожа...
9. Злой собаки много нада.
10. Знай своих, поминай наших.
11. За правду господь лица прибавляет.

И.

1. Из пустой хоромины — либо сыч, либо сова, либо сам чорт сатана.
2. Из тово кузнец клещи держит, чтоб руки не обжечь.
3. Из злой собаки хоть шерсти клок.
4. И на Малашку бывает промашка.

К.

1. Какова ловля, такова и кормля.
2. Кто нови не видал, тот вётоши рад.
3. . . . .
4. Красен словами, разсудком бедин.
5. К берегу ни попал, а от другова отстал.
6. Как клад — не дается.
7. Купец — метла: все подметай.
8. Конец дело венчает.
9. Каков в колыбельку, таков и в могилку.
10. Кто бога не слушает, тот богу противник.
11. Как пришло, так и пошло.

12. Когда маленко, кроши меленько.
13. Кормил до уса, корми до бороды.
14. Кожа наружи, глаза во лбу.
15. Куда не кинь,— везде клин.
16. Конь о четырех ног, и то спотыкается.
17. Купил — сват, не купил — доброй человек.
18. Как аукнится, так и откликнится.
19. Кто кому посмеется, тот тому и поработает.
20. Кто людей не слушает, тот богу противник.
21. Как бельмо на глазу.
22. Кус — деньга, кус — алтын.
23. Каков царь, таков и псарь.
24. Казенная палата от мужиков богата.
25. Кто бабки не внук.

Л.

1. Лежень лежит, счастье растет.
2. Ласковое телятко две матки сосет.
3. Либо полон двор, либо корень вон.
4. Лбом стену не пробьешь.
5. Люби ездить, люби возить.
6. Люблю как душу, трясу как грушу.

М.

1. Миллион под углом...пьет сам богач.
2. Моя изба с краю: я ничего не знаю.
3. Мерила бабушка крюкой, да и махнула рукой: быть по-старому, как поставлено!
4. Медведь быка дерет: и тот ревет, и тот ревет; а кто ково дерет, чорт их разберет.
5. Мяхко стелит, да жостко спать.
6. Масляная головка — отцу матери не кормилица.
7. Мы про людей вечеринку, а люди про нас — всю ночь не спят.

8. Мир — большой человек.
9. Мал золотник, да дорог; велика Федура, да дура.
10. Малинкая собачка — целой век щенок.
11. Молодое растется, старое стареется.
12. Москва бьет с носка.
13. Мы с тобою истцы, в прежния — молодцы.

Н.

1. Не родом старцы ведутся; ково бог приведет.
2. Не угадывай в год, угадывай в гроб.
3. . . . .
4. . . . .
5. Не штука — в сапогах, штука — босиком.
6. Ни в поли, ни на дворе.
7. Не пойман — не вор; . . . .
8. Не ставь пышку лепешкою.
9. Не всякой гром бьет; авось и староста помилует.
10. Не робей, воробей; синицу поймали.
11. Не то, что у вас: у нас пряники ломай, да со щами хлебай.
12. На звук пчела летит.
13. Нет в поли дерева, где б птица не сидела.
14. Не угадывай в род, угадывай в гроб.
15. Не всякому слуху верь.
16. На чужом коне не наездишься.
17. Не смейся кисель: не лутче людей.
18. На гнилой товар — слепой купец.
19. Назвался груздем — лезь в кузов.
20. На грех утка . . . .
21. Не только за чужова, не ручись за отца роднова.
22. Не место человека просвещает, а человек место.
23. Не лгет душа — а лгет мошна.
24. Не держался на голове, на хвосте не удержишься.
25. Нашол — молчи, потерял — молчи.
26. Не радуйся — нашол, не тужи — потерял.

27. На то щука в море, чтоб карась не дремал.
28. На чужой роток не накинишь платок.
29. Не гребень голову чешет, а время.
30. На всякова мудреца есть довольно простоты.
31. На чужом коне далеко не уедишь.
32. На лечиной кобыле не наездишься.
33. Не в коня корм.
34. Не нашей губицы исть отрубицы.
35. Не к шуби рукав.
36. Не бойся умнаго лихова, бойся смирнова дурака.
37. Не купи место, купи соседа.
38. Не в пору гость,— хуже татарина.
39. Не было бегу, не было следу.
40. Не всякому слуху верь.
41. Нет молодца, чтобы обмануть винца.
42. Не сули журавля в поле, дай синицу в руки.
43. На посули, как на стули.
44. Не верь людям, а верь глазам.
45. Не все коту масленница.
46. Нанялся — продался.
47. На людях и смерть красна.
48. Не молись о постылом, бог возмет милова.
49. Не плюй в колодясь: годится водицы напиться.
50. Не рой людям яму — сам упадешь.
51. Нет конца без начала.
52. На ково бог, на тово и люди.
53. Ни богу свеча, ни чорту кочерга.
54. На травлю ехать, собак кормить.
55. Не зарекайся воровать.
56. Нет худа без добра.
57. Невольной грамоты нету.
58. Не влекёт судьба, влекёт охота.
59. Не надейся, Роман, на чужой карман: раньше вставай, да свой наживай.
60. Не по летам, а по ребрам.
61. Не нашева плеча епанча.

62. Не нашева поля ягода.
63. Не купи дом, купи угодье.
64. Не хочешь ли на я-ть голубей менять.
65. Не разжевавши не проглотишь.
66. Недосоль на столе, а пересоль на спине.
67. На грех мастера нет.
68. Не вошь голову точит, а гнида.
69. На обухи рош молочивали.
70. Неволя упряма.
71. Ночная кукушка денную перекукует.

О.

1. Около носа вертится, да в рот не попадет.
2. Один в поле не воин.
3. От яблонки далече яблочко не котится.
4. От беды не уйдешь.
5. От чужих ворот — трое поворот.
6. Об исходе — с ума сходя.
7. Он знает, где раки зимуют.
8. Он прост, как дуга.
9. Один гусь травы не выт/оп/чет.

П.

1. Пей, да не воруй; люби, да не целуй; беды на волос не будет.
2. Пуля виноватова найдет.
3. Писец без пера, что солдат без ружья.
4. По саже, хоть гладь, хоть бей,— все будешь черен от ней.
5. . . . .
6. Пролито — полно не живет.
7. Пива на сусли не узнаешь.
8. Плетень-то заплели; кто-то расплетет.
9. Плеть обуха не перебьет.

10. Пьяницы капля дорога.
11. Проиграл яичко? играй желвачком.
12. Противу жару камень треснит.
13. Птица по зернушку клюет, да сыта живет.
14. Посмотрим мы на вас; не будет ли бархат — атлас.
15. Пустая трава из поля вон.
16. Пока солнце взойдет, роса глаза выбьет.
17. При пире, при беседе — друзей-братьев много; при горе, при печали — нет никово.
18. Перемелится, мука будет.
19. Правда светлей солнца.
20. Пить до дна, не видать добра.
21. Проданному товару золотой верх.
22. Первой кус — разбойник.
23. Первый блин — комом.
24. Пьяному человеку — море по колена.
25. Правда глаза колит.
26. Плохо не клади, вора в грех не вводи.
27. Плохой мир — лутче доброй брани.
28. Плохая рыбка — поганая юшка.
29. Пар костей не ломит.
30. Поехал ни по шта, привес ничево.
31. По делам вору мука.
32. После скобля — тапором.
33. Прямая дорога на кривую наведет.
34. Перевел шило на мыло.
35. Понюхал пробой, да поехал домой.
36. Подле чертенка не заведешь дитенка.
37. Прошол Спас, бери рукавицы про запас.

Р.

1. Растрепал мир мою бороду.
2. Рад бы душой, да хлеб чужой.
3. Руби дерево по себе.
4. Ранняя птичка носок очищает, а посняя только гласки продирает.

5. Руби дерево по себе.
6. Рука руку моет, чтобы обе белы были.
7. Рано птичка запела: видно, есть захотела.
8. Решетом воды не наносишь.

С.

1. С лица воды не пьют, а бы умен-та был.
2. Своя избушка — свой простор.
3. С суда — ни деньги, с потравы — ни хлеб.
4. Слово скажет — рублем подарит.
5. Сундук без замка — язык без привязи.
6. Собака собаку знает.
7. Собаке собачья честь.
8. . . . .
9. . . . .
10. Сеял мужик репу, вышел пусторнак.
11. Славны бубны за горами; к нам приедут — что лукошки.
12. Семеро сватают, одному достается.
13. Сам плох — не даст бог.
14. С чужова коня среди грязи долой.
15. Соловья баснями не кормят.
16. С однова вола двух кож не дерут.
17. Стреляй в куст, виноватаго бог выдаст.
18. Сила солому ломит.
19. С умом — суму носить.
20. С сильным не борись, с богатым не тягайся.
21. С посмеха люди живут.
22. Сколько веревку не вить, а концу делу быть.
23. Слушай, доброва, что лес говорит.
24. Старики-дураки клали в кучу чураки, а умники-детки размотали щепки.
25. Стол в избе — хозяин дома.
26. Своя рубашка к телу ближе.
27. С боя — собака бежит.

28. С волками жить — по волчью выть.
29. Стар пестрец,— да уха сладка.
30. Страшен сон, да милостив бог.
31. Свою клячу, как хочу, так пячу.
32. Смирной пока найдет, а резвой сам набежит.
33. Собака брешит — ветер носит.
34. С навала люди разживаются.
35. Скоро делаешь, да слепо родишь.
36. Сват так сват,— а не сват, будь добрый человек.
37. С дуру как с дубу.
38. Скупость — не глупость, бедность — не порок.
39. Смерть притчину найдет.
40. Семь бед — один ответ.
41. Семь дел в одни руки не берут.
42. Скорую работу не хвалят.
43. Учи, когда поперег лавки лежит.
44. Сорочи, не сорочи, а сто рублей деньги.
45. Старое дерево целой век скрыпит, а молодое ломается.
46. Стоя едит, семерых везет.
47. Собака на сене лежит, а другим не дает.
48. Стань, гора, не лежи!
49. Стань, беда, не лежи!
50. Своя рука — владыка.
51. Собери домок в ореховую скорлупочку.
52. Светил бы месяц, а звезды будут.
53. [1] Свой своему поневоли брат*.
54. Свой — дерись, чужой — не вступайся.
55. С жиру гуси бесются.
56. . . . .
57. Суди ж меня Губерска**, а не баба деревенска.

---

* Под этим № прежде была записана пословица: «скручу в бараний рог», потом зачеркнутая.— *Ред.*

** Губернское Правление? — *Ред.*

58. Сколько вору не воровать, а палачовых рук не миновать.
59. Сися, Матрена, вчерась-родились.
60. Снаружи хорошо, а в нутрё загляни,— волчью песню затяни.
61. Старость — не радость, бедность — не корысть.
62. Сменял горшки на глину.
63. С ево лица не воду пить.
64. Сыт голодному не разумеет.

Т.

1. Тужи не тужи, а пропали гужи.
2. Тращаная кобыла пня боится.
3. Торг — яма: стой — пряма.
4. Там лутче, где нас нет.
5. Ты — Хомой, а Хома — тобой.
6. Топчи в грязь, будет князь.
7. Тесть любит честь, зять любит взять.
8. Тише едишь — дальше будишь.
9. Тяп, да ляп — клетка.
10. Тяп, да ляп — не выдет корабль.
11. Телега мяса — воз костей.
12. Тертой калач: на обухе рош молачивал.

У.

1. У девушек ушки золотом завешаны. (Говорят в беседе при дурных речах).
2. У вора дубинку не купишь.
3. У палки два конца.
4. У страха глаза велики.
5. Умной человек слова на ветер не пустит.
6. Ум хорошо, а два лутче.
7. Ученова учить — только портить.

8. Умелому петь, когда голосу нет.
9. У бога всего многа.
10. У трезваго на уме,— у пьянова на языке.
11. У чорта силы многа, да воли нет.
12. . . . .
13. У всякова начала свой конец.
14. У вдовушки обычий — не девичей.
15. У всякова плута — свой рацпот.

Х.

1. Худому сыну отцовское имение не в помощь.
2. Хоть сурье белье, да свое рукоделье.
3. Хоть худенький, да с пугавками.
4. Хата теплая, хозяйка добрая; живи, поживай.
5. Хороша тюрма, да чорт ей рад.
6. Хвать в карман — дыра в горсте.
7. Хоть не скоро, да здорово.
8. Хоть талкачом, так есть по чём.
9. Хочу — вскочу, хочу — не вскочу.
10. Хороший жернов все мелит.
11. Хорош гость в гостинку.
12. Ходя наешься, стоя выспишься.
13. Худова не снимут, хорошева не наденут.

Ц.

1. Цены бог строит.
2. Царь воды не удержит.

Ч.

1. Что вера не попала, и то мышка украла.
2. Чужую рош веить, глаза порошить.
3. Что ему! с пала-горя.
4. Что худо да слепо, то — Кузьме Демьяна.

5. Чужое именье прахом пойдет.
6. Чем дальше в лес, тем больше дров.
7. Чего не знаешь,— не берись.
8. Что с воза упало,— пиши пропало.
9. Через силу конь не повезёт.
10. Чужие люди век не прокормют.
11. Чужая болячка никому не больна.
12. Чужую беду по пальцам разведу, а к своей — ума не приложу.
13. Что добудишь, то и съишь.
14. Чужому безвременью не радуйся.
15. Честь лучше бесчестья.
16. Что за спица в колесницы!
17. Что с возу упало, то пиши пропало.
18. Что посеишь, то сожнешь.
19. Чужой хлеб приедчив.
20. Чужая сторона — темный лес.
21. Чем чорт не шутит.
22. Что ты привязался, как Смоленской солдат.
23. Что ни напряла, и то мышка украла.
24. Что за беда — во рже лебеда! вот-то беды — ни ржи, ни лебеды.
25. Чужия руки — крюки.
26. Чужими руками, только жар загребать.
27. Что? гриб съел.

III.

1. Шел кум пеши — куме лекши.
2. Шила в меху не утаишь.
3. Шилом море не нагреешь.
4. Швец — портной, коновал — клетной. (Швецы по деревням шьют по избам, а ночуют у женщин по клетям).

Щ.

1. Що, брат? люди едут пахать, а мы с тобой рукам махать.

Э.

1. Экой ты, Янка, овчинная шапка, синий кавтан!
2. Экой ты щеголь — ременные обори!

Я.

1. Язык не лопатка: знает, где сладка.

КОММЕНТАРИИ

В настоящее издание вошли все стихотворения, включенные в основной корпус книги: А. В. Кольцов. Полное собрание стихотворений. Вступительная статья, редакция и примечания Л. Плоткина. Библиотека поэта (Большая серия). Л., «Советский писатель», 1958. Тексты печатаются по этому изданию.

Письма печатаются по изданию: Полное собрание сочинений А. В. Кольцова. Под редакцией и с примечаниями А. И. Лященко. Спб., 1911. Письма №№ 34, 46, 56 — по изданию: А. В. Кольцов. Сочинения. Вступительная статья, подготовка текста и примечания Ю. Л. Акимова. Государственное издательство художественной литературы. М., 1955. Стихотворения и письма расположены в хронологическом порядке.

В комментариях к стихотворениям приводятся данные о том, где и когда состоялась их первая публикация. Даны названия стихотворений в разных редакциях, в том числе и черновых. В отдельных случаях отмечены наиболее существенные, чем-либо интересные разночтения. Пояснения отдельных слов и выражений, а также сведения о тех, кому посвящены стихотворения, в случаях, когда необходимо, сопровождаются указаниями на жизненные и поэтические источники образности и особенностей стиля. В ряде случаев приведены суждения В. Г. Белинского о творчестве поэта, а равно и собственные оценки Кольцова. Названы имена наиболее известных композиторов, писавших музыку к стихам поэта.

В комментариях к письмам раскрываются полные имена упоминаемых лиц, пояснены бытовые обстоятельства, о которых пишет Кольцов, приводятся справки о месте и времени публикации называемых в письмах литературных произведений разных авторов — и прежде всего самого Кольцова; в кратком виде воспроизведены существенные оценки В. Г. Белинским житейских условий, в которых творил поэт, комментируется все, имеющее отношение к пониманию содержания писем.

Принятые сокращения:

Изд. 1835 — Стихотворения Алексея Кольцова. Москва. В типографии Н. Степанова, 1835.

Изд. 1846 — Стихотворения Кольцова. С портретом автора, его факсимиле и статьей о его жизни и сочинениях, писанной В. Белинским. Изд. Н. Некрасова и Н. Прокоповича, СПб. 1846.

ПСС — Полное собрание сочинений А. В. Кольцова, под редакцией и с примечаниями А. И. Лященко, СПб., 1911.

Изд. 1936 — А. В. Кольцов. Избранные сочинения. Редакция, вступительная статья и примечания Л. А. Плоткина, предисловие Н. К. Пиксанова, Воронеж, 1936.

В. Г. Белинский — В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений в 13 томах, АН СССР, М., 1953—1959.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Сирота *(«Не прельщайте, не маните...»)* (с. 21).— Первая публикация — Изд. 1846, с. III. Одно из ранних стихотворений. К 1827 году относится более совершенная редакция.

Ровеснику (с. 22).— Впервые — Изд. 1846, с. IV. В. Г. Белинский высказал предположение, что стихотворение посвящено Кольцовым «первому другу» юности, сыну воронежского купца Варгина (В. Г. Белинский, т. IX, с. 502). Черновая редакция стихотворения с другим концом помечена 11 января 1829 года.

Песня *(«Если встречусь с тобой...»)* (с. 22).— Впервые — в «Московском наблюдателе», 1839, № 3, с. 6. Сравнение первых редакций (в том числе относящейся к 1827 году) с окончательной свидетельствует о тщательной отделке стихов. Стихотворение о первой любви Кольцова к крепостной девушке, находившейся в услужении в доме отца поэта. По словам В. Г. Белинского, любовь сильно подействовала на развитие таланта Кольцова: «Он как будто вдруг почувствовал себя уже не стихотворцем, одолеваемым охотой слагать размеренные строчки с рифмами, без всякого содержания, но поэтом, стих которого сделался отзывом на призывы жизни...» (В. Г. Белинский, т. IX, с. 505). Стихотворение положено на музыку М. И. Глинкой, А. С. Даргомыжским, А. Г. Рубинштейном.

Путник (с. 23).— Впервые — Изд. 1835, с. 20. Первоначальное название — «Приветный огонек».

Осень (с. 24).— Первая публикация — Изд. 1846, с. V. Поэт подражает В. А. Жуковскому и А. С. Пушкину. В первоначальной редакции говорится о невозвратимой поре юности.

П о с л а н и е м о л о д о й в д о в е (с. 24).— Впервые — «Отечественные записки», 1867, № 2, с. 812.

Р а з м о л в к а (с. 25).— Впервые — Изд. 1846, с. 3. Другое название — «Послание». Более поздний вариант, помеченный 28 марта 1829 года, обращен не к женщине, а к приятелю. В лучших строчках чувствуется энергия, типичная для более зрелых стихов поэта: «Незваный гость / Долой с двора!» и др.

С п я щ и й ю н о ш а (с. 25).— Впервые — «Литературная газета», 1841, № 9, 21 января. Другое название — «Спящему младенцу». Стихотворение навеяно творчеством других поэтов: это мог быть В. А. Жуковский («Сиротка»), И. И. Дмитриев («К младенцу»). Вместе с тем стихи автобиографичны. В строки: «И дней безжизненной дремоты», «Нужда до солнца встать не нудит» Кольцов вложил личные чувства.

П р е к р а с н о й п о с е л я н к е (с. 26).—Впервые—«Пантеон», 1840, № 11, с. 25. Другое название — «Красавице». «Дева Пушкина» — из стихотворения «Буря» («Ты видел деву на скале»).

Н о ч л е г ч у м а к о в (с. 27).— Первая публикация в журнале «Библиотека для чтения», 1836, № 1, с. 9 и в «Журнале военно-учебных заведений», 1839, № 69, с. 5. Другое название — «Сельские картины» (под общим заголовком с «Домиком лесника»). Многие строки — прямое подражание «Цыганам» А. С. Пушкина. В биографическом отношении интересны строки о поездках поэта в украинские степи и о знакомстве с народными песнями.

Я б ы л у н е й (с. 29).— Впервые — Изд. 1846, с. XIX. Стихотворение положено на музыку С. В. Рахманиновым.

П л а ч (с. 30).— Первая публикация — «Отечественные записки», 1867, № 2, с. 815. Другие названия: «Плач души», «Уныние». Наблюдается сходство с поэтическим переложением Г. Р. Державиным 81-го псалма — «Властителям и судьям».

О т в е т н а в о п р о с о м о е й ж и з н и (с. 30).—Первая публикация — «Отечественные записки», 1867, № 2, с. 816. Написано в жанре стихотворных размышлений. Стилю книжной медитации противоречат фольклорные эпитеты «как сине море», «с ветрами буйными», а также просторечная форма: «И горя будто не было».

И с с т у п л е н и е (*«Увижу ль, увижу ль...»*) (с. 31).— Впервые — Изд. 1936, с. 190.

«Н и ч т о, н и ч т о н а с в е т е...» (с. 32).— Впервые — Изд. 1936, с. 191. Предполагают, что Кольцов говорит об утрате воз-

любленной — крепостной девушки, проданной в 1828 году донскому помещику.

Послание В.Г.О. (с. 32).— В автографе — «Послание В. Г. А.». Впервые — Изд. 1936, с. 191, посвящено Варваре Григорьевне Огарковой (Агарковой), по мужу Лебедевой. Лиза — Елизавета Григорьевна Огаркова, сестра В. Г. Огарковой.

Престарелый казак (с. 33).— Впервые— «Воронежские губернские ведомости», 1891, № 58, 3 августа, под заглавием «Старый казак». «В курене бурлака»: *бурлак* — в южнорусских говорах бродяга, бездомный человек; *курень* — шалаш, легкая постройка, а на Дону — и черная баня.

На отъезд Д. А. Кашкина в Одессу (с. 34).— Впервые опубликовано в «Отечественных записках», 1867, № 2, с. 817. Посвящено воронежскому книгопродавцу Д. А. Кашкину. Ему Кольцов был обязан знакомством со стихами писателей XVIII века и современной поэзией. По совету Кашкина, Кольцов изучил правила стихосложения. В стихах много бытовых примет Воронежа тех лет. Встречаются просторечные слова: «Что груди *тяжельше?*»; «Иль заяц трусливый / Мой путь *перебег!*».

К М... *(«Вы милы всем, вы очень скромны...»)* (с. 35).— Впервые «Отечественные записки», 1867, № 2, с. 818.

А. Д. Вельяминову (с. 36).— Впервые опубликовано в журнале «Отечественные записки», 1867, № 2, с. 500. Дружеское послание профессору Воронежской семинарии А. Д. Вельяминову. Кольцов носил ему свои стихи и пользовался его советами. «Торквата милое творение» — вероятно, поэма «Освобожденный Иерусалим» итальянского поэта Торквато Тассо (1544—1595).

К М... *(«Подобных Маше очень мало...»)* (с. 36).—Впервые— «Отечественные записки», 1867, № 2, с. 818.

К подруге моей юности (с. 36).— Впервые — «Отечественные записки», 1867, № 2, с. 819.

Песня *(«Очи, очи голубые...»)* (с. 37).— Впервые — Изд. 1846, с. VII. По замечанию В. Г. Белинского, такие стихотворения «составляют переход от подражательных опытов Кольцова к его настоящему роду — русской песне» (В. Г. Белинский, т. IX, с. 526). Поэт еще пользуется стилем романтических элегий, тем стилем, который воспроизведен А. С. Пушкиным в элегии Ленского («Евгений Онегин»). Ср. у А. С. Пушкина «Весны моей златые дни» — у Кольцова «Дни моей златой весны».

Песня *(«Увижу ль я девушку...»)* (с. 38).— Впервые — «Отечественные записки», 1867, № 2, с. 821. Поэт ищет в фоль-

клоре стилистические средства, способные обновить избитый литературный стиль. Тема сиротства красной девицы типична для устной народной лирики.

Терем (с. 38).— Впервые — Изд. 1846, с. XIII. Разработка темы песенного фольклора. Поэт рифмует «стоит» и «ходить», «говорит» и «жить» по воронежскому диалектному звучанию формы 3-го лица единственного числа.

Люди добрые, скажите (с. 39).— Впервые — Изд. 1835, с. 12. В. Г. Белинский считал это стихотворение лучшим в раннем творчестве Кольцова: «...что составляет цвет и венец его поэзии, это те стихотворения, в которых он изливает свое тихое и безотрадное горе любви». (В. Г. Белинский, т. 1, с. 389).

Маленькому брату (с. 40).— Другие названия: «К брату», «Приветствие брату». Впервые — Изд. 1835, с. 29. *Слепая Фортуна* — римская богиня счастья, случая, судьбы и удачи, изображалась с повязкой на глазах (символика изменчивости счастья).

Письмо к Д. А. Кашкину (с. 40).— Впервые опубликовано в журнале «Отечественные записки», 1867, № 2, с. 822. *Парнас* — в греческой мифологии место обитания бога поэзии Аполлона и муз — богинь поэзии, искусства. *Подруга воздушная* — муза.

Сестре (с. 41).— Впервые — Изд. 1835, с. 7. Посвящено сестре — Анне Васильевне.

«Пишу не для мгновенной славы...» (с. 42).— Другое название — «Эпиграф». Впервые опубликовано в журнале «Отечественные записки», 1867, № 2, с. 810. В рукописной тетради, включившей ранние поэтические опыты Кольцова, эти стихи предпосылались остальным. В ранней редакции был дополнительный стих, позднее устраненный: «Не для блистательных честей» (шел за первым). Ранняя редакция датирована Кольцовым 14 декабря 1827 года.

Мещанская любовь (с. 42).— Впервые в журнале «Отечественные записки», 1867, № 2, с. 823.

А. П. Сребрянскому (с. 43).— Впервые — Изд. 1846, с. XLV. В черновой рукописи стихотворение носит другое название «Посвящение Дмитрию Антоновичу Кашкину» (см. о нем в примечании к стихотворению «На отъезд Д. А. Кашкина в Одессу») и начинается по-другому: «Тебе, бесценной, милой друг / Я посвящаю мой досуг...». *А. П. Сребрянский* — друг Кольцова, воронежский семинарист, а потом — студент Московской медико-хирургической академии, автор песни «Быстры, как волны, дни нашей жизни».

Приди ко мне (с. 43).— Впервые — «Листки из записной книжки Василия Сухачева», М., 1830, с. 11. *Зефир* — в греческих мифах олицетворение западного ветра, поэтическая условность в современной лирике.

«По-над Доном сад цветет...» (с. 44).— Впервые — Изд. 1846, с. XVI. Близость стихотворения песенному фольклору сочетается со следованием образцам сентиментальной лирики XVIII — начала XIX в. Двойственная стилевая природа стихотворения объясняет, почему музыку к стихотворению писал как салонный А. И. Дюбюк, так и самобытный М. П. Мусоргский, следовавший традициям народной песни.

Разуверение (с. 45).— Другие названия: «Встреча с опытом», «Знакомство с опытом», «Отшельник».— Впервые — «Листки из записной книжки Василия Сухачева», М., 1830, с. 5. В другой редакции — «Литературная газета», 1841, № 5, 11 января.

«Не мне внимать напев волшебный...» (с. 46).— Другое название «Песня». Впервые — в «Листках из записной книжки Василия Сухачева», с. 13. *Филомела* — в условном поэтическом языке соловей.

Мщение (с. 46).— Впервые — «Листки из записной книжки Василия Сухачева», с. 15. В стихотворении видят подражание стихам И. И. Козлова (1779—1840) («Чернец»).

Песнь русалки (с. 47).— Впервые — «Отечественные записки», 1867, № 2, с. 821, без указания даты. Датируется по месту нахождения в рукописи.

Повесть моей любви (с. 48).— Впервые — «Отечественные записи», 1867, № 2, с. 819. *Гребовать* — гнушаться, пренебрегать.

Молодой чете (с. 51).— Впервые — «Отечественные записки», 1867, № 2, с. 824. Написано по случаю выхода замуж сестры поэта Анны Васильевны, по мужу Золотаревой.

Последние стихи (с. 52).— Впервые—Изд. 1936, с. 192.

«О, не кажи улыбки страстной!..» (с. 52).— Другие названия: «Послание С... З...», «К С. З.» Впервые — Изд. 1846, с. XXI.

Песня (*«Утратив то, что было мило...»*) (с. 52).— Впервые — «Санкт-Петербургские ведомости», 1864, № 141, 26 июня и с разночтениями — «Отечественные записки», 1867, № 2, с. 824. В стихотворении отчетливо и сильно передан душевный порыв: «За нежный поцелуй, за встречу, /За блеск приветливых очей,/ За жар любви, за звук речей / Я б голову понес на сечу». В письме к А. А. Краевскому от 13 марта 1837 года Кольцов переделал последнее четверостишие в стихотворный отклик на

гибель А. С. Пушкина: «О, лейтесь, лейтесь же ручьями / Вы, слезы горькие из глаз; / Нет больше Пушкина меж нами,—/Бессмертный Пушкин наш угас!».

Триолет (с. 53).— Впервые — Изд. 1936, с. 194. Триолет — восьмистишие, в котором первый и второй стихи повторяются как седьмой и восьмой и, кроме того, четвертый стих повторяет первый. Триолет во времена Кольцова был сравнительно новой формой стиха. Кольцов мастерски пользуется приемом повтора.

К другу (с. 53).— Впервые — Изд. 1835, с. 35.

К N... (с. 54).— Другие названия: «К ней», «Послание к А-вой». Впервые — «Листок», 1831, № 42. Посвящено Елизавете Григорьевне Огарковой (Агарковой). См. примечания к «Посланию В. Г. О.».

В альбом N N (с. 55).— Впервые — Изд. 1936, с. 194. «Как Серафим без крыл»: в христианской мифологии серафим — шестикрылый ангел, высшего чина.

Послание Н... П... (с. 55).— Другое название — К***. Впервые — «Нива». Ежемесячные литературные приложения, 1895, № 6, с. 201.

Неизменимость (с. 56).— Впервые — Изд. 1936, с. 194.

Элегия (с. 57).— Впервые — «Отечественные записки», 1867, № 2, с. 825.

Совет старца (с. 58).—Впервые — Изд. 1835, с. 40. Ритмика предвосхищает лучшие стихи поэта, их типичный интонационно-речевой строй: «Много ль раз долинушку / Убирает зеленью, / Муравою бархатной, / Порчой раззолоченной?».

К Ж... (с. 58).— Другое название: «К ней же». Впервые — «Нива». Ежемесячные литературные приложения, 1895, № 6, с. 198.

Вечер (с. 59).— Впервые «Нива». Ежемесячные литературные приложения, 1895, № 6, с. 196. *Горѐ* — вверх, ввысь к небу.

Земное счастие (с. 60).— Впервые «Нива». Ежемесячные литературные приложения, 1895, № 6, с. 205.

Первая любовь (с. 61).— Другое название «Любовь души». Впервые — Изд. 1835, с. 17. Посвящено первой любимой Кольцова (см. примечание к «Песне» *(«Если встречусь с тобой...»)*.

Мука (с. 62).— Другое название: «Печаль сердца». Впервые — «Нива». Ежемесячные литературные приложения, 1895, № 6, с. 206.

Сирота *(«Когда мне шел двадцатый год...»)* (с. 62).—Впервые — в журнале «Нива». Ежемесячные литературные приложе-

ния, 1895, с. 209. Другие названия: «Нищий», «Сирота-поселянин». Кольцов внес в стихотворение подлинные приметы быта: «Два года не рожался хлеб», «Кошары опустели». *Кошара* — загон для овец, вообще — стойло.

Песня (*«На что ты, сердце нежное...»*) (с. 63).— Впервые — «Нива». Ежемесячные литературные приложения, 1895, № 6, с. 207.

Кольцо (с. 64).— Впервые — «Литературная газета», 1831, № 34, с. 277. В иной редакции — в альманахе «Утренняя заря», СПб, 1839, с. 32. Другие названия: «Перстень», «Русская песня». Первое стихотворение, опубликованное с именем Кольцова. Публикация сопровождалась небольшой заметкой Н. В. Станкевича о «самородном поэте» из Воронежа. Белинский считал, что в «Кольце», как и в других стихах этого времени, выразилась «вся оригинальность» таланта поэта, хотя и отметил недостаток «зрелости мысли» (В. Г. Белинский, т. IX, с. 526). На слова этого стихотворения многократно писалась музыка: П. П. Булахов, А. Л. Гурилев, А. С. Даргомыжский и др.

Сельская пирушка (с. 65).— Впервые — Изд. 1835 года, с. 26. Другие названия: «Пирушка», «Пирушка русских поселян», «Крестьянская пирушка». По предположению профессора Киевского университета П. В. Владимирова, на мысль воспроизвести светлую сторону крестьянского быта Кольцова могла навести «Сельская поэма» Ф. Н. Слепушкина (1783—1848). Слепушкин напечатал «Досуги сельского жителя» (1826), а в дальнейшем и другие стихи, в которых преобладали фольклорно-этнографические мотивы. Стихотворение Кольцова следует в типе образности за предметно-вещественной эстетикой фольклора: «ворота тесовы», «светла горенка», «дубовые столы», «сосновые скамьи», «брага хмельная» и др. Соблюдение хореического размера сочетается с передачей особенностей народно-поэтического стиха в начале и особенно в окончании четных стихов. Стихотворение положено на музыку М. П. Мусоргским, Н. А. Римским-Корсаковым, М. М. Ипполитовым-Ивановым и др.

Песня старика (с. 66).— Впервые — газета «Молва», 1835, № 11, с. 170. Другие названия: «К молодости», «Песня». Фольклорный стиль песни выразился во всем строе стихотворения: в переносах из строки в строку: «Оседлаю коня / Коня быстрова», в подборе уточняющих друг друга синонимов: «догоню, ворочу», «приберусь и явлюсь», в повторении близких по значению предлогов: «Чрез поля, за моря / В дальню сторону...»

Стихотворение положено на музыку А. Е. Варламовым, М. А. Балакиревым и др., стало народной песней.

Вздох на могиле Веневитинова (с. 66).— Впервые — «Листок», 1831. № 22, 25 марта. Д. В. Веневитинов — поэт-романтик. Кольцов был знаком с братом поэта А. В. Веневитиновым и состоял с ним в переписке. Н. Г. Чернышевский писал о безвременно скончавшемся поэте: «Проживи Веневитинов хотя бы десятью годами более — он на целые десятки лет двинул бы вперед нашу литературу...» (Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. II, М., Гослитиздат, 1949, с. 926).

Веселый час (с. 67).— Впервые — Изд. 1846, с. XVIII. Исследователи усматривают в этом «анакреонтическом» стихотворении влияние лицейской лирики А. С. Пушкина («Заздравный кубок»). Стихотворение Пушкина было опубликовано в альманахе «Памятник отечественных муз на 1827 год», откуда и могло стать известным Кольцову.

Что значу я? (с. 67) — Впервые — Изд. 1846, с. XIX.

Утешение *(«Как жаль, что счастия звезда...»)* (с. 68).— Впервые — Изд. 1846, с. XX. В стиле стихотворного послания ощутимо влияние народной разговорной речи: «Беда — глупа, взведет на счастье»; «Все постоянно — лишь за морем».

К реке Гайдари (с. 68).— Впервые — Изд. 1846, с. XVII. Гайдарь — река в Воронежском крае.

Утешение *(«Внимай, мой друг, как здесь прелестно...»)* (с. 69).— Впервые — «Нива». Ежемесячные литературные приложения, 1895, № 6, с. 197. Другие названия: «К другу», «Утешение. Послание другу». Исследователь творчества Кольцова А. И. Лященко предполагал, что название «К другу» было дано А. П. Сребрянским. «Это стихотворение,— писал А. И. Лященко,— близко напоминает стихотворные опыты Сребрянского, отличающиеся меланхолическим настроением» (ПСС, с. 356).

Песня пахаря (с. 71).— Впервые — «Молва», 1835, № 11, с. 171. Стихотворение было широко известно в народе благодаря лубочным листам и школьным хрестоматиям. «Песню пахаря» Н. А. Добролюбов причислял к лучшим стихотворениям поэта. По словам критика, у Кольцова во всем видно «живое, положительное направление»: это «забота о вещественных средствах жизни». Труд понимался поэтом как источник радости и предмет всех забот крестьянина (см. Н. А. Добролюбов. Полн. собр. соч., в 6-ти томах, т. 1, М., 1934, с. 154—155).

«Мой друг, мой ангел милый...» (с. 72).— Другое название: «Послание к***». Впервые — «Листок», 1831, № 39, 20 мая.

Соловей (с. 73).— Впервые — Изд. 1846, с. XXIV. Подражание стихотворению А. С. Пушкина «Соловей и роза» (1827). Стихотворение положено на музыку: А. Л. Гурилевым, А. Г. Рубинштейном, Н. А. Римским-Корсаковым, А. К. Глазуновым и другими композиторами.

Видение наяды (с. 73).— Другое название: «Наяда». Впервые — Изд. 1835, с. 22. *Наяда* — нимфа вод, божество в греческой мифологии. Наяд связывали с пением и поэзией. Журчание и шум вод воспринимались как их говор. Наяды — вдохновительницы поэтов древнего и нового времени.

Домик лесника (с. 75).— Впервые — «Библиотека для чтения». 1836, № 1, с. 8. Другое название — «Сельские картины» (общий заголовок с «Ночлегом чумаков»).

Исступление (*«Духи неба, дайте мне...)* (с. 76).— Впервые — «Библиотека для чтения», 1836, № 1, с. 9.

Песня (*«Ты не пой, соловей...»)* (с. 77).— Впервые — Изд. 1835, с. 15. Открывает ряд безукоризненных созданий Кольцова. Душевное движение воспроизводится со всей истинностью и в ясных художественных формах. Песенный строй стиха легок и послушно следует за развитием лирического чувства. Композиция стройна, нередко в конце наблюдается возвращение к начальной строфе (так называемая «кольцевая» композиция). Поэтический стиль отмечен близостью к фольклору: «Сохну, вяну я, /Что трава в степи / Перед осенью». «Среди дня без огня / Ходит солнышко». Многократно перекладывалось на музыку А. Е. Варламовым, А. Л. Гурилевым, А. Г. Рубинштейном, польским композитором Станиславом Монюшко и др.

Размышление поселянина (с. 77).— Впервые — Изд. 1835, с. 32. «За́дной головою / Ничего не знают» — *Задняя голова* — то же, что задний ум, слово, т. е. соображение, пришедшее после того, как дело свершилось. *Згад* — дума.

Поэт и няня (с. 79).— Впервые — Изд. 1846, с. XXIX. *Гу́торить* — говорить, рассказывать.

Удалец (с. 80).— Впервые — Изд. 1835, с. 8 (с пропуском трех строф): полностью — «Сын Отечества», 1836, № 13, с. 319. В. Г. Белинский писал о том, что в стихотворении дана воля юному чувству, «которое просится наружу, выражается широко и раздольно и которое составляет основу русского характера, когда он, как говорится, *расходится»* (В. Г. Белинский, т. 1, с. 388). Цензура не пропустила стихи: «Оберу купца,/ Убью барина». Они были заменены стихами: «Оберу купца,/ Убью встречнова / Мужика-глупца / За железный грош!». *Чекмень* — кафтан.

Великая тайна (с. 81).— Впервые — «Телескоп», 1835, ч. 26, с. 495 и Изд. 1835, с. 10. Написано под влиянием обсуждения философских вопросов в кружке Н. В. Станкевича. В. Г. Белинский писал о стихотворении: «Это дума Шиллера, переданная русским простолюдином, с русской отчетливостью, ясностью и с простодушием младенческого ума» (В. Г. Белинский, т. 1, с. 388).

Не шуми ты, рожь (с. 82).— Впервые — Изд. 1835, с. 18. Написано на смерть крепостной девушки, увезенной из дома Кольцовых в далекую донскую станицу.

Урожай (с. 83).— Впервые — «Современник», 1836, № 2, с. 189. *Гужо́м* (выехать) — вереницей, друг за другом. *Дре́мит колосом* — клонится. *Ло́снится* (рожь) — под ветром склонившаяся рожь отливает блеском, блестит. «От возов всю ночь / Скрыпит музыка».— Поэт воспользовался образами и стилем народных загадок: ср. загадку про телегу со снопами ржи «Скрыпит скрыпица — едет царица...» (Садовников Д. Н. Загадки русского народа. М., 1960, № 1287); «На гумнах везде, /Как князья, скирды/ Широко сидят, /Подняв головы» — В загадках среднерусских краев повсеместно скирды уподоблены князьям (см. указ. работу № 1311 и др.).

Глаза (с. 86).— Впервые — «Сборник на 1838 год», СПб., с. 273. Типичный образец романсовой лирики в творчестве Кольцова. Многие композиторы XIX века писали музыку к этому стихотворению.

Человек (с. 89).— Впервые — «Литературная газета», 1841, № 3, 7 января. Занятый торговыми делами, Кольцов писал В. Г. Белинскому: «Раз как-то толкнулось стишка четыре в письме к Михайле Александровичу Бакунину... Вот посмотрите: если хороша, годится — возьмите; а нет,— так и быть» (27 июля 1838).

Женитьба Павла (с. 90).— Впервые — Изд. 1846, с. XXXI. *Кассандриха, касандрейка* (александрейка) — красная бумажная ткань с полосами другого цвета, шла на рубахи. *Китаечка* — китайка, легкая простая бумажная ткань. *Конец* — штука, условная единица у торговцев. *Золоченый венец* — девичья повязка, головная лента. *Сам-третей* — втроем, самтретьим (две лошади, возница — третьим). *Разгорившись казной* — от «разгораться» чем-либо, в Воронежском крае означало «разжиться».

Молодая жница (с. 90).— Впервые — Изд. 1846, с. 20. Одно из лучших стихотворений поэта, высоко оцененное В. Г. Белинским. Черновики свидетельствуют об упорной работе Коль-

цова над композицией стихотворения. После первых трех четверостиший в первоначальной редакции следовали четверостишия, которые затем легли в основу другого стихотворения — «Грусть девушки» (1840). Музыку к стихотворению написали А. Е. Варламов, А. Л. Гурилев и др.

Косарь (с. 92).— Впервые — «Телескоп», 1836, ч. 28, с. 295. Написано в форме размышления: раздумье переходит в сожаление, которое сменяется негодованием, надеждой, уверенностью в удаче. Соответственно меняется интонационно-речевой строй. Энергия чувства запечатлена в выразительных императивно-повелительных формах: «Раззудись, плечо! / Размахнись, рука! / Ты пахни в лицо, / Ветер с полудня».

Неразгаданная истина (с. 95).— Впервые — «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1838, № 15, с. 289.

Умолкший поэт (с. 96).—Впервые — «Отечественные записки», 1840, № 2, с. 142. *Горний мир* — высший, духовный, небесный. *Вакханка* — жрица Вакха, бога вина и веселья.

Великое слово (с. 97).— Другое название — «Великая истина». Впервые — «Современник», 1838, т. 11, с. 197. Дума посвящена В. А. Жуковскому, ценившему поэтический дар Кольцова. В письме А. А. Краевскому от 27 ноября 1836 года Кольцов сам объяснил смысл своего стихотворения. *Эдем* — рай.

Молитва (с. 99).— Другое название — «Слеза молитвы». Впервые — «Сборник на 1838 год». СПб, с. 287.

Могила (с. 100).— Впервые — «Московский наблюдатель», 1838, № 4, кн. 2, с. 569.

Цветок (с. 101).— Впервые — «Сын Отечества», 1838, № 2, с. 22. Заметно некоторое сходство со стихотворением В. А. Жуковского «Мотылек и цветы» (1824), но оно лишь в частностях. У Жуковского: «Поляны мирной украшение, / Благоуханные цветы»,— у Кольцова: «Природы милое творение, / Цветок, долины украшение» и проч.

Перстень (с. 101).— Впервые — «Отечественные записки», 1841, № 4, с. 282. Другое название — «Песня». Возможно, на фактуру стиха повлиял А. С. Пушкин «Сказкой о мертвой царевне и семи богатырях», незадолго до этого напечатанной в журнале «Библиотека для чтения» (1834).

Раздумье селянина (с. 103).— Впервые — «Московский наблюдатель», 1838, № 4, кн. 2, с. 565. Другое название «Русская песня».— Одно из самых совершенных стихотворений поэта. Во второй половине XIX — начале XX в. было положено

на музыку и получило распространение благодаря ряду массовых изданий, неизменно включавших «Раздумье селянина».

Ура! (с. 104).— Впервые — «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1838, № 10, с. 189. В письме 14 февраля 1838 года Кольцов сообщил В. Г. Белинскому, что отдал стихотворение В. А. Жуковскому и что тот «ничего» не сказал.

Горькая доля (с. 105).— Впервые «Сын Отечества», 1838, № 2, с. 99. Другое название — «Грусть удалова». Положенное на музыку А. Е. Варламовым, П. П. Булаховым и другими композиторами, стало массовой песней.

Два прощания (с. 106).— Впервые — «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1838, № 25, с. 486.

Вопрос (с. 107).— Впервые — «Московский наблюдатель», 1838, № 3, кн. 2, с. 274. В. Г. Белинский находил эту думу прекрасной в той части, где Кольцов задавался вопросом, но не там, где предлагал решение (В. Г. Белинский, т. IX, с. 538).

Человеческая мудрость (с. 109).— Впервые — «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1838, № 13, с. 248.

Божий мир (с. 110).— Другие названия: «Кольцо вечности», «Мир божий». Впервые — «Отечественные записки», 1840, № 8, с. 149.

Пора любви (с. 111).— Впервые — «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1838, № 22, с. 426. Кольцов писал В. Г. Белинскому 15 июля 1838 года о своей поездке в степь: «Как она хороша показалась! И я с восторгом пел «Пора любви»,— она к им идет...». «Нельзя никак — жди череда» — в старину был обычай не отдавать замуж меньшей дочери прежде старшей, иначе бы старшую не стали бы сватать другие. *Присуха* — присушка, заговор.

Лес (*«Что, дремучий лес...»*) (с. 113).— Впервые — «Сын Отечества», 1838, № 3, с. 17. По словам В. Г. Белинского, стихотворение — «...род аллегории, совершенно оригинальный и насквозь проникнутый поэзиею» (В. Г. Белинский, т. IX, с. 702). Первым откликом Кольцова на гибель А. С. Пушкина было письмо от 13 марта 1837 года к А. А. Краевскому. *Бова-силач* — герой богатырских сказок.

Первая песня Лихача Кудрявича (с. 115).— Впервые — альманах «Утренняя заря», 1839, с. 195. Эта и «Вторая песня Лихача Кудрявича» отнесены В. Г. Белинским «к числу замечательнейших произведений русской поэзии»: «...лучшие его (Кольцова.— В. А.) песни представляют собою изумительное богатство самых роскошных, самых оригинальных образов в выс-

шей степени *русской* поэзии... Где, у кого, кроме Кольцова, найдете вы такие обороты, выражения и образы, какими, например, усыпаны, так сказать, две песни «Лихача Кудрявича» (В. Г. Белинский, т. IX, с. 536, 537). В стихах поэта в слегка измененном виде воспроизведены: пословица «Не родись богатым, а родись счастливым», поговорка «По щучьему велению». Многие речевые обороты: «В один миг поспело», «Медом речи льются», «Не под шапку горе...» и другие — взяты из обиходной речи.

Вторая песня Лихача Кудрявича (с. 117).— Впервые — альманах «Утренняя заря», 1839, с. 197. Объединяется замыслом с первой — по этой причине в письме к А. А. Краевскому от 15 декабря 1837 года Кольцов говорит о «Песнях Кудрявича». В отличие от «Первой песни» во «Второй песне» разработана не тема счастья и удачи, а горя и горестной судьбы. Черновые рукописи свидетельствуют о намерении сделать вторую песню первой, а первую — «другой» — второй, при одинаковом начале: «С радости — веселья / Хмелем кудри вьются...» «Вторая песня», как и «Первая песня», изобилует пословицами, поговорками, обиходными выражениями, соответствующими лирической теме — размышлению о бедах, горе: «Век прожить — не поле / Пройти за сохою»... и проч.

Две жизни (с. 118).— Впервые — «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1838, № 13, с. 248.

Царство мысли (с. 119).— Впервые — «Современник», 1838, т. 9, с. 139. Исследователи указали на отражение в этом стихотворении идей «Литературных мечтаний» В. Г. Белинского («Вопросы философии и психологии», 1893, ноябрь, кн. 20, с. 109; «Русский филологический вестник», 1910, № 1, с. 178—179).

Измена суженой (с. 121).— Впервые — «Московский наблюдатель», 1838, № 7, с. 387. Другое название — «Песня». В. Г. Белинский писал об этом стихотворении: «...где идет дело о горе и отчаянии русского человека,— там поэзия Кольцова доходит до высокого, там обнаруживает она страшную силу выражения, поразительное могущество образов... И какая вместе с тем сила духа и воли в самом отчаянии...» (В. Г. Белинский, т. IX, с. 534.

К милой (с. 122).— Впервые — «Московский наблюдатель», 1838, № 3, кн. 2, с. 204 и «Современник», 1838, т. 12, с. 92.

Песня *(«Ах, зачем меня...»)* (с. 123).— Впервые — «Московский наблюдатель», 1838, № 5, кн. 2, с. 215. Другое название — «Русская песня». В черновой редакции после первой стро-

фы шли две позднее изъятые строфы: «Хорошо глядеть / На цветистой сад, / Хорошо гулять / Летом по полю»; «Каково ж смотреть /На немилова,/ Целый век с ним жить,/ Мукой мучиться?».

Последний поцелуй (с. 124).— Впервые — «Отечественные записки», 1839, № 3, с. 275. Стало распространенным романсом (музыка М. А. Балакирева).

Деревенская беда (с. 125).— Впервые — «Московский наблюдатель», 1839, № 1, с. 9. Другие названия: «Сельская беда», «Русская песня». Один из первых опытов разработки острого балладного сюжета. Ср. «Хуторок», «Бегство», «Ночь». *Альни* — даже, так что (диал.). *Загуменье* — место за гумном; *гумно* — где молотят и ставят в клади хлеб.

Примирение (с. 127).— Впервые — «Московский наблюдатель», 1838, № 8, кн. I, с. 302, в другой редакции — «Современник», 1841, т. 21, с. 228.

Мир музыки (с. 128).— Впервые — «Московский наблюдатель», 1839, № 1, с. 31. Другое название — «Концерт». В доме В. П. Боткина, литературного и музыкального критика, Кольцов слушал пианиста и композитора Л. Ф. Лангера. 15 августа 1840 года поэт писал В. Г. Белинскому, жалуясь на скудость культурной жизни в Воронеже: «А еще большой недостаток, что негде у нас мне слушать хорошую музыку. Я до сих пор помню Лангера и тот вечер, и никогда его не забуду». Музыка производила необычайно сильное впечатление на Кольцова с его врожденным песенным даром.

Русская песня (*«В поле ветер веет...»*) (с. 128).— Впервые — «Московский наблюдатель», 1839, № 1, с. 26. Встречи с В. Г. Белинским, общение с московскими друзьями вселяли в поэта бодрость. Это состояние хорошо запечатлено в песне, написанной незадолго до отъезда из Москвы. Поиск счастливой доли — обычная тема народных песен, с которыми перекликается стихотворение.

Последняя борьба (с. 129).— Впервые — «Отечественные записки», 1841, № 9, с. 160. Кольцов признавался В. Г. Белинскому, что его стихотворение навеяно А. С. Пушкиным. «Не спорю,— писал Кольцов,— но в ней («Последней борьбе».— В. А.) своя форма, свои следствия битвы» (28 сентября 1839 г.). В черновых редакциях зависимость от стихотворения Пушкина «Предчувствие» (1828) еще очевиднее — у Пушкина: «Снова тучи надо мною» — у Кольцова: «Те же бури надо мною».

С т е н ь к а Р а з и н (с. 130).— Впервые — «Отечественные записки», 1840, № 8, с. 147. Другое название — «Песня разбойника», «Сенька Разин». Посвящена памяти А. П. Сребрянского, умершего в августе того же года (см. о нем в примечании к стихотворению «А. П. Сребрянскому»). Поэт объединил в Разине историческое лицо и тип удалого молодца из народных песен. Музыку к словам Кольцова написали М. А. Балакирев, Л. Д. Малашкин и др. Песня бытовала как народная.

Б е д н ы й п р и з н а к (с. 131).— Впервые — «Отечественные записки», 1841, № 5, с. 132. Другое название — «Такая жизнь». По просьбе поэта В. Г. Белинский правил стихотворение и дал совет «переделать», отметив удачные строки: «Судьба карает день и ночь»; «И «нету дома» говорят».

Б е г с т в о (с. 132).— Впервые — «Современник», 1839, т. 14, с. 159. «Поле чистое дрогнет» — поле стынет, холодно. Разработан острый антикрепостнический сюжет. Стихотворение напоминает народные «разбойные» песни.

Т о в а р и щ у (с. 133).— Впервые — Изд. 1846, с. XXXIX. Другое название — «Старому товарищу». Отражает жизненные будни поэта: «Дома я один, дел много: покупаю свиней, становлю на винный завод на барду; в роще рублю дрова; осенью пахал землю; на скорую руку езжу в селы; дома по делам хлопочу с зари до полночи» (письмо к А. А. Краевскому от 17 ноября 1836 г.).

Я д о м а (с. 135).— Впервые — «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 2 сентября 1839 года, № 9, с. 170.

П е р е д о б р а з о м с п а с и т е л я (с. 136).— Другое название: «Дума перед образом спасителя». Впервые — Изд. 1846, с. 98.

П у т ь (с. 136).— Впервые — «Отечественные записки», 1839, № 6, с. 81. Навеяно тягостными обстоятельствами жизни в Воронеже. Друзья уговаривали Кольцова ехать на жительство в столицу, но разные причины — и важнейшая, денежные долги — держали поэта на месте (письмо к В. Г. Белинскому, май 1839 г.).

Г о р е (с. 137).— Впервые — «Русская старина», 1916, № 1, с. 86. Темой, образностью и стилем стихотворение обязано народным песням.

П е с н я (*«В непогоду ветер...»*) (с. 138).— Впервые — «Отечественные записки», 1840, № 7, с. 48. Печаль, под тяжестью которой сгибается человек, и порыв к свободе стали преобладающими в стихах Кольцова последних лет. Стихотворение мно-

гократно перелагалось на музыку (А. Е. Варламов, П. П. Булахов и др.) и стало народной песней.

Тоска по воле (с. 139).— Впервые — «Отечественные записки», 1841, № 2, с. 272. О стихотворной строке «Гой ты, сила пододонная!» Кольцов писал В. Г. Белинскому: «...старое слово я поставил: «гой», но оно хорошо, кажется, стоит; с ним «пододонная» — этак говорится по-русски про ад» (28 сентября 1839 г.).

Хуторок (с. 140).— Впервые — «Отечественные записки», 1840, № 1, с. 82. В вариантах подзаголовок «Русская баллада». Едва ли не самое известное стихотворение поэта. Неизменно включалось в песенники, существуют народные переделки стихотворения. Музыка писалась композиторами: А. И. Дюбюком, С. Н. Нагаевым и др. Наиболее известная мелодия, по-видимому, фольклорного происхождения. Тема решена в духе народных баллад с их «недоговоренностью»: оставлен простор для воображения.

К *** (*«Ты в путь иной отправилась одна...»*) (с. 143).— Впервые — Изд. 1846, с. XLI. Стихотворение посвящено Варваре Григорьевне Огарковой. Поэт был знаком с нею задолго до страстного увлечения ею весной 1841 года. Огарковой-Лебедевой посвящено одно из ранних стихотворений («Послание В. Г. О.», 1829), в котором поэт называет ее «соперницей Венеры» и «гением» своих «неловких песнопений». Неоднократны упоминания о ней в письмах поэта 1841 года (сестре А. В. Кольцовой и В. Г. Белинскому). В. Г. Белинскому Кольцов писал: «Порадуйтесь моей радости: на томительном полдне моей жизни засветила наконец и для меня звезда блаженства» (1 марта 1841 г.). Поэт остался верен чувству, выраженному в настоящем послании: «Но я решился, я пойду / И до конца тебя не брошу...».

«Не разливай волшебных звуков!..» (с. 144).— Впервые — «Отечественные записки», 1841, № 4, с. 263.

«Что ты спишь, мужичок?» (с. 144).— Впервые — «Отечественные записки», 1841, № 1, с. 155. Первоначальные названия: «Земляку», «К соне-земляку», «Ленивцу», «Русачку-землячку (мужичку)» либо сусальны, либо неточны в определении причин бездействия бедняка и были отвергнуты поэтом. Сочувствие крестьянской беде сделало стихотворение широко известным. К нему была написана музыка В. И. Ребиковым и др. *Прясло* — изгородь, ее часть.

Русская песня (*«Говорил мне друг, прощаючись...»*) (с. 146).— Впервые — «Отечественные записки», 1840, № 4, с. 212. Написано в пору тягостных раздумий о положении в семье отца.

Лес («О чем шумит сосновый лес?») (с. 147).— Впервые — «Отечественные записки», 1840, № 12, с. 114. Посылая думу В. А. Жуковскому, Кольцов 1 декабря 1839 года писал: «... если вам понравится, хотел бы посвятить вашему имени». Раннюю редакцию поэт правил, пользуясь советами В. Г. Белинского (письмо от 15 августа 1840).

Русская песня («Без ума, без разума...») (с. 147).— Впервые — «Отечественные записки», 1840, № 6, с. 134. Навеяно народными песнями о горьком замужестве.

Послание (В. Г. Белинскому) (с. 148).— Впервые — «Стихотворения и письма А. В. Кольцова», под ред. А. И. Лященко, СПб, 1893, с. 98. Отражает философские интересы критика в пору увлечения системой Г. Гегеля. Кольцову было близко честное искание истины: «Воюй за правду, честь, / Умри на поле брани...».

Дума сокола (с. 151).— Впервые — «Отечественные записки», 1840, № 6, с. 131. О В. П. Боткине см. примечание к «Миру музыки». Одно из самых известных стихотворений поэта. По настроению примыкает к стихотворению «Путь».

Русская песня («Светит солнышко...») (с. 152).— Впервые — «Отечественные записки», 1840, № 5, с. 133. Сохранившиеся варианты свидетельствуют об упорной работе поэта над каждым стихом. Так, стих «Греет солнышко — / Да осенью» исправлен: «Светит солнышко...» Про осеннее солнце точнее сказать, что оно светит. Песенные образы стали самой привычной формой выражения раздумий поэта о своей судьбе.

Русская песня («Не скажу никому...») (с. 153).— Впервые — альманах «Утренняя заря», 1841, с. 9. На слова Кольцова А. С. Даргомыжским написана музыка популярного романса.

Вопль страданий (с. 154).— Впервые — Изд. 1846, с. XLII. В черновых редакциях названо: «Вопль страдания», «Последний вопль земных страданий» и просто — «Страдание». Написано в «высоком» стиле поэзии, не чуждой традиционной риторике. Кольцов предчувствовал свою скорую кончину: «Ужель во цвете лет, под тяжестью лишений, / Я должен пасть...».

Благодетелю моей родины (с. 154).— Другое название: «Благотворителю моей родины». Впервые — «Сын Отечества», 1840, № 2, с. 681. Д. Н. Бегичев — сенатор, воронежский губернатор, автор романа «Семейство Холмских».

Русская песня («Так и рвется душа...») (с. 155).— Впервые — «Отечественные записки», 1840, № 12, с. 266. 28 апреля 1840 года Кольцов писал В. Г. Белинскому о песне: «Посмот-

рите на ее конец, что-то он у меня в одном стихе заломился». Речь шла о заключительном четверостишии, позднее устраненном: «То ли дело — по нем / В хороводе грустить, / То ли дело — душой / Мила друга любить». Вариант первого стиха: «То ли дело — вдвоем», варианты второго стиха: «При дорожке грустить»; «Хороводы водить».

Разлука (с. 156).— Впервые — «Отечественные записки», 1840, № 12, с. 224. Положенное на музыку А. Л. Гурилевым, стало популярным романсом.

Русская песня (*«Не на радость, не на счастие...»*) (с. 156).— Впервые — «Отечественные записки», 1841, № 6, с. 133.

Перепутье (с. 157).— Впервые — «Отечественные записки», 1840, № 10, с. 313. Другое название — «Разгульная головка». В каком настроении писалось стихотворение, можно судить по письму Кольцова В. Г. Белинскому: «...давно бы надо было мне оставить Воронеж, тогда еще, когда мне было двадцать, а теперь и кинулся бы вдаль с голыми руками, да ба! — уж с годом тридцать, и тело что-то стало тяжело...» (15 августа 1840). В стихотворении выразились, по словам Белинского, «общие элементы, из которых слагается русский простонародный быт» (В. Г. Белинский, т. IX, с. 534). *Ботеть* — полнеть, толстеть.

Русская песня (*«Дуют ветры...»*) (с. 158).— Впервые — «Отечественные записки», 1840, № 11, с. 47. Кольцов избрал необычайно простую композицию и при несложности стихотворного размера (двухстопный хорей) сумел передать тонкие оттенки чувства, лежащего в основе поэтического изложения. На слова Кольцова писали музыку А. Г. Рубинштейн, А. Т. Гречанинов и др.

Военная песня (с. 159).— Впервые — альманах «Утренняя заря», 1842, с. 63. Посвящена поэту П. А. Вяземскому.

Всякому свой талан (с. 160).— Впервые — Изд. 1846, с. 64. Другие названия: «Свой талан», «Судьба». В одной из первоначальных редакций нет последней строфы, что существенно меняет весь смысл стихотворения.

Русская песня (*«Где вы, дни мои...»*) (с. 161).— Впервые — «Отечественные записки», 1841, № 4, с. 259.

Поэт (с. 161).— Другие названия: «Шекспир. Дума», «Проявление бога. Дума», «Бог». Впервые — Изд. 1846, с. 99. В стихотворении отразилось благоговение Кольцова перед художническим гением Шекспира.

Русская песня (*«Много есть у меня...»*) (с. 162).— Впервые — «Отечественные записки», 1841, № 3, с. 45. Искусная композиция стихотворения — одним и тем же стихом начинается

каждая из первых четырех строф; завершает стихотворение отличающаяся от них последняя строфа.

Расчет с жизнью (с. 163).— Впервые — «Отечественные записки», 1841, № 3, с. 50. Другое название — «Жалоба». Кольцов писал В. Г. Белинскому: «Жалобу» я посвятил вам потому, что в ней много сказано от души и про вас и про меня. В этой стороне нашего жития у меня с вами много схожего» (декабрь 1840 г.).

Грусть девушки (с. 164).— Впервые — «Отечественные записки», 1841, № 2, с. 158. Творческая история стихотворения связана с одной из ранних редакций «Молодой жницы» (1836): «Отчего, скажи / Мой любимый серп, / Не играешь ты / Красным солнушком» и т. д. О работе над стихотворением (изменение строф, стихов) Кольцов писал В. Г. Белинскому в декабре 1840 года.

Ночь (с. 165).— Впервые — «Отечественные записки», 1841, № 2, с. 250. Кольцов писал В. Г. Белинскому: «Ночь» — эта песня пахнет какой-то русскою балладой. Пожалуй, если я не ошибаюсь, то поставьте и «баллада» (декабрь 1840). «Ночь» и другие стихотворения привели критика в восторг. Он писал В. П. Боткину: «Каковы последние стихотворения Кольцова — а? Экой чорт — коли размахнется — так посторонись — ушибет. А «Ночь»? Да это просто — и слов нету...» (В. Г. Белинский, т. XI, с. 584).

Поминки (с. 166).— Впервые — «Отечественные записки», 1842, № 2, с. 237. Кольцов был сильно удручен безвременной кончиной Н. В. Станкевича, принимавшего живое участие в его писательской судьбе: «...прекрасная, чистая душа...» (декабрь 1840 г.).

Дума двенадцатая (с. 167).— Впервые — А. В. Кольцов. Стихотворения и думы. Полное собрание. Под ред. А. И. Введенского. Изд. 2-е, СПб, 1895, с. 95.

Доля бедняка (с. 169).— Впервые — «Отечественные записки», 1843, № 2, с. 298. Одно из самых совершенных созданий Кольцова.

Русская песня (*«Ты прости-прощай...»*) (с. 170).— Впервые — Изд. 1846, с. 74. Положено на музыку А. Г. Рубинштейном, А. К. Лядовым, А. И. Дюбюком и др.

Русская песня (*«Не весна тогда...»*) (с. 170).— Впервые — «Отечественные записки», 1842, № 1, с. 124. Песня положена на музыку А. Г. Рубинштейном, А. Ф. Гедике и др.

Звезда (с. 171).— Впервые — Изд. 1846, с. 72. Написано в пору страстного увлечения В. Г. Лебедевой (см. «К***»). Коль-

цов вспоминает свою первую любовь: см. «Песня» (*«Если встречусь с тобой...»*).

Русская песня (*«Расступитесь, леса темные...»*) (с. 171).— Впервые — «Отечественные записки», 1843, № 1, с. 71.

Сельская песня (с. 172).— Впервые — «Отечественные записки», 1843, № 1, с. 69. Другое название: «Песня».

Русская песня (*«В Александровской слободке...»*) (с. 173).— Впервые — «Русский архив», 1871, № 6, с. 250. Другое название — «Еще старая песня». Возможно, мысль написать стихотворение возникла у Кольцова после чтения лермонтовской «Песни про купца Калашникова» и статей В. Г. Белинского о народной эпической поэзии (см. письма поэта к В. Г. Белинскому от 28 сентября 1839 и 18 декабря 1841). Кольцов выразил свое отрицательное отношение к царю-ханже и святоше. О В. П. Боткине см. примечание к «Миру музыки». *Пилатить* — мучить, тиранить.

Русская песня (*«Из лесов дремучих, северных...»*) (с. 174).— Другое название: «Старая песня». Впервые — Изд. 1846, с. XLIV. Тематически примыкает к «Русской песне» (*«В Александровской слободке...»*). Кольцов следует народным историческим песням и проводит различие между деяниями царя Ивана IV в юности и в последние годы правления.

Ивану Гордеевичу Козлову (с. 174).— Впервые — «Библиографические записки», 1861, № 16, с. 497. Другое название — «Эпитафия» (подзаголовок «Экспромт»). Первоначальная публикация иронической эпитафии сопровождалась пояснением, что написана на смерть «одного господина, известного по всему Воронежу возлияниями в честь Вакха».

Жизнь (с. 174).— Впервые — Изд. 1846 с. 100. В рукописи посвящена Петру Андреевичу Вяземскому.

Из Горация (с. 175).— Впервые — «Отечественные записки», 1843, № 1, с. 211. Другое название — «Дума». В. Г. Белинский писал: «Мистическое направление Кольцова, обнаруженное им в думах, не могло бы у него долго продолжиться, если б он остался жив. Этот простой, ясный и смелый ум не мог бы долго плавать в туманах неопределенных представлений. Доказательством этому служит его превосходная дума «Не время ль нам оставить», написанная им не менее нежели за год до смерти. В ней виден решительный выход из туманов мистицизма и крутой поворот к простым созерцаниям здравого рассудка». (В. Г. Белинский, т. IX, с. 540—541).

Русская песня (*«Я любила его...»*) (с. 176).— Впервые — «Отечественные записки», 1843, № 2, с. 300. Стихотворение

написано в типичном «романсовом» стиле. Музыку писали А. Е. Варламов, М. А. Балакирев и др.

На новый 1842 год (с. 177).— Впервые — Изд. 1846, с. 77. По словам В. Г. Белинского, стихотворение имеет интерес «как скорбное предчувствие поэта — увы! — слишком верно сбывшееся...» (В. Г. Белинский, т. IX, с. 541).

Песня *(«Что он ходит за мной...»)* (с. 178).— Впервые — Изд. 1846, с. 79.

«Когда есть жизнь другая там...» (с. 179).— Впервые — ПСС, с. 100. Отмечено сомнениями поэта в существовании загробной жизни.

«Ночка темная...» (с. 179).— Впервые — «Русская старина», 1916, № 1, с. 87.

Песня *(«Нынче ночью к себе...»)* (с. 180).— Впервые — Изд. 1846, с. 80. Последнее стихотворение Кольцова.

ПИСЬМА

1. В. П. Кольцову (с. 183).

2 мая 1831 года Кольцов приехал в Москву по торговым и тяжебным делам своего отца Василия Петровича. Письмо полно подробностей, интересных отцу. Коротко знакомый с поэтом по Воронежу А. В. Станкевич, брат известного Н. В. Станкевича, писал: «У Кольцова был природный светлый и крепкий ум, и его поэтическая натура и фантазия нисколько не мешали ему ясно понимать людей и практические отношения жизни» («Литературное наследство», № 56, 1950, с. 285).

[1] Андронов, муж сестры поэта Александры Васильевны Кольцовой.

[2] Золотарев, муж сестры поэта Анны Васильевны.

[3] Либо от глагола «корячиться», то есть ломаться, упрямиться, либо от глагола «коротать», например, время, дело: в последнем случае «корочь» — намерение скорее кончить дело (В. И. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, т. II, М, 1981, с. 161, 169).

2. В. И. Гарденину (с. 184).

[1] Костянка в сорока верстах от Воронежа.

[2] Речь идет о Чижовке (Чужовке) — слободе вблизи Воронежа, слившейся теперь с городом. О деле см. у М. Де-Пуле, «А. В. Кольцов в его житейских и литературных делах и в семейной обстановке», СПб, 1878, с 103.

3. В. Г. Белинскому (с. 185).

Кольцов познакомился с критиком в Москве в свой первый приезд в 1831 году. Известны 32 письма Кольцова к Белинскому; к сожалению, письма Белинского к Кольцову не сохранились, но и по письмам Кольцова можно судить о том, как Белинский любил его, заботился о нем как о поэте и человеке, посвящал его в свои замыслы — был его учителем и наставником. Кольцов преклонялся перед Белинским, жадно читал все, что он печатал, близко к сердцу принимал все его радости и огорчения.

[1] Статья Неверова «Поэт-прасол Кольцов» была напечатана в журнале «Сын отечества» за 1836 год, № 2. Сведения о поэте Неверов получил от Н. В. Станкевича.

[2] «Косарь» был напечатан в «Телескопе» (цензурное разрешение журнала 7 марта 1836 года).

[3] Сборник «Стихотворения Алексея Кольцова. М. В типографии Н. Степанова. 1835» (цензурное разрешение 24 марта 1835 года); был издан на средства Н. В. Станкевича и др. В сборник вошли: «Песня старика» («Оседлаю коня...»), «Удалец» («Мне ли, молодцу...»), «Песня» («Ты не пой, соловей...»), «Не шуми ты, рожь», «Пирушка русских поселян» («Крестьянская пирушка»), «Песня пахаря» («Ну! тащися, сивка...») и др.— всего восемнадцать стихотворений. Белинский писал: «Первые стихотворения Кольцова печатались изредка в разных малоизвестных изданиях. Публика узнала о нем только в 1835 году, когда в Москве вышла книжка его стихотворений... Книжка имела успех, и имя Кольцова приобрело общую известность» (В. Г. Белинский, т. IX, с. 498).

[4] Белинский так прокомментировал эти строки: «Люди обыкновенно не столько наслаждаются тем, что им дано, сколько горюют о том, чего им не дано; притом они мало ценят то, что дается им без труда, и видят верх совершенства только в том, что добывается пóтом и кровью. Кольцова особенно огорчало то, что ему не давалась проза...» (В. Г. Белинский, т. IX, с. 542).

4. В. Г. Белинскому (с. 186).

[1] Кольцов просил прислать книгу своих стихотворений (см. письмо № 3).

[2] Святая неделя (пасха) в 1836 году приходилась на 29 марта — 4 апреля. Кольцов пробыл в Петербурге до начала апреля.

[3] Цензурное разрешение на выход первой книги «Современника» было дано 31 марта.

Незадолго до этого письма О. И. Сенковский напечатал в своем журнале эту драму («Библиотека для чтения», 1836, т. XV, цензурное разрешение журнала 28 февраля 1836 года), хотя перед этим резко выступил против Кукольника. Беспринципность Сенковского вызвала обличительную статью Белинского, которая появилась в «Телескопе» в мае 1836 г.

[5] Фомина неделя — первая по пасхе. Первое представление комедии Гоголя «Ревизор» состоялось 19 апреля на Александринской сцене.

5. П. А. Вяземскому (с. 187).

Поэт П. А. Вяземский в 1830—1855 годах служил в министерстве финансов и был близок к царскому двору. Кольцов познакомился с Вяземским в январе 1836 года.

6. А. А. Краевскому (с. 188).

С А. А. Краевским Кольцов познакомился зимой 1836 года. Литературный делец, опытный издатель, предвидя выгоду, старался приблизить к себе Кольцова. Переписка поэта с ним свидетельствует о постепенном охлаждении отношений.

[1] А. Я. Мешковский.

[2] «Молодая жница» не была напечатана в «Современнике».

[3] В «Телескопе» дума напечатана не была. Не взяли ее и в «Современник» (см. об этом в письмах №№ 39 и 45).

7. А. А. Краевскому (с. 189).

[1] А. Я. Мешковский.

[2] В списке содержались сведения о том, когда, в каком году, месяце и даже дне были написаны поэтом разные стихотворения. Сведения нужны были Краевскому для предполагаемого нового издания стихотворений Кольцова. Местонахождение списка в настоящее время неизвестно. М. Ф. Де-Пуле напечатал его в журнале «Древняя и Новая Россия», 1879, № 3, с неточностями (перепечатан в ПСС, с. 386).

8. А. А. Краевскому, Я. М. Неверову и В. В. Григорьеву (с. 190).

[1] А. Я. Мешковский. Кривосудов — персонаж из комедии В. Капниста «Ябеда».

[2] Первоначальная редакция стихотворения сильно отличалась от окончательной. О работе над стихотворением Кольцова см.

письмо № 12. Поэт говорит о предполагавшемся новом издании его стихотворений. «Цветок» Белинским напечатан не был.

[3] Возможно, речь идет о какой-то соленой рыбе, которой Кольцов любил угощать своих знакомых (прим. к ПСС, с. 387; см. об этом: И. И. Панаев, Литературные воспоминания, М. 1950, с. 112).

9. В. Г. Белинскому (с. 191).

[1] Дума «Неразгаданная истина».

[2] Вероятно, описка: Владимировичу.

10. В. Г. Белинскому (с. 191).

[1] Об отношении Н. В. Станкевича к Кольцову вспоминал брат первого — Александр: «Кольцов, человек и поэт, были предметом его любви» «Литературное наследство», № 56, 1950, с. 286).

[2] Издававшийся с 1831 года «Телескоп» был запрещен в октябре 1836 года за опубликование «Философического письма» Петра Яковлевича Чаадаева. Редактор Н. И. Надеждин по высочайшему повелению был выслан в Усть-Сысольск. До Воронежа дошли слухи о закрытии «Телескопа», и поэт беспокоился о судьбе Белинского. Кроме того, запрещение журнала компрометировало в глазах и мнении многих людей, особенно в провинции, и Кольцова, поскольку незадолго до этого в «Телескопе» была опубликована весьма положительная рецензия на его стихи (В. Г. Белинский, т. 1, с. 385—392).

[3] Вероятно, какая-то рыба (см. прим. 3 к письму № 8).

11. А. А. Краевскому (с. 192).

[1] То есть о предполагаемом новом издании стихотворений Кольцова.

[2] Дума «Могила» была опубликована в «Московском наблюдателе» за 1838 год, «Великая истина» под названием «Великое слово» с посвящением В. А. Жуковскому — в «Современнике» в том же 1838 году.

[3] Я. М. Неверов скорее всего был смущен широтой обобщения и прямотой суждений Кольцова: «Свобода, свобода!.. / Где ж рай твой веселый / Следы твои страшны, / Отмечены кровью / На пестрой странице / Широкой земли! / И лютое горе / Ее залило, / Ту дивную землю, / Бесславную землю!..» Поэт поясняет смысл своих суждений ссылкой на библейский рассказ о грехопадении первого человека, однако поэтическое обобщение шире такого истолкования.

[4] Стихи в «Современнике» напечатаны не были. «Слеза молитвы» впоследствии получила название «Молитва», а «Мир божий» — «Божий мир».

[5] О деле отца поэта с воронежским вице-губернатором см. в письмах №№ 5, 6, 7.

[6] В июле 1838 года Кольцов попросит не печатать стихотворения.

[7] О посещении Ф. Н. и А. П. Глинками Кольцова см. в письме № 12.

[8] О запрещении «Телескопа» см. прим. 2 к письму № 10.

13. Неизвестному лицу (с. 194).

Нет сведений, было ли это письмо отослано по назначению; одни исследователи относят его к 1836 году предположительно, усмотрев в нем отражение идей, с которыми поэт познакомился в столице (прим. к ПСС, с. 385); другие оспаривают эту датировку и считают, что оно могло появиться раньше — около 1830—1831 годов («Ученые записки Саратовского гос. университета имени Н. Г. Чернышевского», т. XX, с. 89—90).

14. А. А. Краевскому (с. 197).

[1] А. А. Краевский приобрел в аренду и реорганизовал ранее выходившие «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». А. А. Плюшар был издателем.

[2] Краевский вслед за М. Н. Погодиным отрицал виновность Бориса Годунова в убийстве царевича Дмитрия.

[3] То есть предпослать книге стихов Кольцова или статью из журнала «Сын отечества» (1836, т. 176), или из «Журнала министерства народного просвещения» (1836, № 3).

[4] Кольцов дорожил мнением Пушкина о своих стихах. Надо полагать, поэта тревожила мысль, что его новые стихи Пушкину не понравились. Он еще не знал о его гибели.

[5] От А. Я. Мешковского зависел исход дела, о котором давно хлопотал Кольцов (см. письма №№ 5, 6, 7 и др.).

[6] Одна из редакций стихотворения «Разуверение».

[7] Кольцов начал собирать пословицы, видимо, по совету А. А. Краевского. Собранная тетрадь пословиц получила у поэта название «Русские пословицы, поговорки, приречьи и присловья, собираемые Алексеем Кольцовым. Воронеж...». Дата залита чернилами и не разобрана, но здесь, вероятно, стоял 1836 год. Пословицы даны в алфавитном порядке. Записывая пословицы, Кольцов сохранял особенности народного языка и

произношения: «Дорага́ боpоздна к загону», «От яблонки далече яблочко не котится» и пр. На обороте заглавного листа тетради как бы в качестве эпиграфа находится запись: «Говори о жизни, / Говори о семействе, / Говори об отечестве, / Жизнь есть мученье, / Семейство — тиран, / Отечество — колыбель бедствий. 1836 г. Вор[оне]жский филосов С. Ярченко». Эти слова отчасти характеризуют содержание тетради. Тетрадка с пословицами, собранными Кольцовым, после его смерти была продана на толкучем рынке за пять копеек и от первого обладателя перешла к поэту И. С. Никитину, а от него — к М. Ф. Де-Пуле, который опубликовал ее в «Воронежской беседе» (1861).

[8] В бумагах Краевского были обнаружены две народные песни. Одна из них, хороводная «Ты стой, моя рощица», записана в Серпуховском уезде, Хатунской волости, Московской губернии (описание исполнения песни см. в письме Краевскому от 28 июля 1837 года — № 17). Другая — «Как у князя было, князя» — повсеместно известная песня о Ваньке-ключнике. Свои достоинства и у песни про Ваньку-ключника. Вероятно, Кольцов не был уверен в хорошем приеме народных песен у Краевского, и этим объясняется тон письма. Поэтом был составлен большой сборник песен. Он долго считался потерянным, но найден П. Д. Уховым и опубликован в «Литературном наследстве», № 79, 1968, с. 290—338. О Кольцове — собирателе песен см. статью П. Д. Ухова в журнале «Подъём» (Воронеж), 1958, № 6, а также: И. М. Колесницкая. Вступ. ст. к публикации П. Д. Ухова в указ. томе «Литературного наследства», с. 281—289.

15. А. А. Краевскому (с. 199).

[1] Сильное переживание продиктовало поэту образы и интонацию, скорее уместные в стихах, чем в прозе. Памяти Пушкина Кольцов посвятил стихотворение «Лес» («Что, дремучий лес, призадумался?..»).

[2] Измененные строки из песни Кольцова 1830 года «Утратив то, что прежде было...».

[3] В 1836 году в Петербурге появилась первая часть собрания И. П. Сахарова — так называемое «Русское народное чернокнижие»: заговоры, приметы и пр. Книга была нужна Кольцову как собирателю фольклора.

[4] Отрицательный отзыв о книге Эжена Жерюзе, историка литературы, профессора, опубликовал Н. И. Надеждин в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду» на 1837 год, 1 января, № 1, с. 7—8. В письме Я. М. Неверову Н. В. Станкевич писал: «Я хотел было написать несколько слов против пошлой

статьи Надеждина о Жерюзе (за которую мы с ним спорили здесь и потузили его, как он выражается иногда, порядком: у него едва ли есть убеждение), но не стоит и некуда!» (письмо от 11 февраля 1837 года) («Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830—1840», М. 1914). Видимо, осведомленный о споре Кольцов желал сам ознакомиться с книгой.

16. А. А. Краевскому (с. 201).

[1] См. прим. 8 к письму № 14.

[2] Вероятно, речь идет о ранее посланных анекдотах, записанных Кольцовым. В бумагах Краевского сохранялись «неудобные к печати»: 1) «Гаврила, а Гаврила», 2) «Анекдот», 3) «Цыганский анекдот» с припиской Кольцова: «И вот какие глупости слышны в народе беспрестанно» (прим. к ПСС, с. 387—388).

[3] Вероятно, речь идет о песне «Как у князя было, князя» (см. прим. 8 к письму № 14).

[4] А. М. Юдин в статье «Поэт Кольцов и его стихотворения» («Опыты в сочинениях студентов императорского Харьковского университета», т. 1, Харьков, 1846, с. 224) подтверждает истинность этого рассказа.

[5] В дневнике В. А. Жуковского есть заметка о встречах с Кольцовым: «В 5 часов с Кольцовым. Рисовал. Сад Петра. Дубовая роща»; «Кольцов у меня» («Дневники В. А. Жуковского», СПб, 1901, с. 337, 338). По воспоминаниям М. Ф. Де-Пуле, Жуковский посетил местную гимназию и в речи к учителям советовал помочь Кольцову в самообразовании.

17. А. А. Краевскому (с. 203).

[1] См. письма №№ 14 и 16.

[2] Поэт понял ценность сведений о том, как «играется» песня, как она исполняется. Мысль о необходимости точной записи слов, игрового исполнения, песенной мелодии опередила возникновение научных приемов фольклорной записи, разработанных много лет спустя.

18. А. А. Краевскому (с. 204).

[1] «В обмитку», вероятно, от украинского «обмітка» или «обметиця» — остатки муки на жерновах, в переносном значении — «напоследок». Кольцов уподобил себя неловко пляшущему медведю на привязи — «пародия медведя».

[2] То есть зимой и весной 1836 года.

[3] По весьма вероятной догадке А. И. Лященко (прим. к ПСС, с. 388), «Грусть удалова» — ранняя редакция «Горькой доли». Стихотворения с названием «Весна» у поэта не обнаружено. По теме из стихотворений 1837 года к нему ближе всего «Пора любви».

[4] Кольцов собрался в Москву, но не пишет об этом, веря народной примете: скажешь заранее — жди неудачи.

19. В. Г. Белинскому (с. 206).

[1] В январе 1838 года Кольцов приехал в Москву, а в конце месяца был уже в Петербурге. По поручению Белинского он вел переговоры с Н. А. Полевым о рукописи статьи Белинского «Гамлет, драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета», выясняя, почему Полевой, опубликовав начало статьи в «Северной пчеле», прекратил ее печатание. Оказалось, что Полевой опасался за свое непрочное, «сомнительное» положение в столице и боялся, что его покровительство Белинскому может стать опасным «даже по политическим отношениям» (письмо брату К. А. Полевому). Дело завершилось тем, что Белинский взял свою рукопись и напечатал ее в «Московском наблюдателе» (март — апрель 1838 года).

[2] «Гамлет» шел на московской сцене в переводе Н. А. Полевого.

[3] О нежелательности приезда Белинского в Петербург Полевой писал в письме Белинскому в декабре 1837 года (см. «Белинский и его корреспонденты». Сб. отдела рукописей Гос. публ. библиотеки СССР имени В. И. Ленина, М. 1848, с. 255—256).

[4] К 1837 году определился переход Полевого в лагерь реакции, вот почему в разговоре с Кольцовым он осудил свои прежние взгляды.

[5] В этот приезд в Москву Кольцов познакомился с М. А. Бакуниным.

20. В. Г. Белинскому (с. 209).

[1] Алексей Гаврилович Венецианов, замечательный художник, был сыном торговца. Его картины «Гумно», «Утро помещицы», «На пашне. Весна», «На жатве. Лето» и другие поэтизируют быт и труд крестьянина. Поэзия Кольцова перекликается с некоторыми мотивами его творчества.

[2] Незадолго до юбилея Крылов в басне «Кукушка и Петух» ядовито высмеял неумеренный тон похвал, которыми в журналах обменивались Греч и Булгарин. Сенковского, как редактора «Библиотеки для чтения», не могла не задеть эпиграмма Крыло-

ва на помещенные в журнале стихи М. Д. Деларю «Красавице. Из Виктора Гюго». В стихах говорилось, что, если бы поэт был царем, то поверг бы к ногам любимой свою корону и порфиру, а если бы был богом, то отдал бы рай и ангелов за единый поцелуй. В своей эпиграмме Крылов писал: «Мой друг, когда бы был ты бог, / Ты б глупости такой сказать не мог» (Сочинения, т. III, М. 1946, с. 316). По приказу Николая I цензор А. В. Никитенко был посажен под арест, а Деларю уволен со службы. Разразившаяся «буря» (см. об этом запись в дневнике А. С. Пушкина.— Полн. собр. соч., т. VIII, АН СССР, М. 1965, с. 60—61) стала предметом толков и сильно повредила репутации Сенковского в глазах высших чиновников и знати.

[3] Первое высказывание Белинского о трагедии Полевого «Уголино» появилось в печати в марте 1838 года (журнал «Московский наблюдатель»). Белинский осудил фальшивую риторику в трагедии: «Фраза на фразе!» (В. Г. Белинский, т. II, с. 446). Кольцов был хорошо осведомлен об отношении критика к трагедии до появления отзыва в печати.

[4] Полевой интересовался мнением Кольцова об игре трагика В. А. Каратыгина в роли Гамлета. Художественное чутье не обмануло Кольцова: как и Белинский, он предпочитал игру П. С. Мочалова игре Каратыгина. Каратыгин прибегал к приемам классического театра, соединив их с романтической интерпретацией драматургического материала. Мочалов противопоставил этой игре игру, основанную на верной жизненной передаче чувств и переживаний человека.

[5] Сосницкий с успехом играл роли светских людей в водевилях и ловких придворных в драмах. Роль Полония в «Гамлете» — одна из лучших ролей, сыгранных актером.

[6] Асенкова — ученица И. И. Сосницкого, с успехом играла роли Офелии в «Гамлете» и Корделии в «Короле Лире». Белинский находил в игре Орловой манерность, но, как и Кольцов, хвалил ее игру в четвертом акте «Гамлета» (В. Г. Белинский, т. II, с. 339).

[7] Петербургский актер Я. Г. Брянский, по словам Белинского, играл в «благородной, простой и величавой манере» (В. Г. Белинский, т. III, с. 323). О московском актере П. Н. Орлове Белинский писал, что он «бесподобно» выполнял роль могильщика (см. В. Г. Белинский, т. II, с. 339).

[8] В Москве роль Лаэрта играл И. В. Самарин. Белинский тоже был недоволен его игрой: «едва сносен» (В. Г. Белинский, т. II, с. 340).

[9] Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин».

[10] Опера «Жидовка» («Дочь кардинала») Жака-Франсуа Галеви (1835).

[11] Знакомство Кольцова с Плетневым, одним из издателей «Современника», относится к 1836 году. В свои посещения Петербурга поэт бывал у него на литературных вечерах. См. письмо № 24 и прим. 3 к нему.

[12] Дума «Царство мысли» опубликована в «Современнике» в 1838 году. Исследователи указывают на отражение в этом стихотворении идей Белинского (В. Ярмерштедт. «Миросозерцание кружка Станкевича и поэзия Кольцова».— «Вопросы философии и психологии», 1893, ноябрь, кн. 20, с. 109; Л. Ильинский в журн. «Русский филологический вестник», 1910, № 1, с. 178—179). «Два прощания» в «Современнике» напечатаны не были. Их напечатали «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду» в том же 1838 году.

[13] Речь идет о предполагаемом сборнике стихотворений Кольцова (см. письма №№ 11 и 14).

[14] То есть расписки.

[15] Краевский напечатал оба стихотворения в «Литературных прибавлениях». Публикация «Ура!» сопровождалась примечанием редактора, что стихотворение написано на прибытие в Воронеж престолонаследника. Об этом примечании Кольцов неодобрительно писал Белинскому 14 марта: «Краевский напечатал «Ура» с ужаснейшей похвальбой».

[16] Белинский тоже отрицательно относился к этому переводу Э. И. Губера (В. Г. Белинский, т. XI, с. 362).

[17] «Стихотворения Владимира Бенедиктова». Вторая книга, СПб, 1838. Она была подвергнута уничтожающей критике Белинского («Московский наблюдатель», 1838, апрель).

[18] Е. П. Гребенка, «Рассказы пирятинца», СПб, 1837.

[19] Кольцов не ошибся в своей оценке стихов Бернета (псевдоним А. К. Жуковского, автора поэм «Граф Мец», «Елена», книги стихотворений). «...талант г. Бернета идет сверху вниз...»,— писал Белинский в 1840 году (В. Г. Белинский, т. IV, с. 196).

21. В. Г. Белинскому (с. 211).

[1] Книга «Основания русской грамматики для первоначального обучения, составленные Виссарионом Белинским. Часть первая. Грамматика аналитическая (этимология)» вышла в Москве в 1837 году. «Основания...» были первой частью задуманного «Полного курса словесности для начинающих; построенная на

основе логики и философии, грамматика Белинского не встретила одобрения учебного начальства и не была принята.

[2] Н. И. Греч был автором «Практической русской грамматики», по которой учились в учебных заведениях России.

[3] См. прим. 1 к письму № 19.

[4] О нежелательности для Полевого приезда Белинского в Петербург см. прим. 1 к письму № 19.

[5] Краевский, взяв в аренду «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», настойчиво приглашал Белинского сотрудничать, но при этом выставил целый ряд требований, в числе которых был отказ от убеждений. Белинский ответил ему: «...по моему мнению, не только лучше молчать и нуждаться, но даже и сгинуть со свету, нежели говорить не то, что думаешь, и спекулировать на свое убеждение» (В. Г. Белинский, т. XII, с 129). Верность Белинского своим убеждениям раздражала дельца Краевского, и этим объясняется его брань по адресу Белинского.

[6] Краевский говорил о не напечатанных им статьях Белинского «Повести Александра Мухина» и «Романы и повести Василия Нарежного». Статьи не сохранились; см. упоминание о них в письмах Белинского Краевскому от 14 января и 4 февраля 1837 года (В. Г. Белинский, т. XI, с. 125, 128—129).

[7] 3 июля 1837 года Белинский писал: «...я пишу вторую часть...» (своей грамматики.— В. А.) (В. Г. Белинский, т. IX, с. 139). Вероятно, Кольцов вел с Полевым переговоры и об этой части грамматики.

23. В. Г. Белинскому (с. 214).

[1] В 20-х числах февраля Белинский в беседе с К. А. Полевым высказал свое возмущение действиями Н. А. Полевого: тот оттягивал печатание продолжения статьи о «Гамлете» и вместе с тем давал в «Сыне отечества» место для нападок на ее уже опубликованное начало (К. Полевой, Записки, СПб, 1888, с. 382). После этого или одновременно с этим критик написал письмо Кольцову (не дошло до нас), приложив записку Н. А. Полевому с требованием вернуть рукопись продолжения статьи.

[2] Кольцов жил в Петербурге, ожидая решения по делу своего отца.

[3] Речь идет о возможности остановиться в доме земляка Кольцова А. В. Никитенко, если Белинский приедет в Петербург.

[4] Кольцов выяснял, где можно напечатать статью о «Гамлете», вероятно, по поручению Белинского.

24. В. Г. Белинскому (с. 215).

[1] См. прим. 1 к письму № 23.

[2] 12 марта Кольцов говорил с Краевским о возможности напечатать статью о «Гамлете». Догадка поэта о причине, по которой Краевский изменил свое отношение к Белинскому, не лишена проницательности. Краевский действительно боялся сотрудничества Белинского с его журнальными конкурентами. Расхождение критика с Полевым внушило Краевскому надежду на работу Белинского у него в журнале.

[3] Вечер 9 марта 1838 года описан И. С. Тургеневым («Литературный вечер у П. А. Плетнева»). О Кольцове здесь сказано: «Человек этот поглядывал кругом не без застенчивости, прислушивался внимательно; в глазах его светился ум необыкновенный, но лицо у него было самое простое, русское — вроде тех лиц, которые часто встречаются у образованных самоучек из дворовых и мещан. Замечательно, что эти лица, в противность тому, что, по-видимому, следовало бы ожидать, редко отличаются энергией, а, напротив, почти всегда носят отпечаток робкой мягкости и грустного раздумья...» (Собр. соч. т. X, М. 1956, с. 267).

[4] О перемене взглядов Полевого см. прим. к письмам №№ 19 и 21.

[5] Задуманный новый сборник стихотворений Кольцова так и не вышел при жизни поэта.

[6] О хлопотах по этому делу см. в письмах №№ 7, 8, 11, 14, 20.

[7] О стихотворении «Ура!» см. в прим. 15 к письму № 20. Стихотворение «К милой» у Краевского напечатано не было. Напечатано в «Московском наблюдателе» в 1838 году.

[8] Стихотворения «Глаза» и «Молитва».

[9] «Кольцо» и две «Песни Лихача Кудрявича» напечатаны в альманахе В. А. Владиславлева «Утренняя заря на 1838 год». Первый раз «Кольцо» было опубликовано в 1831 году Н. В. Станкевичем в «Литературной газете».

[10] «Великое слово» и «К милой» напечатаны в «Современнике» в 1838 году.

[11] «Лес», «Цветок» и «Горькая доля» напечатаны в журнале «Сын отечества».

[12] См. прим. 15 к письму № 20.

[13] См. прим. 1 к письму № 20. Вероятно, у Венецианова Кольцов познакомился с упоминаемыми в письме молодыми художниками: А. Н. Мокрицким (он написал портрет Кольцова — издан по рисунку Д. Трунова в «Древней и Новой России»,

1878, № 4, с. 329), А. В. Тырановым (Кольцов называет его Турановым) и др.

[14] Вероятно, Белинский желал, чтобы цензором его статьи о «Гамлете» был А. В. Никитенко, а не московские цензоры, от которых критик терпел всякие притеснения. Несомненно, Кольцов был хорошо осведомлен об отношениях цензуры к Белинскому (см. письмо № 30).

[15] А. Н. Муравьев, «Путешествия к святым местам». В своем письме Кольцов дал этому духовному писателю краткую, но выразительную характеристику: «...у него души немного, а чужая душа большая».

[16] Статья Белинского о драме Н. А. Полевого «Уголино» была опубликована в «Московском наблюдателе» в 1838 году (т. XVII, май. кн. 1, с. 100—117).

26. Неизвестному лицу (с. 220).

По предположению А. И. Лященко, письмо адресовано А. А. Писареву, сенатору 7-го департамента в Москве, в котором находилось дело Кольцова, до 1830 года Писарев был попечителем Московского университета и председателем Общества любителей российской словесности.

27. В. А. Жуковскому (с. 220).

[1] Неблагоприятный ход дела в московском департаменте заставил Кольцова просить Жуковского заступиться перед теми, от кого зависело решение дела: О.— П. И. Озеров — сенатор; П.— А. А. Писарев; М.— лицо неустановленное (см. прим. к ПСС, с. 390—391).

[2] Сохранились и опубликованы письма Жуковского к Гамалею от 15 и 19 марта 1838 года. В одном из них говорится: «...буду много обязан вам, если не лишите своей благосклонности человека, который хотя в простом состоянии, но, право, достоин уважения по многим отношениям» («Русский архив», 1910, № 12, с. 680—681).

[3] Песня «Ах, зачем меня силой выдали...» помечена 5 апреля, «Последний поцелуй» — 12 апреля. Какое третье стихотворение имел в виду Кольцов, неизвестно.

28. А. А. Краевскому (с. 222).

Это письмо, как и следующее — Белинскому, написано вскоре после возвращения Кольцова в Воронеж. Есть основания пе-

ренести датировку письма—«15 июня», принятую во многих изданиях сочинений Кольцова: 20 июня 1838 года поэт был еще в Москве.

29. В. Г. Белинскому (с. 223)

О датировке письма см. прим. к письму № 28: написаны в один день. «Возвращение домой было для него,— писал Белинский о Кольцове,— довольно грустно. Он вдруг почувствовал, что есть другой мир, который ближе к нему и сильнее манит его к себе, нежели мир воронежской и степной жизни. Им овладело чувство одиночества, которое преодолевалось в нем только любовию к природе и чтением» (В. Г. Белинский, т. IX, с. 511).

[1] А. П. Сребрянский умер 3 августа в селе Козловке, Богучарского уезда, Воронежской губернии. Кольцов помог больному Сребрянскому уехать из Петербурга. Памяти Сребрянского посвящено стихотворение «Песня разбойника».

[2] В марте 1838 года «Московский наблюдатель» перешел в руки Белинского и его друзей.

[3] П. Д. Козловский.

[4] К. А. Горбунов.

30. А. В. Никитенко (с. 226)

[1] А. В. Никитенко хлопотал об издании стихотворений Кольцова.

[2] Головченко — острогожский купец. От него Кольцов мог получить в Воронеже сведения о пребывании Никитенко на родине.

[3] Незадолго до этого письма цензор исключил из статьи Белинского о «Гамлете» «целые пол-листа» («Летопись жизни и творчества В. Г. Белинского», с. 164). Критик надеялся, что Никитенко как цензор будет умереннее в требованиях.

[4] Перевод десятого письма из книги О. Г. Марбаха «Über moderne Literatur. In Briefen an eine Dame» («О новейшей литературе. В письмах к одной даме»), Leipzig, 1836. Переведено В. П. Боткиным.

[5] «Ах, зачем меня силой выдали...», «Последний поцелуй», «Деревенская беда», «Примирение», «Мир музыки», «В поле ветер веет...»

31. В. Г. Белинскому (с. 228)

[1] Речь идет о строфах в думе — «Человек». Дума была приложена к письму.

[2] См. письмо № 30.

[3] Вероятно, И. П. Клюшников.
[4] П. Д. Козловский.

32. В. Г. Белинскому (с. 229).

[1] К письму было приложено стихотворение «Стенька Разин». Напечатано под названием «Песня разбойника» с посвящением памяти А. П. Сребрянского. О стихотворении см. еще в письме № 39.

[2] См. прим. 1 к письму № 29. О значении А. П. Сребрянского для Кольцова см. в письме № 39. Как и в других случаях, внутреннее волнение поэта выдает стихотворный ритм: «Прекрасный мир души прекрасной, не высказавшись, сокрылся навсегда» и пр.

[3] Белинский имел в виду песню «Жарко в небе солнце летнее...» (другое название «Измена суженой»). Напечатана в «Московском наблюдателе», т. XVII, кн. 7, с. 387—388.

[4] П. Д. Козловский.

33. В. Г. Белинскому (с. 231).

[1] В «Утренней заре на 1839 год» были опубликованы две «Песни Лихача Кудрявича» и «Кольцо».

[2] Владиславлев обещал Кольцову помочь в делах письмом от кого-нибудь из влиятельных петербургских лиц к воронежским властям.

[3] Исторические романы В. Скотта высоко ценил Белинский. Возможно, мысль читать их внушена Кольцову его московскими друзьями.

[4] В. Шекспир.

[5] Речь идет о переводе М. Н. Каткова «Ромео и Юлия». По словам Белинского, Кольцов «с жадностию собирал» переводы пьес Шекспира (В. Г. Белинский, т. IX, с. 500).

[6] Видимо, к этому времени Кольцов получил ответ на свое письмо к А. В. Никитенке от 27 июля 1838 года, в котором шла речь о желании Белинского завязать отношения с Никитенкой как цензором.

[7] По предложению А. И. Лященко, «Бедный призрак» (прим. к ПСС, с. 392).

35. А. А. Краевскому (с. 233).

[1] Краевский предложил Кольцову заняться книжной торговлей в Петербурге.

[2] Лафон «Ролла во Флоренции». Рецензия в газете от 2 июля.

[3] См. прим. 2 к письму № 33.

36. В. Г. Белинскому (с. 234).

[1] Белинский напечатал в «Московском наблюдателе» статью А. П. Сребрянского «Мысли о музыке» (1838, кн. 1). Посланные критику стихотворения Сребрянского, к огорчению Кольцова, Белинскому не понравились.

[2] Редактор «Воронежских губернских ведомостей» (в 1838—1845 гг.) Грабовский в редактируемой им газете не напечатал ни строчки о поэте, не поместил даже некролога. В разговоре, который состоялся между поэтом и Грабовским, шла речь о стихотворениях «Молитва» и «Глаза», помещенных в «Сборнике на 1838 год».

38. В. Г. Белинскому (с. 239).

[1] «Московский наблюдатель».

[2] Это — первое упоминание имени Лермонтова в переписке Кольцова.

[3] То есть многотомным трудом Н. М. Карамзина «История государства Российского».

[4] «История русского народа» Н. А. Полевого и «История России в рассказах для детей» А. И. Ишимовой. «Приобретение книг,— свидетельствует Белинский о Кольцове,— было счастием и радостию его жизни» (В. Г. Белинский, т. IX, с. 524).

[5] Белинский писал о Кольцове: «...оперные либретто на русском языке он собирал с жадностью» (В. Г. Белинский, т. IX, с. 525). Интерес к либретто возник у поэта в связи с намерением написать либретто для оперы на русскую тему (см. письмо № 48 и прим. к нему).

[6] И. В. Росковшенко перевел «Ромео и Юлию» в 1838 году, раньше М. Н. Каткова.

[7] О просьбе Кольцова к В. А. Владиславлеву см. в письмах №№ 33 и 35.

[8] Практичный Кольцов понимал расчет Краевского и Владиславлева: они желали иметь своего человека в книжной торговле. См. об этом же в письме № 35.

[9] При жизни Кольцова напечатано не было.

[10] А. И. Лященко предполагал, что ранее этого письма Кольцов послал Белинскому стихотворения «Последняя борьба»,

«Бедный призрак» и «Перед образом Спасителя» (прим. к ПСС, с. 393).

[11] Кольцов просит передать для себя книгу своих стихотворений, изданных в 1835 году.

39. В. Г. Белинскому (с. 242).

[1] О намерении издать альманах Белинский писал И. И. Панаеву 22 февраля 1839 года: «Если я перееду в Питер, то к тому году хочу издать альманах...» Критик пригласил Кольцова участвовать в альманахе (В. Г. Белинский, т. XI, с. 363).

[2] Белинский уговаривал Кольцова переехать в столицу.

[3] 17 июня 1839 года вышел последний номер «Московского наблюдателя» (о причинах прекращения журнала см. в письме Белинского Н. В. Станкевичу.— В. Г. Белинский, т. XI, с. 398—399).

[4] Речь идет о поэте Мартовицком, его стихи были помещены в альманахе Е. П. Гребенки «Ластовка» (СПб, 1841).

[5] См. прим. 1 к письму № 36.

[6] Повесть П. Н. Кудрявцева «Флейта» была напечатана в «Московском наблюдателе». Белинский положительно отозвался о ней (В. Г. Белинский, т. V, с. 582), но позднее изменил свое мнение (В. Г. Белинский, т. XII, с. 347—348).

[7] В бумагах поэта сохранилась сказка, начинающаяся словами «Жил-был в Питере дурак...» (см. прим. к ПСС, с. 393).

[8] Песни были сообщены П. М. Языковым: это — «Ох, ты степь моя, степь широкая», «Что вокруг лесу, лесу темного», «Что светил-то, светил», «Под горой шумит речка быстрая», «Как во городе Саратове» («Отечественные записки», 1839, № 8). Белинский тоже обратил внимание на эти песни: «Песни народные интересны» (письмо Краевскому, 24 августа 1839 года, В. Г. Белинский, т. XI, с. 375).

[9] Статья М. Н. Каткова о «Песнях русского народа, изданных И. Сахаровым» («Отечественные записки», 1839, т. IV, №№ 6 и 7, отд. VI, с. 1—92).

40. В. Г. Белинскому (с. 247).

[1] О намерении Белинского издать альманах см. прим. 1 к письму № 39.

[2] А. И. Лященко предполагал, что речь шла о песне «В непогоду ветер...»

[3] Белинский выехал в Петербург в последней декаде октября, чтобы начать работу в «Отечественных записках».

42. В. Г. Белинскому (с. 250).

[1] Иронизируя над собой, Кольцов уподобил себя сказочному Ивану-дураку.

[2] См. письмо № 41.

43. В. А. Жуковскому (с. 252).

[1] См. письмо № 41.

[2] «Лес» («О чем шумит сосновый лес?..»).

44. А. Н. Черткову (с. 254).

[1] Возможно, поэт благодарил Черткова за «Описание Отечественной войны 1812 года» А. И. Михайловского-Данилевского (напечатано в 1839 году) (упоминается в письме № 48) или за «Историю философских систем» А. И. Галича (см. письмо № 62).

45. В. Г. Белинскому (с. 255).

[1] Кольцов припоминает время, когда Белинский с нетерпением ждал вестей из Петербурга от уехавшего туда Н. А. Полевого (см. письма №№ 19, 20, 21, 23, 24). Причины своего молчания Белинский объяснил в не дошедшем до нас письме к Кольцову (см. письмо № 48).

[2] Братья Н. В. Станкевича — Иван и Александр.

[3] Речь идет о письме Жуковскому от 1 декабря 1839 года (№ 43).

[4] Краевский в 1840 году стал издавать «Литературную газету».

[5] Не установлено, стихи кого из местных поэтов посылал Кольцов: это мог быть и Попов, и Артемьев, и Мартовицкий, и Кареев.

[6] Некоторые из местных поэтов писали «пакостные критики» на Кольцова: такой была басня И. И. Волкова «Чиж-подражатель».

47. В. Ф. Одоевскому (с. 259).

[1] *Лаж* — приплата при обмене одних денег на другие: бумажных на серебро, серебра на золото. Кольцов говорит о падении стоимости денег.

[2] Н. И. Лодыгин.

[3] Управляющему Воронежской палатой государственных имуществ Н. И. Карачинскому. Каким был этот высокопоставленный чиновник, можно судить по тому, что много лет спустя, в 1859 году, он был убит своими крепостными.

48. В. Г. Белинскому (с. 262).

[1] Н. В. Гоголь действительно скоро уехал за границу и Кольцов не застал его в Москве.

[2] Н. Х. Кетчер осуществил свое намерение и полностью перевел Шекспира на русский язык.

[3] «Пантеон русского и всех европейских театров» (1840—1841); с 1842 года — «Репертуар русского и Пантеон всех европейских театров».

[4] Незадолго до письма Кольцова Белинский опубликовал резко критический разбор «Очерков русской литературы» Н. А. Полевого (В. Г. Белинский, т. III, с. 499—520).

[5] Кольцов всегда сожалел, что ему не дается проза.

[6] Критический отдел «Отечественных записок» с приходом в него Белинского стал ведущим в журнале. Кольцов говорит о статьях Белинского «Горе от ума» («Отечественные записки», 1840, № 1) и «Полное собрание сочинений А. Марлинского» («Отечественные записки», 1840, № 2).

[7] В «Отечественных записках» за 1840 год, № 3, Белинский опубликовал статью «О детских книгах» (о сказках Э. Гофмана и В. Ф. Одоевского) (В. Г. Белинский, т. IV, с. 68—109) и несколько рецензий, в том числе на сборник «Мечты и звуки» Н. А. Некрасова (В. Г. Белинский, т. IV, с. 118—119).

[8] И. П. Клюшников опубликовал в «Отечественных записках» за 1840 год стихотворения: «Старая печаль», «Мой гений», «Красавице», «Городок», «Когда горя преступным жаром», песню «Мне уж скоро тридцать лет» и др. Белинский находил стихи Клюшникова яркими, но не всегда удачными (В. Г. Белинский, т. XI, с. 544 и т. IV, с. 138).

[9] Кольцову особенно нравились у Лермонтова стихи, которые навеяны песнями народа. «Казачья колыбельная песня» близка песням гребенских казаков.

[10] По предположению А. И. Лященко, здесь Кольцов говорит об А. М. Юдине.

[11] В марте 1840 года Жуковский опубликовал в «Сыне отечества» (т. II, кн. 1, март, разд. 1, с. 5—10) «Сказку о попе и о работнике его Балде» с заменой в заглавии и в тексте «попа» на «купца Кузьму Остолопа» и с другими искажениями, вызванными цензурными условиями. Оценка Кольцова совпала в известной мере с ошибочным мнением Белинского о том, что сказки Пушкина «были плодом довольно ложного стремления к народности» (В. Г. Белинский, т. VII, с. 576).

[12] В тетрадях Кольцова рукой П. С. Мочалова записаны три песни: «Старый бор, черный бор», «Ах ты, солнце, солнце крас-

ное», «Спасибо». По-видимому, Кольцов говорит о первых двух.

[13] Речь идет о строках:

То ли дело — по нем
В хороводе грустить,
То ли дело — душой
Мила друга любить.

Варианты первого стиха этой строфы: «То ли дело — вдвоем», второго стиха — «При дорожке грустить», «Хороводы водить». Стихотворение выиграло от исключения этой вялой строфы. Тема была исчерпана в остальных.

[14] Заглавия некоторых стихотворений были изменены позднее: вместо «Последний вопль земных страданий»—«Вопль страдания», вместо «Его превосходительству Дм. Б.» — «Благодателю моей родины (Д. Н. Бегичеву)», вместо «К ней же» — «К***».

[15] Белинский предполагал издать новую книгу стихотворений Кольцова. См. об этом же в письме № 49.

[16] Намерение поэта осталось неосуществленным. Говоря о «русских балладах» Кольцова, Белинский замечал: «Не из этого ли источника происходило и его страстное желание написать либретто для оперы — дело, к которому он едва ли был способен? Другое дело — к готовому, по голому драматическому очерку написать арии, разумеется, вроде его русских песен: это он мог бы выполнить прекрасно, и, может быть, этого-то и хотелось ему» (В. Г. Белинский, т. IX, с. 524—525).

49. В. Г. Белинскому (с. 267).

Получив это письмо, Белинский писал В. П. Боткину: «Бедный Кольцов, как глубоко страдает он. Его письмо потрясло мою душу. Все благородное страждет — одни скоты блаженствуют... Как приедет в Москву Кольцов, скажи, чтобы тотчас же уведомил меня...» (В. Г. Белинский, т. XI, с. 555, письмо от 5 сентября 1840 года).

[1] 15 августа в церковном календаре день успенья пресвятой богородицы.

[2] Под влиянием Белинского Кольцов изменил свое решение уступить родителям и жениться (см. письмо № 36).

[3] См. о приглашении Краевского быть книгопродавцем в Петербурге в письмах №№ 35 и 38.

[4] На одном из вечеров у Боткина, где был музыкант Л. Ф. Лангер, Кольцов написал стихотворение «Мир музыки».

[5] Надо полагать, что речь идет о песне «В непогоду ветер...».

[6] Кольцов охарактеризовал важную сторону творческого процесса: цельность художественного создания зависит от цельности чувства, переживаемого в момент творчества.

[7] Кольцов говорит о повести П. Н. Кудрявцева. Белинский дал ей положительную оценку (В. Г. Белинский. т. IV, с. 441).

[8] В «Отечественных записках» за 1840 год в №№ 3—7, о которых идет речь, опубликованы стихотворения Лермонтова: «Журналист, читатель и писатель», «Воздушный корабль» (Из (Цедлица), «Отчего» («Мне грустно потому, что я тебя люблю...»), «Благодарность» («За все, за все тебя благодарю я...»), «Я, матерь божия...», «Из Гете» («Горные вершины...»).

[9] Говоря о «летописи», Кольцов, вероятно, имеет в виду «Современную хронику России» («Отечественные записки», 1840, № 5, и след.).

[10] Китаевед Н. Я. Бичурин, в монашестве Иоакинф, опубликовал работу: «Китай, его жители, нравы, обычаи, просвещение».

[11] «Извлечения из записной книжки земледельца» за подписью «Русский пахарь».

[12] См. о предполагаемом издании сборника стихотворений в письме к Белинскому 28 апреля 1840 года (№ 48).

[13] Тетради с народными песнями оказались у П. В. Киреевского. О собирании народных песен см. в письмах №№ 14, 16, 17.

51. В. Г. Белинскому (с. 279).

[1] Вяземский помог Кольцову успешно кончить тяжбу, грозившую Кольцовым полным разорением.

[2] Песня «Где вы, дни мои...», «Поэт» (дума) (первоначальное название «Шекспир, дума»), Песня «Много есть у меня...», «Расчет с жизнью» (Белинскому) (первоначальное название «Жалоба»), «Грусть девушки», «Ночь» (князю В. Ф. Одоевскому), «Поминки» (памяти Н. В. Станкевича). См. об этих стихах в следующем письме. Получив стихи Кольцова, Белинский писал В. П. Боткину: «Каковы последние-то стихотворения Кольцова — а? Экой черт — коли размахнется — так посторонись — ушибет. А «Ночь»? Да это просто — и слов нету!» (В. Г. Белинский, т. XI, с. 584).

[3] «Русский театр в Петербурге» («Отечественные записки», 1840, т. XII, № 10) (В. Г. Белинский, т. IV, с. 324—340).

[4] Имеется в виду статья Белинского «Собрание сочинений Михаила Васильевича Ломоносова» («Отечественные записки», 1840, т. XIII, № 11) (В. Г. Белинский, т. IV, с. 378—380)

[5] Никанор Григорьевич Белинский.

[6] Константин Сергеевич Аксаков.

[7] Так Кольцов назвал Дмитрия Петровича Иванова, родственника Белинского.

[8] Квартирная хозяйка Белинского в Москве.

[9] П. Н. Кудрявцев отказался писать рецензии для «Отечественных записок».

[10] Перевод статьи Анны Джемсон «Женщины, созданные Шекспиром» был послан Краевскому в «Отечественные записки» и напечатан в 1841 году с предисловием переводчика. См. еще в письме № 53.

[11] Речь могла идти о «Звезде» или «Цветке».

[12] Кольцов говорит о П. С. Мочалове и П. И. Орловой, согласившейся играть Джульетту в драме Шекспира. См. о Мочалове в роли Ромео и об Орловой в роли Джульетты в письме № 57.

[13] См. письмо № 73.

[14] В. Ф. Одоевскому посвящена «Ночь», а Вяземскому Кольцов предполагал посвятить думу «Поэт» — в первоначальном названии «Шекспир, дума» (см. об этом письмо № 52).

[15] Журнал начал выходить в 1841 году, издателем его был М. П. Погодин.

[16] А. А. Комаров.

[17] М. А. Языков, приятель Белинского.

[18] И. И. Панаев.

[19] А. Я. Панаева.

[20] К. А. Горбунов.

[21] А. Я. Краевская.

52. В. Г. Белинскому (с. 284).

Судя по тому, что письмо закончено: «Еще раз прощайте...», можно предполагать, что все изложенное в нем было припиской к предыдущему письму.

[1] О Никаноре Белинском. См. письмо № 51.

53. А. А. Краевскому (с. 285).

[1] Письмо № 50.

[2] См. прим. 10 к письму № 51.

54. А. В. Кольцовой (с. 286).

Белинский писал о Кольцове: «В семействе своем он горячо любил младшую сестру, и между ними существовала самая тесная дружба. Кольцов видел в сестре много хорошего, уважал ее

вкус и часто советовался с нею насчет своих стихотворений, словом, делился с нею своею внутреннею жизнию. Веря в ее к нему задушевное расположение, он делал для нее все, что мог. Настойчивостию, просьбами, лестью, всякими хитростями он склонил своего отца купить ей фортепьяно и нанять учителя музыки и французского языка» (В. Г. Белинский, т. IX, с. 512). Впоследствии Кольцов имел много случаев убедиться в неблагодарности сестры (см. письма №№ 64, 65, 70, 71).

[1] Варвара Григорьевна Лебедева, неудачно вышедшая замуж. Поэт был знаком с ней задолго до страстного увлечения ею весной 1841 года. Ср. стихотворения «К***», «Звезда».

[2] Драма Гете «Гец фон Берлихинген».

[3] Кольцов приобрел список драмы Шекспира.

[4] Стихотворение поэта было положено на музыку А. Гурилевым.

[5] Г. Т. Ретшер, «Четыре новые драмы, приписываемые Шекспиру», перевод В. П. Боткина.

[6] Белинский писал В. П. Боткину в октябре 1840 года: «Кольцов живет у меня — мои отношения к нему легки, я ожил немножко от его присутствия. Экая богатая и благородная натура!» (В. Г. Белинский, т. XI, с. 565).

[7] Слух о том, что Кольцов остался в Петербурге приказчиком с 10 тысячами жалования и не вернется в Воронеж. См. об этом в письме к Белинскому № 65.

[8] А. И. Лященко считает, что «есть некоторые основания отождествить «Софью Павловну», с племянницей Кольцова Верой Ивановной Башкирцевой, которая вышла за небогатого чиновника Н. И. Тимофеева, получившего образование в Харьковском университете (прим. к ПСС, с. 399).

[9] См. прим. 2 к письму № 51.

[10] Кольцов говорит о своих тяжелых переживаниях, вызванных ходом дела в департаменте и колебаниями, возвращаться ли в Воронеж (см. об этом у В. Г. Белинского, т. IX, с. 517—518).

55. В. Г. Белинскому (с. 289).

[1] В Москве разнесся слух об уходе Белинского из «Отечественных записок». Основания для распространения слуха дал сам критик: в разговоре с Н. В. Савельевым он заметил, что может уйти из журнала.

[2] Как предполагал А. И. Лященко, Петров — университетский товарищ Белинского.

[3] В 1835 году в «Молве» К. С. Аксаков под псевдонимом К. Эврипидин опубликовал отрывки из драматической шутки-пародии на М. Т. Каченовского «Олег под Константинополем» с ироническим «примечанием» Белинского (В. Г. Белинский, т. 1, с. 221). Теперь Великопольский и Аксаков намеревались опубликовать пародию полностью.

[4] Кольцов говорит о статьях М. П. Погодина «Петр Великий» и С. П. Шевырева «Взгляд русского на современное образование Европы». В статьях, опубликованных «Отечественными записками» (1841, т. XV, № 4; т. XVI, № 5), Белинский резко полемизировал со славянофильскими концепциями статей «Москвитянина» (В. Г. Белинский, т. V, с. 91—152).

[5] Спустя год, вспоминая этот вечер, Кольцов написал стихотворение «На новый 1842 год».

[6] Возможно, врач Иван Иванович Молнар (прим. к ПСС, с. 400).

[7] О бенефисе см. письмо № 57.

[8] Кольцов имеет в виду Ф. А. Кони или его приказчика из московской конторы «Отечественных записок» (см. письмо № 50).

[9] Кольцов сам намеревался создать оперу на основе произведения В. И. Даля-Луганского (см. письмо № 48).

[10] «Много есть у меня...»

[11] Напечатана под названием «Поэт».

56. К. С. Аксакову (с. 296).

Об отношении Кольцова к К. С. Аксакову в эту пору см. письма №№ 51 и 55.

57. В. Г. Белинскому (с. 297).

[1] То есть плутом, обманщиком. О В. П. Полякове см. письмо № 73.

[2] «7 января»; «Анакреон»; «Лагерь».

[3] Белинский намеревался писать для «Современника» статью о сочинениях С. Ф. Толстой, но у него не было нужной книги (см. об этом В. Г. Белинский, т. XII, с. 11).

[4] О шутливой драме-пародии К. С. Аксакова см. прим. 3 к письму № 55.

[5] См. письмо № 73.

[6] «Русская литература в 1840 году» (В. Г. Белинский, т. IV, с. 408—447). С этой статьи критик начал давать годичные обзоры литературы.

[7] Стихотворение принадлежит не Пушкину, а А. И. Одоевскому. Его начало: «Где он? Где друг? Кого спросить?»

[8] Имеется в виду статья Белинского, опубликованная в «Московском наблюдателе», 1838, т. XVII, май, кн. I, с. 100—117 (В. Г. Белинский, т. II, с. 437—448). Об «Уголино» в разборе драмы см. упоминание в письме № 24.

[9] М. П. Погодин послал первый номер своего журнала Краевскому со словами: «В благонамеренности и добросовестности вашей мы убеждены,— но ваши сотрудники! Они несут иногда такую околесную, что, право, читать совестно» («Литературное наследство», т. 57, с. 148). Белинский в статье «Русская литература в 1840 году» писал, что с мнениями нового журнала «можно будет спорить», но не «браниться». Спустя время «Москвитянин» допустил грубую выходку против Белинского («Москвитянин», 1841, № 6, с. 509—510).

[10] См. прим. I к письму № 55.

59. В. Г. Белинскому (с. 306).

[1] Кольцов одолжил деньги у В. П. Боткина.

[2] Кольцов говорит о В. Г. Лебедевой. «По возвращении домой,— пишет Белинский,— Кольцов нашел, по обыкновению, все дела в упадке и расстройстве, благодаря старческой мудрости и опытности, и принялся их устраивать. Отец принял его холодно и едва согласился давать ему тысячу рублей в год из семи тысяч, которые должен был приносить дом, в ожидании чего Кольцов должен был жить и трудиться без копейки в кармане — он, которому одному все семейство было обязано своим благосостоянием...» (В. Г. Белинский, т. IX, с. 518) и далее: «...судьба-предательница послала ему жизнь и радость, можно сказать, блаженство, за которое он дорого должен был расплатиться. Страстною любовью озарился восход его жизни; пышным, багряным, но зловещим блеском страстной любви озарился и закат его жизни (там же, с. 519). О значении В. Г. Лебедевой в жизни Кольцова см. письма №№ 64, 65, 66, 70, 71.

[3] Поэт припоминает свою любовь к крепостной девушке Дуняше.

[4] В первом номере «Отечественных записок» за 1841 год была помещена статья Белинского «Русская литература в 1840 году».

[5] См. письмо № 73.

[6] Журнал «Русский вестник» был возобновлен в 1841 году (издатель и редактор Н. И. Греч). Первый номер опубликовал стихотворения И. Мятлева «Русский снег в Париже», «Царские палаты» (подписано И.), Э. И. Губера «Мертвая красавица», «Сказку о семи Семионах, родных братьях и великих удаль-

цах» Н. А. Полевого, повесть Н. В. Кукольника «Аврора Галигай». В отделе критики были статьи Н. А. Полевого, Н. В. Кукольника и Н. И. Греча. Остается неясным, за что хвалит Кольцов этот номер. Второй номер, не понравившийся поэту, составился из произведений тех же авторов или близких им по направлению и общественной ориентации.

[7] «Утренняя заря», альманах на 1841 год, изданный В. Владиславлевым, СПб. 1841. Здесь была помещена песня Кольцова «Не скажу никому...». Положительный отзыв на альманах был дан Белинским («Отечественные записки», 1841, № 1) (В. Г. Белинский, т. IV, с. 448—457).

[8] См. №№ 60 и 61.

60. А. А. Краевскому (с. 309).

[1] В течение некоторого времени Краевский не посылал журнал Кольцову. По словам Краевского, «редакции («Отечественных записок».— *В. А.*) было известно, что Кольцов не находился в Воронеже, а потому и журнал ему не высылался» (прим. к ПСС, с. 401).

61. Ф. А. Кони (с. 311).

[1] В «Литературной газете» были помещены «Человек», «Разуверение», «Спящему младенцу» (1841); в «Пантеоне»—«Прекрасной поселянке» (1840).

62. А. Н. Черткову (с. 312).

[1] А. И. Галич, «История философских систем», 1818—1819.

63. В. Ф. Одоевскому (с. 313).

[1] Карачинский Н. И.

64. В. Г. Белинскому (с. 314).

[1] См. письмо № 57.

[2] См. письмо № 59.

[3] Об Анисье Васильевне см. прим. к письму № 54.

65. В. Г. Белинскому (с. 320).

А. Н. Пыпин датировал письмо 2 июля (А. Н. Пыпин, Белинский, его жизнь и переписка, СПб, 1908, с. 413). Действительно, последнее письмо Белинскому Кольцов послал 25 марта, а в этом письме замечает: «...более трех месяцев прошло, а я к вам ни слова». В ПСС дата 22 июля.

[1] Кольцова лечил А. И. Малышев, трогательно относившийся к больному поэту (см. о нем в письмах №№ 66, 69, 73). Лето 1841 года поэт провел на даче у И. С. Башкирцева, мужа старшей сестры поэта — Марии.

[2] Речь идет о письме № 64, посланном в марте месяце 25 числа — «в посту».

[3] Письмо не найдено. Об этом письме Кольцов будет писать Вяземскому 24 октября 1841 года (№ 67).

[4] Вторая статья Белинского о России до Петра Великого была изуродована цензурой. В «Отечественных записках» была опубликована только треть ее (1841, т. XVI, № 5) (полностью — В. Г. Белинский, т. V, с. 117—152). Кольцову статья была известна в рукописи. См. об этой статье в письме № 66.

66. В. Г. Белинскому (с. 322).

Написано в ответ на письмо, в котором Белинский, тревожась за участь Кольцова, звал поэта оставить Воронеж. «Нельзя не дивиться силе духа этого человека,— писал о Кольцове Белинский, имея в виду именно это письмо.— Правда, он надеялся выздороветь, и не хотелось ему умереть; но возможность смерти он видел ясно и смотрел на нее прямо, не мигая глазами» (В. Г. Белинский, т. IX, с. 519).

[1] И. А. Малышев.

[2] «Доля бедняка», «Ты прости-прощай...», «Не весна тогда...». «Звезда», «Расступитесь, леса темные...», «Как здоров да молод...», «Старая песня», «Еще старая песня», «Он жил — и был здесь всем чужой...», «Жизнь».

[3] См. прим. 4 к письму № 65.

[4] «Сочинения Гете», вып. I, II — вышел в 1842 году; III выпуск появился в 1843 году, и на этом издание прекратилось.

[5] Вероятно, речь идет о стихотворении «Дубовый листок оторвался от ветки родимой...»

[6] Речь идет о денежном долге Кольцова В. П. Боткину.

67. П. А. Вяземскому (с. 329).

[1] Я. Ф. Фламм, «учитель Воронежской гимназии» (прим. к ПСС, с. 402).

68. В. Ф. Одоевскому (с. 330).

[1] См. письмо № 63.

[2] См. прим. 3 к письму № 47.

69. И. А. Малышеву (с. 331).

[1] Полосин.

[2] Эпитафия «Он жил — и был здесь всем чужой»; рукопись названа «Ивану Гордеевичу Козлову». Первая публикация сопровождалась ироническим пояснением: «Это не более как экспромт, шутка, эпитафия, написанная по поводу смерти одного господина, известного по всему Воронежу возлияниями в честь Вакха» («Библиографические записки», 1861, № 16).

70. В. Г. Белинскому (с. 332).

[1] Святки — с 25 декабря по 6 января; красная горка — воскресенье первой недели после пасхи; свадьба сестры состоялась 17 февраля 1842 года (см. письмо Белинскому от 27 февраля 1842 года (№ 71): «...вот десять дней, как их обвенчали»).

[2] В. Г. Лебедева.

[3] Н. Кукольник, «Эвелина де Вальероль».

[4] Кольцов говорит о четырех статьях Белинского, посвященных разбору былин и исторических песен, напечатанных в «Отечественных записках» (1841, №№ 9—12) (В. Г. Белинский, т. V, с. 289—450).

[5] В статьях о русской народной поэзии Белинский излагал отдельные эпизоды из трагедии Эсхила «Прометей прикованный». Это и есть «переводы», о которых говорит Кольцов.

[6] Во втором номере «Отечественных записок» в статье о стихотворениях Лермонтова Белинский писал: «Как жаль, что не напечатана другая поэма Лермонтова, действие которой совершается тоже на Кавказе и которая в рукописи ходит в публике, как некогда ходило «Горе от ума»: мы говорим о «Демоне» (В. Г. Белинский, т. IV, с. 544). Белинский просил Кольцова прислать ему список с текста, известного в Воронеже. См. прим. 4 к письму № 71. «Демон» был впервые опубликован только в 1856 году.

[7] То есть написанные еще в декабре 1840 года «Поминки» (памяти Н. В. Станкевича). Судя по письму от 10 января 1841 года, Белинский уже читал это стихотворение. Теперь Кольцов посылал ему исправленный текст.

[8] См. прим. 2 к письму № 66.

[9] См. письмо № 73.

[10] Кольцов спрашивает о большом «Теоретическом и критическом курсе русской литературы», задуманном Белинским в конце 1840 — начале 1841 года. См. об этом неосуществленном плане в примечании к статье «Разделение поэзии на роды и виды» (В. Г. Белинский, т. V, с. 7—8).

71. В. Г. Белинскому (с. 339).

[1] Письмо № 70.

[2] Белинский выехал в Москву 24 декабря 1841 года и пробыл там до 11 января 1842 года.

[3] Стихотворение было послано с письмом 18 декабря 1841 года и еще застало Белинского в Петербурге.

[4] См. прим. 6 к письму № 70. Надо полагать, что Кольцов из письма к нему Белинского знал, что «Отечественные записки» в первом номере собирались напечатать поэму Лермонтова. Поэма была уже в корректуре, но была запрещена цензурой (см. письмо Белинского к И. И. Ханенке от 8 февраля 1842 года.— В. Г. Белинский, т. XII, с. 80).

[5] Факт о подписке на «Отечественные записки» при содействии губернаторов подтверждается и другими источниками (см. прим. к ПСС, с. 402—403).

[6] Положительно оценил антикрепостническую повесть И. И. Панаева и Белинский (В. Г. Белинский, т. V, с. 582). с. 582).

[7] В «Отечественных записках», 1842, т. XX, № 1, такого материала не обнаружено.

[8] «Записки пензенского земледельца о теории и практике сельского хозяйства» И. В. Сабурова печатались в «Отечественных записках» в 1842 году, начиная с первого номера.

[9] В «Отечественных записках» публиковались в марте 1841 года «Письма из-за границы». Оценка их Кольцовым совпала с оценкой Белинского: «...письма Анненкова из-за границы — прелесть!» (В. Г. Белинский, т. XII, с. 29).

[10] Кольцов пишет Белинскому о статье «Русская литература в 1841 году» (В. Г. Белинский, т. V, с. 521—588).

[11] В этом номере напечатано несколько рецензий Белинского, но, вероятно, Кольцов говорит о рецензии на выходившее в 1841—1842 годах под редакцией А. П. Башуцкого издание «Наши, списанные с натуры русскими» (пять первых выпусков, СПб. 1841) (см. рецензию в: В. Г. Белинский, т. V, с. 602—604).

[12] Рецензия (без подписи) на драму Н. Д. Неелова «Меньшиков» напечатана в «Отечественных записках», 1842, № 2.

[13] Стихотворение «Кн. М. А. Щербатовой» («На светские цепи...») опубликовано в «Отечественных записках», 1842, № 1.

[14] Речь идет о повести В. Ф. Одоевского «Беснующиеся. Орлахская крестьянка» (1842).

[15] В. Г. Лебедева.

72. В. П. Боткину (с. 344).

[1] Кольцов писал Белинскому о В. Г. Лебедевой в письме № 59.

[2] И. А. Малышев.

[3] И. С. Башкирцев.

[4] Он-пол — в церковнославянском языке — противоположный берег, заречье. Здесь: в переносном смысле о смерти.

[5] См. прим. 5 к письму № 16.

[6] Стихотворение было приложено к письму.

[7] Видимо, «Не время ль нам оставить...» («Из Горация») «Я любила его...», «Что он ходит за мной...».

[8] В. Г. Лебедева.

73. В. Г. Белинскому и В. П. Боткину (с. 352)

Это последнее письмо Кольцова. «Летом,— писал Белинский,— мы писали к нему, но ответа не было; а осенью получили мы из Воронежа, от незнакомых нам людей, известие о его смерти...» (В. Г. Белинский, т. IX, с. 521).

[1] И. А. Малышев.

[2] Письмо № 72.

[3] Письмо не сохранилось.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Тетради с записями песен имеют общий заголовок: «Народные песни, собранные Алексеем Кольцовым. Воронеж. 1837». Песни публикуются в том порядке, какой им придан в тетрадях А. В. Кольцова. С некоторыми упрощениями воспроизводится публикация: «Литературное наследство. Песни, собранные писателями. Новые материалы из архива П. В. Киреевского», т. 79. М., «Наука», 1968, с. 281—338.

Сборник пословиц и поговорок в рукописи назван «Русские пословицы, поговорки, приречьи и присловья, собираемые Алексеем Кольцовым. Воронеж. 1836». Дата залита чернилами и восстанавливается предположительно. Сборник задуман обширнее по размеру, чем выполнен: в тетради оставлены незаполненные страницы. Пословицы публикуются с особенностями орфографии А. В. Кольцова, без исправления особенностей народной речи, сохраненных поэтом. Текст сборника воспроизводится по изданию: А. В. Кольцов. Полн. собр. соч. Под ред. и с примечаниями А. И. Лященко. СПб., 1911, с. 293—304. О фольклорных записях см. в письмах поэта: №№ 14 (прим. 7, 8), 16 (прим. 2), 17 (прим. 2), 49 (прим. 13).

УКАЗАТЕЛИ

Указатель имен.

УКАЗАТЕЛЬ ЖУРНАЛОВ, ГАЗЕТ И ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, УПОМИНАЕМЫХ КОЛЬЦОВЫМ

I. ЖУРНАЛЫ И ГАЗЕТЫ

II. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ (КНИГИ, СТАТЬИ, СТИХОТВОРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ПЕРЕВОДЫ)

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

1830

1831

1832

1833

1834

1835

1836

1837

1838

1839

1840

1841

1842

Письма

Приложения

Алексей Васильевич КОЛЬЦОВ

СОЧИНЕНИЯ

Редактор Г. Ф. Дыченкова
Оформление художника Д. Б. Шимилиса
Художественный редактор Т. Н. Костерина
Технический редактор В. С. Пашкова

ИБ 607

Сдано в набор 15.11.82. Подписано к печати 10.08.83.
Формат 84×108 1/32. Бумага газетная. Гарнитура «Литературная».
Печать высокая. Усл. печ. л. 26.88. Уч.-изд. л. 27,01.
Тираж 500 000 экз. (2-й завод: 170001—340 000).
Цена 2 р. 00 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции типографии газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства «Кузбасс»
Кемеровского обкома КПСС. 650066. г. Кемерово, Октябрьской пр, 28.
Заказ № 003